Маргерит Юрсенар

ВОСПОМИНАНИЯ АДРИАНА



Воспоминания Адриана
Маргерит Юрсенар

Аннотация
Магрерит Юрсенар. Воспоминания Адриана
ПРЕДИСЛОВИЕ
ANIMULA VAGULA BLANDULA. ДУША, СКИТАЛИЦА НЕЖНАЯ
VARIUS MULTIPLEX MULTIFORMIS. ПЕСТРЫЙ, ПЕРЕМЕНЧИВЫЙ, СЛОЖНЫЙ
TELLUS STABILITA. ЗЕМЛЯ, ВНОВЬ ОБРЕТШАЯ ТВЕРДОСТЬ
SAECULUM AUREUM. ЗОЛОТОЙ ВЕК
DISCIPLINA AUGUSTA. СВЯЩЕННАЯ НАУКА ВЛАСТИ
PATIENTIA. ТЕРПЕНИЕ

Аннотация

Вымышленные записки-воспоминания римского императора в поразительно точных и живых деталях воскрешают эпоху правления этого мудрого и просвещенного государя — полководца, философа и покровителя искусств, — эпоху, ставшую «золотым веком» в истории Римской империи. Автор, выдающаяся писательница Франции, первая женщина — член Академии, великолепно владея историческим материалом и мастерски используя достоверные исторические детали, рисует Адриана человеком живым, удивительно близким и понятным нашему современнику.

Магрерит Юрсенар
Воспоминания Адриана

ПРЕДИСЛОВИЕ

Историко-философский роман Маргерит Юрсенар (настоящее ее имя Маргерит Крэйянкур), предлагаемый вниманию нашего читателя, не исчерпывает всего литературно-художественного наследия этой разносторонне образованной писательницы, писавшей на французском языке, бельгийки по рождению. Скончавшаяся в декабре 1986 г. в возрасте 84 лет, она печаталась с начала двадцатых годов нашего века, то есть более шестидесяти лет. До второй мировой войны, прочертившей глубокую борозду и в ее творчестве, Маргерит Юрсенар опубликовала три романа — «Алексис, или Трактат о тщетном противоборстве» (1929), «Монета мечты» (1934) и «Последний выстрел» (1939). Кроме того, ей принадлежат циклы рассказов «Смерть в упряжке» (1934) и «Восточные новеллы» (1938), две драмы, опубликованные в 1954 и 1963 гг., и книга стихотворений в прозе (1936). Таков фон, на котором резко выделяются два поздних романа писательницы — «Воспоминания Адриана» (1951) и «Философский камень» (1968), обозначившие наиболее

знаменательные вехи ее творческого пути.

Мы не касаемся здесь переводческой деятельности Маргерит Юрсенар, ее литературоведческих экскурсов и эссеистики, равно как и многочисленных интервью писательницы, число которых возрастало по мере роста ее популярности, получившей общеевропейский характер после того, как в 1968 г. она была удостоена премии «Фемина» (за «Философский камень»), в 1971 г. принята в Бельгийскую королевскую академию, а в 1980 г. стала первой женщиной, принятой в число сорока «бессмертных» Французской академии.

В отличие от послевоенных, произведения, написанные Маргерит Юрсенар до начала второй мировой войны, не свидетельствовали о преобладании в ее творчестве интереса к исторической и историко-культурной теме; поначалу она тяготела, скорее, к материалу непосредственно открывающейся ей действительности, живым пульсациям своего времени, не нуждающимся для их художественного постижения в скрупулезной исторической реконструкции. И хотя атмосфера домашнего аристократического воспитания, которое получила будущая писательница, благоприятствовала возникновению у нее интереса к генеалогии и истории вообще,

эти особенности ее дарования лишь постепенно пробивали свой путь. Уже в первоначальных набросках и заметках Маргерит Юрсенар, относящихся к двадцатым годам, то тут, то там возникают исторические персонажи и ситуации, которые обрели свое место лишь в послевоенных романах, но тогда, на раннем этапе творчества, более близкие и непосредственно впечатляющие сюжеты вновь и вновь уводили писательницу от осуществления ее сокровенных замыслов. Быть может, их воплощению мешало еще и нечто иное — отсутствие у автора необходимого опыта, причем не только писательского и не только житейского, здесь нужен был еще и опыт совсем особый — всемирно-исторический опыт, которым писатели поколения Маргерит Юрсенар были обязаны второй мировой войне и тем глобальным переменам в мире, которые были с ней связаны.

Но когда органическое чувство истории, ощущение глобального масштаба исторических свершений нашли наконец свое наиболее полное воплощение в послевоенных романах Маргерит Юрсенар, отчетливо прорисовались черты ее поздней романистики, отличающейся глубокой проблематичностью — как идейного, так и

специфически художественного порядка. Произведения, в которых писательница попыталась реализовать свой интерес к Истории, воплотить свое видение исторической действительности, свое ощущение масштабов исторического свершения, явно не умещались в традиционных рамках исторического романа, а подчас даже противоречили самому понятию этого жанра.

Исторический роман от других прозаических жанров отличается не только тем, что создается на материале фактов и событий человеческой истории, — этот материал вовсе не нейтрален в эстетическом отношении, а потому далеко не всякий способ его освоения удовлетворяет условиям исторической романистики. Этот жанр заключает в себе совершенно особые возможности, использование которых изначально отличало историческую прозу от художественного постижения настоящего или нашедших свое литературное воплощение мечтаний о будущем. Возможности эти вытекают из особенностей переживания человеком событий безвозвратно минувшего прошлого, отделенного от него непреодолимой временной дистанцией. Переживание это возникает, словно из своего семени, из ощущения того, что интересующие нас события уже

давно исчерпали возможности своего существования — и в этом смысле завершили себя, они присутствуют уже не в чувственно воспринимаемой действительности, а в идеальном пространстве нашей памяти и в силу этого получают совершенно особые характеристики, отличные от тех, которым отмечено все существующее в настоящем. Прошлое, заново порождаемое нашей памятью, неизбежно идеализируется — такова неизменная цена его спасения. События минувшего, возрождающиеся в идеальном измерении человеческой памяти и уже потому получившие значение идеальных также и в эстетическом смысле, приобретают специфическую окраску — на них ложится необыкновенный отсвет, напоминающий лучезарную «дымку», в какой перед мысленным взором каждого из нас встают порой события нашего детства. Вот эта «аура», имеющая, как видим, чисто психологическое происхождение, связанное с особенностями работы нашей памяти, и является зримым выражением особого эстетического переживания, которое осваивается и обыгрывается исторической романистикой. Уже первый послевоенный роман Маргерит Юрсенар с достаточной определенностью свидетельствует о том, что писательница хорошо

знает о драгоценных эстетических возможностях этого «эффекта ауры». Она умеет широко и вместе с тем ненавязчиво использовать «ауратические» свойства материала давно исчезнувших культур и эпох (исторические реминисценции, литературные памятники, памятники культуры, архитектуры и т. д.), не погрешив при этом против современного читательского вкуса и такта. Авторское пристрастие к тому, на чем лежит печать безвозвратно прошедшего, сообщающая ему уникальную ценность, чувствуется в мелких и мельчайших, подчас как бы мимоходом — «боковым зрением» — отмеченных деталях, образующих клеточную ткань романа. Однако писательница не ограничивается здесь поверхностной реставрацией и утилизацией хрестоматийных примет времени.

Как вспоминала Маргерит Юрсенар впоследствии, первым побуждением написать роман о временах императорского Рима она была обязана посещению во время поездки в Италию знаменитой «виллы Адриана» — развалин здания, построенного для могущественного римского властителя в первой трети II в. н. э., неподалеку от столицы — в Тибуре (совр. Тиволи). Писательнице было всего двадцать лет, но уже тогда у нее

возникло желание (осуществленное лишь три десятилетия спустя) заставить заговорить эти молчаливые камни, хранившие тайны без малого двухтысячелетней давности. А «оживить» их, пробудив от многовекового сна, она могла лишь одним-единственным доступным ей способом — воссоздав образ человека, для которого некогда была построена эта вилла. Так постепенно возникал образ основного персонажа будущего романа — римского императора Адриана, чье имя хранили древние камни.

Но по мере того, как в центре этого давно уснувшего мира, пробуждаемого воображением писательницы, вставала фигура разносторонне образованного римского императора, которому Европа обязана первым возрождением еще более ранней, древнегреческой, культуры, разрастался под пером Маргерит Юрсенар и сам воссоздаваемый ею мир. Прежде чем идея романа обрела контуры реальности, писательнице пришлось реконструировать для себя всю культуру эпохи Адриана, с которой соприкасался император — как любитель поэзии и поэт; как любитель мудрости, философ и ученый; как человек, причащенный тайнам языческих мистерий, и мыслитель, достаточно скептически рассуждаю-

щий о религии вообще; как поклонник красоты и покровитель искусств. «Раритеты» древней культуры, по крупицам собранные писательницей в книгохранилищах и музеях Европы и Америки, должны были ожить, воссоздав духовную атмосферу, которой дышал герой будущего романа.

К числу важнейших «раритетов» относились скульптурные изображения Антиноя — рано погибшего фаворита Адриана, память о котором была увековечена по приказу императора. Антиной, канонизированный образ которого был, по словам Маргерит Юрсенар, вплетен в орфическую мифологическую традицию и в этом виде включен в официальный религиозный культ самого императора Адриана, занял в структуре будущего романа одно из существенно важных мест — ему была отведена роль основного философско-эстетического символа произведения. Он должен был выразить одновременно и идеал главного героя романа, и его, как высказалась писательница в одном из поздних интервью, «великое безумие»; он должен был выразить также и всю глубину триумфа обожествленного императора, стремившегося сопрячь власть и красоту, и вместе с тем выразить всю хрупкость и неустойчивость такого сопряжения.

Однако воскрешением реалий далекого прошлого, позволяющих квалифицировать «Воспоминания Адриана» как роман исторический, не ограничивался замысел писательницы. Как свидетельствует сама Юрсенар в одном из интервью, основным и решающим мотивом, побудившим ее сразу же после войны вернуться к довоенным наброскам повествования об Адриане, был мотив политического характера. Только что закончившаяся война, знаменовавшая крах агрессивных, милитаристских сил и планов, новые и новые заявления Организации Объединенных Наций, миролюбивые декларации крупнейших государственных деятелей — все это рождало оптимистические умонастроения, надежду на возможность прочного и длительного мира на земле. Среди миллионов и миллионов людей, разделявших подобные надежды, была и Маргерит Юрсенар, увидевшая вдруг в герое своих предвоенных набросков фигуру, поразительно созвучную миролюбивому духу послевоенного времени: ведь царствование Адриана было отмечено окончанием завоевательной политики Рима, решительным разрывом с агрессивными устремлениями прежних императоров, стремлением нового властителя установить мирные

отношения с соседними странами и освободить подданных империи от тягот, связанных с бесконечными войнами. Это и было первым, важнейшим звеном, способным, по мнению романистки, прочно связать давно уже привлекавшую ее фигуру далекого исторического прошлого с основным устремлением современности. Но это было не единственное звено. Все свои послевоенные надежды Маргерит Юрсенар возлагала на человека, одаренного государственным умом, а не на политическую систему, ибо, как выразилась она в одном из своих интервью, все системы «жестки», тогда как человек — гибок и способен значительно быстрее реагировать на изменение ситуации, чем любая, даже самая подвижная, система. По убеждению писательницы, Адриана, такого, каким он написан, сближало с нашей послевоенной современностью именно то, что он был государственным деятелем подобного типа, предпочитавшим — несмотря на значительный опыт полководца — как раз мирные, а не военные способы решения межгосударственных проблем. Писательница не упускает ни одного случая, чтобы подчеркнуть «глобальность», как выразились бы мы сегодня, политического мышления Адриана, широкий размах его реформаторской

деятельности в сфере экономической, правовой и государственной.

Роман, завершавшийся в первые послевоенные годы, отвечал духу времени и в том смысле, что могущественный римский властитель предстал в нем не только как гениальный (и именно поэтому «божественный») государственный и политический деятель, но также как просвещенный монарх — философ, ученый, даже поэт, покровитель искусств и либеральный защитник религиозного синкретизма, открытый неевропейским языческим религиозным мирам; точно так же, как в сфере теоретической, он, несмотря на весь свой характерный для римлянина, рационализм, был открыт запредельной разуму области «оккультного». И в то же время (что постоянно и подчас даже несколько преувеличенно подчеркивается в романе) это был просвещенный гедонист, умевший «вкушать» блага культурные и духовные с тем же наслаждением, с каким он пользовался благами земными, телесными.

Воспроизводя политическую и духовную жизнь далекого прошлого, Маргерит Юрсенар стремится понять и оценить ее с точки зрения «больных вопросов» нашей послевоенной действительности, устроив, таким образом, «очную ставку» двух

различных эпох. Стремясь достигнуть здесь максимального эффекта, романистка подчас вполне сознательно нарушает хронологию исторических фактов, смещает их реальные соотношения. С этой же особенностью авторского замысла связаны и элементы «модернизации» стилистики, которая может показаться неожиданной (и порой даже шокирующей) на общем фоне безусловного соблюдения автором исторической достоверности. Подобные нарушения определенной жанровой традиции характерны не для одной только Маргерит Юрсенар; совершенно очевидно, что произведение подобного типа — это скорее философско-исторический роман, где элементы исторические, несущие свою стилистику, находятся в сложномвзаимо действии с элементами интеллектуальной романистики.

Однако Маргерит Юрсенар не была бы крупным писателем, если бы не сумела превратить антиномию, едва ли разрешимую средствами теории, в творческую художественную проблему, приведшую к поиску новой романной формы, которая снимала бы ограничения каждого из этих жанров в новом, более высоком эстетическом синтезе. Этот поиск находит свое плодотворное отражение уже в самой форме,

которая была придана произведению, получившему название «Воспоминания Адриана». Как бы усугубляя, «перенапрягая» традиционную форму исторического романа, писательница стилизует свое произведение под исторический документ. Наряду с действительными историческими реалиями, используемыми в романе, Маргерит Юрсенар создает как бы действительный, а на самом деле фиктивный исторический документ — записки-воспоминания императора Адриана, адресованные одному из его преемников. Причем именно такое усиленное акцентирование жанровой специфики исторического романа открывает — как это ни парадоксально — дополнительные возможности для таящегося в его недрах интеллектуального, философского романа.

Придавая своему произведению форму исторического документа, Маргерит Юрсенар передоверяет свои авторские функции герою: она как бы заставляет эпоху отдаленного прошлого вспоминать о себе. Этим обеспечивается полная замкнутость эпохи, атмосфера совершенной автономии, абсолютного господства исторической стихии. Обращенное к самому себе, прошлое представлялось полностью отгороженным от современности, от «стороннего

наблюдателя» и потому должно было свидетельствовать о себе с полнейшей объективностью и беспристрастностью, тем более что «мемуары» писались безнадежно больным императором, воплощавшим трезвость и ясность, «доведенные до предела».

Подобная гипертрофия формы исторического романа, полностью замыкавшая, казалось бы, историческое прошлое в себе, оказалась не только абсолютно созвучной читательским интересам, но и открывала еще одну плодотворную возможность выхода за пределы исторической стихии в живую современность. Предоставив эпохе далекого прошлого размышлять о себе на глазах читателя, вовлеченного в его атмосферу, Маргерит Юрсенар обеспечивала себе тем большую свободу в выборе способов этого размышления, не останавливаясь перед далеко идущими «модернизациями», которые послевоенный читатель не только оправдывал, но с восторгом принимал. Читательское воображение не могла не захватить тонко проведенная игра на контрасте — именно контрасте! — между эффектом дистанции, которая обеспечивалась по отношению к прошлому как общим построением романа, так и его клеточной тканью, сплетен-

ной из достоверных исторических реалий, и эффектом присутствия, который возникал в поле напряжения вполне современно звучащих идей, чувств и переживаний героя.

Здесь нет необходимости вдаваться в детали фактографического анализа того, насколько образ действий Адриана — политика и реформатора государственных институтов — в точности соответствовал складу его мыслей. Ведь как внешнеполитические, так и внутриполитические мероприятия римского императора, правившего со 117 по 138 год нашей эры, вполне поддаются и совершенно иному истолкованию, нежели предложенное Маргерит Юрсенар, особенно если попытаться реконструировать конкретные цели римского властителя более объективно, отвлекаясь от его собственной точки зрения на свою деятельность.

Не случайно писательница сказала однажды, что иногда позволяла своему герою даже лгать, «присочиняя» к собственному прошлому то, чего в действительности не было или что имело совсем иной вид. Правда, в самом романе она ни словом, ни намеком не дает читателю понять, где, когда и как дает Адриан волю «макиавеллистским» свойствам человеческой памяти. Но ведь

это исключалось самим замыслом романа, которому Маргерит Юрсенар подчинилась, словно закону, предписанному ею самой себе как автору романа-исповеди.

Для нас важнее понять образ мыслей Адриана, его основную идею, которая позволила романистке сделать своего героя олицетворением «связи времен» — человеком, принадлежащим одновременно и седой древности, и самоновейшей современности. Речь идет об идее, с помощью которой мы — вместе с Маргерит Юрсенар — выходим за пределы жанровой специфики исторического романа и погружаемся в мыслительный поток романа интеллектуального, философского. Здесь читатель имеет дело даже не с тем, что постоянно изменяется во времени, а с тем, что вечно пребывает, позволяя нам возвыситься над его стремительным течением и перебросить мост над пропастью, разделяющей безвозвратно ушедшее и существующее «здесь и теперь».

Такой стержневой линией в романе является идея земной «божественности» человека, имеющая явно ренессансные истоки, хотя писательница наделила ею императора Адриана, жившего за тысячу лет до итальянского Ренессанса XIV–XVI веков.

Герой романа Маргерит Юрсенар богоравен именно потому, что он человек, которому не чуждо «ничто человеческое». Человек, вставший во главе могущественнейшей империи и использовавший открывшееся перед ним «пространство свободы» для беспрепятственного развития своих задатков, совсем не случайно был объявлен современниками «божественным» и стал предметом культового поклонения: он, по мнению романистки, и впрямь велик, и величие это сродни божественному, ибо человек должен обладать достаточной свободой для реализации своих, всегда индивидуализированных, потенций.

Идея человека как единственно возможного бога на земле открывала перед писательницей многообразные творческие перспективы, которые и обеспечили роману успех, причем он оказался более длительным, чем предполагала сама Маргерит Юрсенар, не ожидавшая, что идея, так волновавшая ее, многие годы остававшаяся ее «сугубо личной» идеей, будет длительное время волновать и других. Несмотря на ужасы недавно закончившейся войны, которые, казалось бы, должны были свидетельствовать об обратном тому, что утверждалось в романе (а скорее всего — как раз вопреки этим ужасам, вызвавшим у

людей волю к противостоянию им), западные читатели с воодушевлением восприняли его лейтмотивную идею: жизнь каждого человека в основе своей божественна, но не каждый об этом знает, иначе говоря, если хочешь быть богом — будь им, уверуй в себя и поступай в соответствии с этой верой. Впрочем, важна была даже не сама конкретная формулировка этой идеи, а пафос оптимизма, ее одушевлявший и ею излучаемый, который был целиком и полностью созвучен умонастроениям людей, только что осваводившихся от «коричневой чумы».

В одном из своих интервью Маргерит Юрсенар дала понять, что считает Адриана «человеком Ренессанса» и в этом смысле — гораздо более близким к нашей современности, чем к своей собственной эпохе. Суть здесь не только в том, что Адриан внес больший, чем какой бы то ни было другой римский император, вклад в дело возрождения греческой античности на почве римской культуры, в котором черпали вдохновение творцы более позднего Ренессанса, а и в том, что писательница вынесла из его деятельности понимание «божественности» земного человека гораздо более последовательное, чем ренессансная концепция «человека-бога». В этом смысле

Адриан оказывается гораздо ближе к эпохе, когда писался роман, чем к временам Ренессанса, у которых наш XX век заимствовал эту идею.

Носителем стержневой в романе ренессансной идеи является здесь не один только главный герой, в отличие от его предшественников обожествленный своими подданными еще при жизни, но и другой существенно важный персонаж произведения — Антиной. Фигура этого юноши греко-азиатского происхождения, веровавшего в Адриана как в бога и сознательно, как утверждается в романе, принесшего себя в жертву своему божеству, придает объемность, многокрасочность и символическую глубину идее, определяющей структуру произведения и сообщающей ему необходимую целостность. Этому спутнику тех Адриановых времен, которые сам император считал периодом своего «высшего счастья», официально обожествленному по приказу римского властителя после его трагической и безвременной кончины, принадлежит в романе совершенно особая роль. Подчас она представляется настолько значительной, многогранной и сложной — как по своей специфически-художественной, так и по своей мировоззренчески-содержательной функ-

ции, — что, кажется, перенапрягает эстетические возможности этого образа.

С Антиноем связана лирическая модификация стержневой идеи романа. Лишь в свете Адриановых воспоминаний об Антиное со всей отчетливостью прорисовывается вся глубина одиночества «божественного» императора, заставлявшего его тянуться к человеческому теплу. Но это лишь одна плоскость той лирической темы, что раскрывается именно в связи с образом юноши, покончившего с собой, не достигнув и двадцати лет. При ближайшем, более пристальном рассмотрении — на широком философском фоне романа — проблема одиночества «божественного Адриана» обнаруживает свой гораздо более глубокий пласт. «Какое великое преимущество — быть человеком нового склада, одиноким… по существу, лишенным семьи, без детей, почти без предков, быть Улиссом, чья Итака существует только в его душе…» — таков лейтмотив всех прежних самооценок властителя Римской империи. И он находится в органической связи с другим откровенным признанием Адриана: «своей драгоценной персоне» он мог предпочесть лишь идеи, планы, представления о том, каким он «должен стать в будущем», то

есть свою бесконечную и беспредельную самореализацию — высшую цель, для которой даже императорская власть была всего-навсего лишь средством. «Я хотел власти… главное, для того, чтобы, прежде чем умереть, сделаться наконец самим собой», — пишет Адриан. Люди, с которыми жизнь сталкивала «божественного императора», появлялись и исчезали как несколько измененные маски одного и того же лица («правила игры требовали смены масок»). Императорское «я хочу», «я стремлюсь» и даже «я люблю» было целиком и полностью замкнуто в пределах его «я»: «другому», именно как «другому», взятому в его самоцельности, самостоятельности, самоустремленности, там не было места. Вот почему Адриан долгое время был вполне удовлетворен — и в этом также по-своему «божествен». А это значит, что он долгое время не способен был признать такую же свободу и самостоятельность «другого», такое же его право на свободу самореализации.

Хотя Адриан утверждал, что всегда считал Антиноя таким же «божественным», на деле он поверил в это лишь после того, как юноша противопоставил императорскому «ты должен» свое «я хочу», причем сделал это свое решение недосягаемым для всепокоряющей воли римско-

го владыки. Тот, кто долгое время следовал за Адрианом «как прирученное животное… как великолепный пес», доказал свою полную свободу и самоцельность своего волеизъявления. Юноша, действительно веровавший в «божественность» Адриана, доказал, что он судит и оценивает своего бога как существо, равное ему, а не как его раб. «…Ребенок, боявшийся все утратить, — говорит Адриан, — нашел способ привязать меня к себе навсегда».

Что же касается самого Адриана, для которого «лицо другого» приобрело всю полноту своей личностной значимости лишь после добровольного ухода этого «другого» из жизни, то описанная в романе «мистерия памяти», сопровождавшаяся официальным обожествлением Антиноя, была достаточно убедительным свидетельством трудности поставленной императором задачи — «поддержать в человеке божественное начало, не жертвуя человеческим». И только в поисках реального, а не «головного» решения этой задачи обожествленный император смог осознать весь трагизм своего одиночества.

Еще один пласт той же лирической темы — Антиной как олицетворение любви римского императора к Греции, сознательно избранной им

духовной родине. И не только к Греции: Антиной был греко-азиат, и отношение к нему должно было символизировать отношение Адриана не только к Греции, но и к Азии, ко всему тому, что проникало оттуда в европейскую культуру, синтезирующую, как это представляется автору романа, языческий религиозный синкретизм и римскую рациональность.

И наконец, с Антиноем, вернее, пресуществлением в памяти Адриана образа этого юноши, а затем и всей культуры его времени, связан сокровенный мотив, сопрягающий в своеобразной гармонии диссонанс двух жанровых форм — интеллектуальный роман и роман исторический. Это опять-таки тема воспоминания, памяти, однако философски и эстетически переосмысленная и выливающаяся здесь уже почти что в мистерию памяти — земной, человеческой, посюсторонней.

Чувство безвозвратной утраты прошлого, к которому обращается мыслью безнадежно больной властитель колоссальной империи, ждущий своего конца, ощущение коренной несовместимости принципов существования того, что «еще есть», и того, что «уже было», многократно усиливает переживание уникальности свершив-

шегося однажды и в то же время сообщает ему новый смысл. Каждый частный, единичный факт стремительно пронесшейся жизни Адриана, всплывающий в разреженной атмосфере памяти, которой свойственно сохранять одно ценой утраты другого и затенения третьего, превращается в единственный в своем роде. В особенности если факт этот относится самим Адрианом к периоду, оцениваемому им как время его наивысшего счастья, когда он стал вдруг воспринимать свою жизнь — в ее официальных и неофициальных, государственных и бытовых, политических и интимных проявлениях — в качестве истинно божественной мистерии и ощутил непостижимую, сверхъестественную легкость во всех своих делах и начинаниях.

Идее живого человеческого воспоминания, с помощью которой внешняя форма исторического романа переводится в план его глубинного философского содержания — в роман интеллектуальный, здесь соответствует также и стилистика образности — способ построения художественных образов. Как и во втором послевоенном романе «Философский камень», где воспоминания главного героя также играют важную конструктивную роль, персонажи романа об

Адриане характеризуются ярко выраженной статичностью, которая в свою очередь ведет к определенной изоляции их друг от друга. Оправдывая эту особенность своих послевоенных романов, Маргерит Юрсенар утверждала в одном из интервью, что фигуры ее произведения воссозданы такими, какими они и должны были вставать в памяти героя, где они неизбежно характеризуются неподвижностью.

Эти фигуры, по словам романистки, являются более или менее мимолетными «манифестациями» знаками, символами — прошлого, всплывающего в пространстве памяти героя, обладающей, как мы уже убедились, свойством «остановить» прекрасное мгновенье и увековечить его. «Остановленное» в прошлом — на последней границе бытия и небытия — превращается таким образом в нечто вечно пребывающее, навеки равное самому себе. А это и есть «вечное возвращение», повторение одного и того же в различных образах, тождественных по своей внутренней сути, — «Гераклитова идея», поразившая героя романа настолько, что он начал было работать над обширным по замыслу произведением, имеющим в качестве сквозной нити эту мысль великого философа досократовских времен.

Нетрудно заметить, что подобная «метафизика воспоминания», превратившись в важнейший инструмент романного творчества, должна была способствовать дальнейшему внутреннему преобразованию исторического романа в роман интеллектуальный. Речь шла уже не просто о «наполнении» внешней формы исторического романа философским содержанием, теперь уже и его образная структура, и вся стилистика оказались преобразованными в духе интеллектуального романа, явно праздновавшего в этом произведении Маргерит Юрсенар свой триумф.

О том, насколько этот триумф был полным, свидетельствует сама писательница. Характеризуя стиль «мемуаров» умирающего владыки Рима, романистка отмечает, что они не очень-то похожи на воспоминания в точном смысле слова. Это, скорее, монолог политического деятеля, хотя и содержащий немало, интимных подробностей его биографии. В «правильности» построения этого монолога, в логичности содержащихся в нем рассуждений, в рациональности используемых здесь способов аргументации очень много — и писательница сознательно идет на это — от речи, которая могла бы быть произнесена в римском — да, пожалуй, не только римском — сенате.

Хотя материалом этой речи были воспоминания, имевшие прямое отношение к биографии Адриана, а потому личностно окрашенные, в ее стиле доминирует стихия сверхличного, всеобщего.

Можно объяснить эту особенность стиля повествования Адриана целями и задачами, которые ставил перед собой умирающий император, желавший оставить своему младшему преемнику Марку Аврелию нечто в роде политического (и в то же время философского) завещания. Нельзя не оценить государственную мудрость и благородство этого замысла, приписываемого романисткой своему любимому герою. Попытка Адриана передать свой политический, теоретический и эмоциональный опыт тому, кто в недалеком будущем продолжит его начинания, выглядит в романе вполне оправданной. При этом вряд ли кого оставит равнодушным и пафос, одушевлявший императора, озабоченного судьбами тех, кому придется жить после него, и его стремление утвердить в сознании своих политических преемников — а через них и в сознании будущих поколений — такие ценности, как ясность мысли, доброжелательность, гуманность, счастье, свобода, красота, справедливость, которыми, согласно концепции Маргерит Юрсенар,

ее герой руководствовался как основополагающими принципами Священной науки власти. В обращении Адриана к будущему его преемнику отчетливо улавливается призыв самой писательницы, обращенный к ее современникам.

Ю. Давыдов

Animula vagula blandula,
Hospes comesque corporis,
Quae nunc a bibis in loca
Pallidula, rigida, nudula,
Nec, ut soles, dabis iocos…

P. AElius Hadrianus, Imp.*

** Душа, скиталица нежная,*
Телу гостья и спутница,
Уходишь ты ныне в края
Блеклые, мрачные, голые,
Где радость дарить будет неко-
му…

П. Элий Адриан, Имп[ератор] (лат.).

ANIMULA VAGULA BLANDULA
ДУША, СКИТАЛИЦА НЕЖНАЯ

Дорогой Марк[1]!

Нынче утром я сошел вниз к моему врачу Гермогену, который только на днях возвратился на Виллу[2] после довольно долгой поездки в Азию. Обследование нужно было провести натощак, и мы условились, что он меня примет в утренние часы. Я сбросил плащ и тунику и прилег. Избавляю тебя от подробностей — они были бы тебе так же неприятны, как и мне самому, — и от описания тела стареющего человека, которому предстоит умереть от сердечной водянки. Скажу

---

[1] КОММЕНТАРИЙ: 1

Имеется в виду Марк Аврелий Антонин, будущий император (161–180 гг.). 1 января 138 г. неожиданно умер Луций Цейоний Коммод (далее неоднократно упоминаемый в романе), которого Адриан предназначал своим преемником. Тогда он избрал своим наследником 50-летнего сенатора Тита Аврелия Антонина (император Антонин Пий, 138–161 гг.), обязав его усыновить двух юношей, Цейония Коммода (сына Л. Цейония) и 17-летнего Марка Аврелия, которые впоследствии действительно как соправители сменили Антонина Пия на посту императора. Обращение к Марку (Аврелию) и намеки в дальнейшем тексте на его правление позволяют установить время, к которому, по замыслу М. Юрсенар, относятся настоящие «воспоминания» — между 1 января и 10 июля 138 г. (день смерти Адриана).

[2] КОММЕНТАРИЙ: 2

Словом «Вилла» здесь и в дальнейшем обозначается загородная

резиденция Адриана в Тибуре (ныне Тиволи). Сооруженная за два строительных периода (118–125 и 125–133 гг.) и сочетавшая греческие скульптуры старинного стиля с ультрасовременными, чисто римскими архитектурно-строительными формами, она остается свидетельством утонченного вкуса Адриана, его постоянного стремления к греко-римскому синтезу и одним из высших достижений римской архитектуры. Император, однако, пользовался Виллой мало и поселился здесь лишь в самом конце жизни.

лишь, что я послушно кашлял, дышал и задерживал дыхание, повинуясь указаниям Гермогена; он был явно напуган столь стремительным развитием болезни и готов был свалить всю вину на молодого Иолла, который наблюдал меня в его отсутствие. Наедине с врачом трудно оставаться императором и не менее трудно ощущать себя человеком. В глазах Гермогена я был только скопищем жидкостей, жалкой смесью лимфы и крови. Нынче утром я впервые подумал о том, что мое тело, этот верный товарищ и преданный друг, которого я знаю лучше, чем свою душу, оказалось коварным чудовищем, которое в конце концов сожрет своего господина. Но полно… Я люблю свое тело, оно верно служило мне во всех случаях жизни, и мне ли скупиться на заботы о нем. Однако, в отличие от Гермогена, я больше не верю ни в чудодейственную силу трав, ни в целебные свойства минеральных солей, за рецептами которых ездил он на Восток. Этот человек, всегда такой тонкий, стал вдруг рассыпаться в утешениях, настолько затасканных и пошлых, что они не могли меня обмануть. Он знает, что я не терплю подобной лжи, но тридцатилетние занятия медициной безнаказанно не проходят. Я прощаю верному слуге эту попытку скрыть от

меня мой конец. Гермоген — человек ученый и к тому же мудрый; он гораздо честнее любого придворного лекаря, и, доверившись ему, я, наверное, был бы самым ухоженным на свете больным. Но никому не дано выйти за пределы, предуказанные судьбой; распухшие ноги больше не держат меня во время долгих римских церемоний; я задыхаюсь, и мне уже шестьдесят лет[3].

Однако не делай из этого ошибочных выводов; я еще не настолько слаб, чтобы поддаваться химерам страха, почти столь же нелепым, как и химеры надежды, и, конечно, более мучительным, чем они. Если уж мне суждено обмануться, я бы предпочел быть излишне доверчивым: в этом случае я ничего не потеряю, зато страдать буду меньше. Мой срок уже близок, но это не означает, что он наступит немедленно, и я каждую ночь засыпаю в надежде дожить до утра. Внутри тех непреодолимых пределов, о которых я только что говорил, я могу упрямо защищать свои позиции и даже порой отвоевывать у противника несколько пядей отданной было земли. И все же я достиг возраста, когда жизнь становится для каждого

[3] КОММЕНТАРИЙ: 3

На самом деле 62 года, т. к. Адриан родился 24 января 76 г. Намеренная стилизация М. Юрсенар под язык римских писателей, — следуя требованиям риторики, они обычно предпочитали округленные цифры.

человека поражением, с которым он должен мириться. Сказать, что мои дни сочтены, — это ничего не сказать: так было с самого начала жизни; таков наш общий удел. Но неопределенность места, времени и способа смерти, мешающая отчетливо видеть цель, к которой мы движемся неуклонно и без передышки, уменьшается по мере развития моей смертельной болезни. Внезапно умереть может каждый, но лишь больной знает твердо, что через десять лет его не будет среди живых. Полоса тумана распространяется для меня уже не на годы, а на месяцы. Мои шансы умереть от удара кинжалом в сердце или от падения с лошади теперь уже минимальны; вероятность заразиться чумой ничтожна; проказе или раку меня уже не настигнуть. Мне не грозит больше риск пасть на границах империи под ударом каледонского топора[4] или парфянской стрелы; бури так и не смогли меня погубить, и колдун, предсказавший мне, что я не утону, был, кажется, прав. Я умру или в Тибуре, или в Риме, или, самое дальнее, в Неаполе, и обо всем позаботится приступ удушья. Какой приступ, десятый или сотый, окажется для меня последним? Вопрос

[4] КОММЕНТАРИЙ: 4

Каледоны — кельтское племя, обитавшее в пределах нынешней Шотландии.

только в этом. Подобно путешественнику, который, плывя на корабле меж островов архипелага, видит, как к вечеру рассеивается над морем пронизанный солнцем туман и впереди проступает линия берегов, я начинаю различать очертания своей смерти.

Некоторые периоды прожитой мною жизни походят уже на опустелые покои излишне просторного дворца, в котором его обедневший владелец занимает теперь всего лишь несколько комнат. Я больше не охочусь; косули в этрусских горах могли бы теперь жить спокойно, будь я единственным, кто способен потревожить их мирные игры. С Дианой, владычицей лесов, я всегда поддерживал отношения переменчивые и пылкие — отношения влюбленного к любимому существу; когда я был подростком, охота на вепря впервые дала мне возможность испытать, что значит властвовать над людьми и что такое опасность; тому и другому я предавался с неистовством; и все эти крайности вызывали недовольство Траяна[5]. Кровавый дележ охот-

[5] КОММЕНТАРИЙ: 5

Траян — император в 98-117 гг., был двоюродным дядей Адриана и после ранней смерти отца будущего императора в 86 г. — его опекуном.

ничьей добычи на поляне в Испании[6] был для меня первым опытом смерти, мужества, жалости к живым существам и трагического наслаждения зрелищем их страданий. Став мужчиной, я отдыхал на охоте от тех тайных сражений, что мне постоянно приходилось вести с противниками, то слишком лукавыми или слишком тупыми, то слишком слабыми или слишком сильными для меня. Суровая битва между разумом человека и прозорливостью диких животных казалась в сравнении с человеческими кознями удивительно честной. Когда я стал императором, мои охоты в Этрурии помогали мне судить об отваге или находчивости высоких сановников; таким образом я отверг или приблизил к себе не одного государственного деятеля. Позже, в Вифинии, в Каппадокии[7], я использовал большие облавы на зверя в качестве предлога для праздника, для осенних торжеств в азиатских лесах. Но мой сотоварищ по последним охотам умер совсем

---

[6] КОММЕНТАРИЙ: 6

Род Элиев, из которого вышел Адриан, как и род Ульпиев, к которому принадлежал Траян, происходил из Испании (город Италика в провинции Бетика).

[7] КОММЕНТАРИЙ: 7

Вифиния — область на севере Малой Азии, с 74 г. до н. э. вошедшая в состав римских владений. Каппадокия — область на востоке Малазийского полуострова, с начала н. э. — провинция Римской империи.

молодым, и мое пристрастие к этим жестоким радостям угасло после его ухода. Однако даже здесь, в Тибуре, внезапного фырканья оленя в лесной чаще достаточно для того, чтобы во мне встрепенулся инстинкт, гораздо более древний, чем все остальные инстинкты; благодаря ему я ощущаю себя не только императором, но и гепардом. Как знать, быть может, я всегда бережно расходовал человеческую кровь только лишь потому, что пролил так много крови диких животных, хотя нередко в глубине души предпочитал их людям. Но как бы там ни было, образы хищников по-прежнему преследуют меня, и я с немалым трудом удерживаюсь от нескончаемых охотничьих историй, чтобы не подвергать вечерами тяжкому испытанию терпеливость моих гостей. Разумеется, в воспоминании о дне усыновления меня Траяном много радостного, но и вспомнить о львах, убитых в Мавритании, тоже приятно.

Отказ от коня — жертва еще более мучительная: хищный зверь — всего лишь противник, конь же был мне другом. Если б мне было дано самому избрать свой удел, я бы хотел быть Кентавром. Отношения между Борисфеном и мной были математически четки; он подчинялся мне не как своему хозяину, а как подчиняются

мозгу. Удалось ли мне хоть раз добиться того же от человека? Столь абсолютная власть всегда таит в себе для того, кто обладает ею, опасность ошибки, но наслаждение, какое я получал, пытаясь свершить невозможное, когда брал на скаку препятствия, было слишком огромным, чтобы жалеть о вывихнутом плече или сломанных ребрах. Тысячу всяких, довольно зыбких, понятий, обычно прилагаемых к человеку, вроде звания, должности, имени, — все то, что так осложняет дружбу между людьми, — моему коню заменяло единственное знание, знание моего настоящего веса. Он был частью моих усилий; он очень точно — и, может быть, даже лучше, чем я, — знал, в какой точке моя воля расходится с моими возможностями. Но преемника Борисфена я больше не обременяю своей тяжестью — грузом дряблых мышц больного человека, слишком немощного для того, чтобы он мог сам взобраться на спину верхового коня. Сейчас, когда мой помощник Целер[8] объезжает его на Пренестинской дороге, мой так быстро канувший в прошлое опыт поз-

[8] КОММЕНТАРИЙ: 8

По-видимому, вымышленное лицо, представлявшее военно-командный элемент в окружении императора; не поддается отождествлению с ним реально засвидетельствованный Каниний Целер — греческий ритор, секретарь по греческой переписке (и, скорее всего, отпущенник) Адриана, один из воспитателей Марка Аврелия.

воляет мне разделить с всадником и с животным ту радость, которую они оба получают от скачки, и по достоинству оценить ощущения человека, летящего во весь опор навстречу солнцу и ветру. Когда Целер соскакивает с коня, я вместе с ним чувствую под ногами землю. То же самое происходит и с плаваньем: я от него отказался, но все еще чувствую вместе с пловцом ласку воды. Пробежать даже самое короткое расстояние для меня теперь так же немыслимо, как для статуи, как для каменного Цезаря, однако я еще помню, как мальчишкой носился по иссушенным холмам Испании, как бегал с самим собой вперегонки и валился с ног, задыхаясь, но твердо зная при этом, что мое молодое сердце и отличные легкие не замедлят вернуть равновесие организму; и всякий атлет, тренирующийся в беге на длинную дистанцию, находит в моей душе понимание, которого не достичь одним лишь рассудком. Так из каждого искусства, в котором я преуспел в свое время, я извлекаю какое-то знание, и оно частично возмещает мне утраченные радости. Я считал — и в добрые моменты поныне считаю, — что таким способом человек мог бы вобрать в себя существование всех людей, и это сочувствование явилось бы одним из самых надежных видов

бессмертия. Мне выпадали мгновения, когда это понимание готово было перейти границы человеческого, когда оно шло от пловца к волне. Но тут я не могу уже опираться на точные данные и потому вторгаюсь в область таких метаморфоз, какие являются нам лишь в сновидениях.

Чревоугодие — истинно римский порок, но я был умерен в еде, и эта умеренность была мне всегда в радость. Гермогену не пришлось ничего менять в моем режиме питания. Единственным, в чем он, пожалуй, мог меня упрекнуть, было нетерпение, с каким я в любое время и в любом месте стремился поскорей проглотить первое попавшееся кушанье, словно разом хотел покончить с теми ощущениями, которыми досаждал мне желудок. Конечно, человеку богатому, никогда не терпевшему лишений, кроме тех, которые он принимал на себя добровольно или к каким на недолгое время бывал принуждаем силою обстоятельств, не пристало хвастаться своим малоедением. Наесться в праздничный день до отвала всегда было честолюбивой мечтой, предметом радости и естественной гордости бедняков. Мне нравились ароматы жареного мяса и шум выскребаемой посуды во время солдатских празднеств, нравилось, что пиршества

в лагере (или то, что почиталось в лагере за пиршество) были именно тем, чем они должны были быть, — веселым и грубым противовесом тяготам и лишениям будничных дней; я довольно легко мирился с запахом топленого жира на общественных площадях в дни сатурналий. Но римские пиры вызывали у меня такое отвращение и такую тоску, что несколько раз во время военных экспедиций, когда мне, казалось, грозила неминуемая смерть, я утешал себя мыслью о том, что мне по крайней мере уже не надо будет больше присутствовать на обедах. Не обижай меня, трактуя слова мои как пошлый отказ от жизненных благ; процедура, которой мы предаемся два или три раза в день и целью которой является поддержание жизни, бесспорно, заслуживает наших забот. Съесть спелый плод — это значит дать войти в нас чему-то живому и прекрасному, пусть инородному, но, как и мы, вскормленному и взращенному землей; это значит принять жертвоприношение, которым мы ставим себя выше неодушевленных предметов. Надкусывая ломоть солдатского хлеба, я всякий раз с восхищением думал о том, что эта тяжелая и грубая пища способна претвориться в кровь, в теплоту и даже, может быть, в мужество. О, почему мой

дух, даже в лучшие мои дни, был наделен лишь малой долей той способности к усвоению, какой обладает тело?

В Риме на протяжении нескончаемых официальных обедов мне нередко приходила в голову мысль о том, что у нашей роскоши нет далеких истоков, о том, что этот народ скуповатых крестьян и нетребовательных к пище солдат, который всегда довольствовался ячменем и чесноком, позднее, во времена завоеваний, ворвался вдруг в кухни Азии и теперь с грубостью проголодавшихся мужланов жадно поглощает самые изысканные яства. Наши римляне обжираются ортоланами, накачиваются соусами, травят себя пряностями. Какой-нибудь Апиций[9] так и пыжится от гордости, кичась затейливой сменой блюд, бесконечной вереницей кушаний, острых, сладких, тяжелых или, напротив, воздушных, из которых складывается пышный распорядок его застолья; добро бы еще каждое из этих яств предлагалось отдельно, вкушалось натощак,

[9] КОММЕНТАРИЙ: 9

Известны по крайней мере три человека по имени Апиций, славившиеся как моты и гурманы и жившие соответственно в начале I в. до н. э., на рубеже н. э. и при Траяне. (О последнем и идет речь в комментируемой фразе.) Некоему Апицию приписывалась также знаменитая римская поваренная книга, составленная в III в. н. э. Имя, таким образом, было, скорее всего, нарицательным.

отведывалось знатоком, чьи вкусовые ощущения еще не притупились. Подаваемые вперемешку, затерянные в нагромождениях каждодневного изобилия, они создают во рту и в желудке отвратительную мешанину, где ароматы и оттенки вкуса теряют свои природные свойства, свою восхитительную неповторимость. Добрейший Луций[10] когда-то тешил себя тем, что готовил для меня редкие кушанья; его фазаньи паштеты, с их изощренной дозировкой жира и специй, свидетельствовали о мастерстве столь же высоком, как мастерство музыканта или живописца; но мне было жаль, что в его стряпне исчезал натуральный вкус великолепной дичи. Греция умела управляться с этими делами куда лучше: ее смолистое вино, ее обсыпанный кунжутом хлеб, ее зажаренная на вертеле, прямо у моря, рыба, с одного бока почерневшая от огня и приправленная хрустящими на зубах песчинками, отлично утоляли голод, не отягощая ненужными сложностями самое простое из наших удовольствий. В какой-нибудь таверне Эгины или Фалера я наслаждался пищей настолько свежей, что

[10] КОММЕНТАРИЙ: 10

Деталь, совершенно нетипичная для римского аристократа, призванная подчеркнуть причудливый характер «античного денди» (ср. с. 107 книги).

она оставалась божественно чистой несмотря на грязные руки слуги, настолько скромной и при этом сытной, словно она заключала в себе самую сущность бессмертия. Мясо, изжаренное вечером после охоты, тоже таило в себе нечто почти сакраментальное, возвращавшее нас к первобытным временам, к исконным корням народов и племен. Вино приобщает людей к вулканическим тайнам земли, к скрытым в ней минеральным богатствам: чаша самосского вина, выпитая в яркий солнечный полдень или, наоборот, зимним вечером, когда ты устал, и мгновенно наполняющая тебя ощущением приятного тепла в желудке и бодрящего жара во всем теле, одаряет нас чувством почти священным, порой даже слишком сильным для человеческой головы; выходя из пронумерованных римских подвалов, я уже не испытываю этого ощущения во всей его чистоте, и педантизм знатоков изысканных вин меня раздражает. С еще большим благоговением пью я воду; когда мы зачерпываем ее ладонью или припадаем к источнику ртом, в нас входят таинственные соли земли и излившийся с неба дождь. Но и вода теперь, при моей болезни, стала для меня запретной радостью, мне и здесь предписано строгое воздержание. И

все-таки даже в агонии, сквозь горечь последних микстур, я буду пытаться почувствовать на губах ее пресную свежесть.

В свое время я пробовал было воздерживаться от мяса — в духе тех философских школ, которые проповедуют, что нужно испытать на себе все существующие режимы питания; позже, в Азии, я видел, как индийские гимнософисты[11] отворачивались от дымящихся ягнят и газельих туш, которые предлагались гостям в шатрах Хосрова[12]. Но этот обычай, столь привлекательный для твоей юношеской суровости, требует хлопот еще более обременительных, нежели чревоугодие и гурманство; он слишком резко отделяет нас от большинства людей в одном из главных телесных отправлений, которое почти всегда происходит публично и чаще всего подчинено велениям государственности или дружбы. Я предпочел бы всю жизнь питаться одними цесарками и жирной гусятиной, только бы не давать моим гостям повода обвинять меня

[11] КОММЕНТАРИЙ: 11

Гимнософистами греки называли древнеиндийских философов, проповедовавших аскетизм.

[12] КОММЕНТАРИЙ: 12

В описываемую эпоху Парфянское царство состояло из нескольких областей, во главе которых стоял свой правитель; Хосров был одним из них. Центрами его державы были Ктесифон и Селевкия Вавилонская.

за каждой трапезой в том, что я чванюсь перед ними своим аскетизмом. Мне и без того бывало нелегко с помощью горстки сушеных фруктов и единственной чаши вина, которое я медленно цедил целый вечер, скрывать от моих сотрапезников, что фигурные торты приготовлены моим поваром не столько для меня, сколько для них и что я давно равнодушен ко всем этим яствам. Государь здесь лишен той свободы действий, какая есть у философа: он не может себе позволить отличаться от окружающих по многим вопросам одновременно, а боги знают, что вопросы, по которым я расхожусь с людьми, и так уж чересчур многочисленны, хоть я и льщу себя надеждой, что многие из них остались незамеченными. Что же касается религиозных сомнений гимнософиста и его отвращения к окровавленному мясу, меня это, может быть, и растрогало бы, если бы мне не приходилось задаваться вопросом: чем страдания травы, которую косят, так уж разнятся от страданий овец, которых режут, и не объясняется ли наш ужас перед убийством животных прежде всего тем, что мы с нашей чувствительностью принадлежим к одному с ними царству? Но в некоторые моменты своей жизни, например в периоды ритуальных постов или во время

приобщения к таинствам, мне довелось познать не только преимущества, но также и опасности, какие представляют собой различные формы воздержания или даже добровольного изнурения плоти, познать те состояния, близкие к помутнению рассудка, когда тело входит в чуждый ему мир, предвосхищающий холодную бесплотность смерти. В иные минуты этот опыт позволял мне прикоснуться к идее постепенного самоубийства, к идее кончины путем истязания плоти, которой были одержимы некоторые философы, к этому безудержному плотскому разгулу наизнанку, доводящему человеческое начало до полного уничтожения. Но я никогда не любил разделять до конца какую бы то ни было доктрину, и мне не хотелось бы, чтобы укоры совести отняли у меня право объедаться колбасами, если бы на меня вдруг напало такое желание или если б одна только эта еда оказалась у меня под рукой.

Киники и наставники мудрости[13] согласны между собою в том, что любовные наслаждения — радости грубые, и помещают их в один ряд

[13] КОММЕНТАРИЙ: 13

Имеются в виду лица самого разного социального уровня — от сенаторов-консуляриев до отпущенных на волю греческих рабов, — проповедовавшие духовную независимость человека от страха, страданий и жизненных тягот.

с удовольствиями, доставляемыми питьем и едой, объявляя их, однако, менее необходимыми, поскольку без радостей любви человек может якобы обойтись. От наставника мудрости я готов ожидать чего угодно, но меня удивляет, что так заблуждаются киники. Остается предположить, что и те и другие преисполнены страха перед терзающими их демонами, с которыми они борются или перед которыми пасуют, и стараются принизить свое наслаждение, дабы отнять у него грозную силу, под бременем которой они изнемогают, и лишить его странной таинственности, в которой они видят свою погибель. В правомерность приравнивания любви к чисто физическим наслаждениям (если допустить, что таковые вообще существуют) я поверю в тот день, когда увижу, как гурман, сидя перед своим излюбленным блюдом, рыдает от восторга, словно любовник на юном плече. Из всех наших утех только любовь способна потрясать душу, и только в любви мы всецело отдаемся исступлению плоти. Совсем необязательно, чтобы человек, пьющий вино, непременно терял рассудок, однако не теряющий разума любовник отказывает своему богу в должном повиновении. Во всех прочих сферах воздержание или невоздержанность,

завлекая в свои сети человека, имеют дело лишь с ним одним, без партнеров; любое же проявление чувственности (если не считать случая Диогена[14], ограничения которого и самый характер рассуждений говорят за себя) ставит нас перед лицом Другого, неминуемо требуя от нас выбора. Я не знаю иных областей бытия, где поступки человека диктовались бы побуждениями более простыми и более непререкаемыми; где избранный нами объект оценивался бы более точно, в зависимости от истинного веса доставляемых им наслаждений; где любитель докапываться до сути вещей имел бы больше возможностей судить о человеке в его первозданном виде. В любви меня поражает все, начиная с обнаженности, которая подобна обнаженности в смерти, и до смирения, которое глубже, чем смирение людей, потерпевших поражение в битве или возносящих молитвы богам; я всякий раз изумляюсь этим сложнейшим комбинациям отказов, боязни, великодушных порывов, всей этой бесконечной череде жалких признаний, хрупкой лжи,

[14] КОММЕНТАРИЙ: 14

Речь идет о греческом философе-кинике Диогене Синопском (404–323 гг. до н. э.), доведшем до предела учение о духовной свободе, которая обретается через отказ от всех потребностей, кроме природно обусловленных.

пылких уступок, всему этому множеству связей, которые образуются между моими наслаждениями и наслаждениями другого существа, связей, которые невозможно оборвать и которые, однако, так быстро развязываются. Эта таинственная игра, где любовь к телу превращается в любовь к личности, мне всегда представлялась восхитительной и достойной того, чтобы посвятить ей часть своей жизни. Слова обманчивы, потому что слово «наслаждение» выражает противоречивые вещи, вмещая в себя понятия теплоты, нежности, телесной близости и в то же время жестокости, агонии, крика. Непристойная фраза Посидония[15] о соприкосновении двух частиц плоти, которую, помнится, ты с прилежанием примерного ученика переписывал в свою школьную тетрадь, помогает пониманию феномена любви не больше, чем прикосновение пальца к

[15] КОММЕНТАРИЙ: 15

Посидоний (135(?) -51 гг. до н. э.) — крупнейший представитель греческой стоической философии своей эпохи, оказавший сильное влияние на духовную жизнь Рима. Жил и учил на о. Родос, где его слушал, в частности, Цицерон. Какая фраза из его многочисленных сочинений имеется в виду, неясно.

струне — постижению таинства[16] звуков. Эта фраза оскорбительна даже не для сладострастия, а для самого тела, для этого механизма из мускулов, крови и кожи, этого багряного облака, душа которого — молния.

И я признаю, что разум впадает в смущение, сталкиваясь с чудом любви, с этим странным наваждением, из-за которого та самая плоть, которой мы уделяем так мало забот, когда она составляет наше собственное тело, и которая беспокоит нас только тогда, когда ее нужно мыть, кормить и, если возможно, избавить от страданий, может внушать нам такое страстное желание ласк только потому, что она одухотворена индивидуальностью, отличной от нашей, и потому, что обладает какими-то черточками красоты, по поводу которых, впрочем, самые лучшие судьи неспособны прийти к единому мнению. Здесь человеческая логика бессильна — так же, как в постижении Тайн. Народная традиция не ошиблась, усмотрев в любви одну из форм посвящения, одну из точек соприкосно-

---

[16] КОММЕНТАРИЙ: 16

Начиная с I в. в Риме все шире распространяются мистические восточные культы, предполагавшие сложные обряды посвящения, погружение в экстатическое состояние, умерщвление плоти и т. д. Адриан сполна отдал дань этим увлечениям (см. выше упоминание о «приобщении к таинствам» и ниже — о культе Митры).

вения с сокровенным и святым. Чувственный опыт сравним с приобщением к Тайнам еще и потому, что первое знакомство с ним производит на непосвященного впечатление обряда, в той или иной мере страшного, постыдным образом несхожего с привычными отправлениями — сном, едой, питьем, впечатление чего-то такого, что таит в себе издевку, ужас и позор. Так же, как пляска менад или исступление корибантов, наша любовь уводит нас в совершенно иной мир, куда нам в другое время вход запрещен и где мы сразу же перестаем ориентироваться, как только наш пыл угасает или наслаждение приходит к развязке. Пригвожденный к любимому телу, как распятый к своему кресту, я постигал секреты бытия, но моя память с той поры уже притупилась, повинуясь тому же закону, в силу которого больной, исцелившись, забывает о таинственных свойствах своего недуга, узник, отпущенный на свободу, не помнит уже о перенесенных им пытках, а триумфатор, отрезвев, — о своей славе.

Иногда мне рисовалась в мечтах стройная система человеческого знания, основанного на эротическом опыте, теория соприкосновения, в котором тайна и достоинство другого существа состоят именно в том, что оно предоставляет

опорный пункт для постижения другого мира. Наслаждение стало бы, согласно этой философии, особой формой, более полной и необычной, этого сближения с Другим, а также стало бы мастерством, с помощью которого мы познаём то, что находится вне нас. При встречах, которые никак не назовешь чувственными, телесное соприкосновение иной раз рождает или губит эмоции: противная рука старухи, подающей мне прошение, влажный лоб моего умирающего отца, обмытая рана на теле солдата. Отношения, даже самые интеллектуальные или самые безразличные, выявляются через посредство целой системы телесных сигналов: внезапно просветлевший взгляд трибуна, которому ты утром перед сражением объясняешь задуманный тобой маневр, безличное приветствие подчиненного, который, завидев тебя, застывает в позе, выражающей готовность к повиновению, дружелюбие в глазах раба, когда я благодарю его за то, что он мне подал поднос, или понимающая улыбка на лице старого друга, когда ты даришь ему греческую камею. При общении с большинством людей самого легкого, самого поверхностного из подобных контактов бывает достаточно, чтобы в нас затеплилось или даже вспыхнуло ярким светом

желание. И вот все твои помыслы устремляются к единственному и неповторимому существу, множась и обступая его сплошным кольцом осады; каждая частичка чьего-то тела обретает для тебя такое же значение, как черты чьего-то лица, и переворачивает всю твою душу; одно-единственное на свете создание уже не просто вызывает у тебя раздражение, радость или тоску, но начинает неотступно преследовать тебя, точно музыка, и мучит тебя, как нерешенная проблема; вот это создание уже переместилось с периферии твоего мира в самый его центр и стало тебе гораздо нужнее, чем ты сам, — и тогда свершается чудо, в котором я вижу скорее завоевание плоти духом, нежели простую игру плоти.

Такие взгляды на любовь могли бы сделать из меня профессионального обольстителя. И если этого не произошло, то, наверное, лишь потому, что я выбрал себе иную стезю, пусть не лучшую, чем эта, но совсем на нее не похожую. Искусство обольстителя требует если не таланта, то, во всяком случае, больших хлопот и даже ухищрений, к чему я всегда чувствовал себя неспособным. Эти расставляемые повсюду ловушки, всегда одни и те же, эта неизбежная банальность, сводящаяся к постоянным подступам и подходам, где даже

одержанная тобой победа уже есть неодолимый предел, скоро наскучили мне. Мастерство великого обольстителя требует переходить от одного предмета страсти к другому легко и беззаботно, а этого я не умею; во всяком случае, чаще бросали меня, чем я кого-то бросал; и я никогда не понимал, как можно пресытиться люби, мым существом. Стремление бережно подсчитывать все богатства, которые приносит нам каждая новая любовь, видеть, как она меняется и, может быть, даже стареет, плохо вяжется с большим количеством побед. Когда-то я считал, что чувство прекрасного сможет заменить мне целомудренную добродетель, предохранит меня от слишком грубых соблазнов. Но я ошибался. Любитель красоты кончает тем, что находит ее повсюду и обнаруживает золотые жилы в самой пустой породе; перебирая в руках грязные обломки былых шедевров, он испытывает наслаждение знатока, собирателя бесценных гончарных изделий, которые считаются всеми грубой поделкой. Более серьезным тормозом для человека утонченного является высокое положение, которое он занимает в обществе; неограниченная власть таит в себе опасность угодничества и лжи со стороны его подданных. Мысль о том, что какой-то человек в

моем присутствии притворяется и фальшивит, вызывает у меня к нему только жалость, презрение или ненависть. От этих досадных неудобств моей счастливой судьбы я страдал не меньше, чем бедняк от своей нищеты. Еще немного, и я примирился бы с унылой ролью, которая состоит в том, что ты действуешь с видом обольстителя, прекрасно зная, что никто не посмеет тебя ослушаться. Но все это было омерзительно и просто глупо.

Может быть, всем этим сложным и заманчивым планам обольщения я предпочел бы в конце концов убогую реальность разврата, если бы и здесь не царила ложь. Я готов допустить, что проституция — такое же искусство, как массаж или укладка волос, но я с трудом переношу даже общество массажиста или брадобрея. Нет на свете ничего более грубого, чем наши приспешники. Подобострастного взгляда хозяина таверны, который припас для меня лучшего вина и, следовательно, отказывает в нем кому-то другому, было достаточно в дни моей юности, чтобы отбить у меня охоту к римским развлечениям. Мне было противно, что какой-то субъект считает себя вправе угадывать мои желания, предвидеть их, автоматически применяясь к тому, что он

счел моим выбором. Это дурацкое и искаженное отражение меня самого, которое показывал мне в такие минуты чей-то мозг, могло склонить меня к унылой жизни аскета. Если легенда, повествующая о диких выходках Нерона или об утонченной изысканности Тиберия, ничего не преувеличивает, этим великим пожирателям удовольствий нужны были не только железные нервы, чтобы справляться с таким сложным конгломератом всяческой челяди, но и редкое презрение к людям, чтобы их спокойно терпеть, зная, что все они насмехаются над тобой или получают от тебя корысть. И все же, если я почти полностью отказался от чересчур бездуховных форм наслаждения или слишком рано в них не погряз, я обязан этим скорее удаче, нежели собственной добродетели. Я мог бы поддаться этим порокам и на старости лет, как и любому другому виду слабости или изнеможения. Болезнь и теперь уже близкая смерть спасут меня от монотонного повторения одинаковых жестов, напоминающих затверживанье вслух урока, который ты и так знаешь наизусть.

Из всех постепенно покидающих меня радостей одной из самых драгоценных, но и самых естественных, является сон. У человека, который

спит мало и плохо, опираясь на бесчисленные подушки, достаточно времени для того, чтобы поразмыслить над этим странным наслаждением. Конечно, сон самый прекрасный — это сон, представляющий собою дополнение к любви, мудрое отдохновение, воплощенное в двух спящих телах. Но сейчас меня занимает другое — неповторимая тайна сна, вкушаемого ради него самого, неотвратимое и опасное погружение вечерами, когда мы обнажены, одиноки и безоружны, в океан, где все становится сразу другим — цвета, плотность предметов, самый ритм дыхания — и где мы часто встречаем умерших. Успокаивает лишь то, что из сна мы в конце концов выходим, и выходим нисколько не изменившимися, поскольку некий странный запрет мешает нам уносить из сновидений четкие очертания их образов. Успокаивает и то, что сон исцеляет нас от усталости, но он прибегает для этого к самому радикальному способу лечения: мы словно на какое-то время вообще перестаем существовать. Особое удовольствие и искусство заключается в том, чтобы сознательно отдаваться этой блаженной бессознательности и по своей воле делаться более слабым, более тяжелым, более легким, более неопределенным и зыбким, чем ты есть. Я еще вернусь к удивитель-

ному племени существ, населяющих наши сны. Сейчас мне хочется сказать об опыте сна и пробуждения в их чистом виде, ибо они граничат со смертью и с воскресением из мертвых. Я пытаюсь вновь пережить ощущения подростка, когда сон сражает тебя наповал и ты одетым засыпаешь над книгами, мгновенно переносясь из мира математики и юриспруденции в глубины крепкого и сладкого сна, так плотно насыщенного неизрасходованной энергией, что ты сквозь закрытые веки смакуешь сладостную суть бытия. Я вспоминаю, как меня внезапно смаривал сон в лесу, прямо на земле, после утомительных дней охоты, и будил только лай собак или лапы, упирающиеся в мою грудь. Забытье бывало таким полным, что я должен бы был каждый раз просыпаться совсем другим человеком, и меня удивлял, а временами печалил этот неукоснительно строгий порядок, который из таких далей опять и опять приводил меня в ту же крохотную ячейку человечества, какой являюсь я сам. Как определить их, эти неповторимые черточки, которыми мы больше всего дорожим, потому что они так мало значат для нас, спящих, и которые, прежде чем с сожалением возвратиться в телесный облик Адриана, мне удавалось уловить на какую-то

долю секунды, ощутить себя другим человеком и словно бы прикоснуться к чужой, не имеющей прошлого жизни?

С другой стороны, болезнь и старость тоже полны чудес и получают от сна благодатные дары иного рода. Около года назад, после на редкость тяжелого дня, проведенного в Риме, я изведал одну из тех передышек, при которых истощение сил производит такие же — а вернее, совсем иные — чудеса, что и неистощимые запасы сил в молодости. Я теперь приезжаю в город редко[17] и в каждый приезд стараюсь выполнить как можно больше дел. Этот день был забит до отказа: после заседания Сената — судебная процедура; за ним последовала бесконечно долгая дискуссия с квесторами[18], потом — религиозная церемо-

---

[17] КОММЕНТАРИЙ: 17

См. прим. 2.

[18] КОММЕНТАРИЙ: 18

Квесторы — младшие сенатские должностные лица, в числе прочего ведавшие и финансами. Здесь имеется в виду именно эта сторона их деятельности: денежное хозяйство часто вызывало трения между императором и Сенатом.

2 КОММЕНТАРИЙ: 2

Словом «Вилла» здесь и в дальнейшем обозначается загородная резиденция Адриана в Тибуре (ныне Тиволи). Сооруженная за два строительных периода (118–125 и 125–133 гг.) и сочетавшая греческие скульптуры старинного стиля с ультрасовременными, чисто римскими архитектурно-строительными формами, она остается свидетельством утонченного вкуса Адриана, его постоянного стремления к греко-рим-

скому синтезу и одним из высших достижений римской архитектуры. Император, однако, пользовался Виллой мало и поселился здесь лишь в самом конце жизни.

ния, которую невозможно сократить, и к тому же она проходила под дождем. Я сам приблизил вплотную друг к другу все эти занятия, чтобы не оставлять времени для пустых разговоров и докучливой лести. Обратный путь верхом на коне был одной из последних этих поездок. Я вернулся на Виллу измученным, больным и таким продрогшим, каким человек бывает только тогда, когда кровь уже не так бодро бежит по жилам и не согревает тело. Целер и Хабрий бросились мне помогать, но заботливость может быть утомительной, даже когда она искренна. Уйдя к себе, я проглотил несколько ложек горячей каши, которую приготовил себе сам, отнюдь не из подозрительности, как можно было бы подумать, а потому, что тем самым я доставлял себе роскошь побыть в одиночестве. Я лег; казалось, сон был так же далек от меня, как здоровье, молодость и сила. Я уснул. Песочные часы показали, что я спал меньше часа. Краткий момент полного забытья становится в моем возрасте эквивалентом того сна, который длился когда-то добрую половину оборота ночных светил; мое время измеряется теперь гораздо меньшими единицами. Но этого часа оказалось достаточно, чтобы произошло довольно скромное и все же поразительное чудо:

тепло моей крови согрело мне руки; мое сердце и легкие опять принялись усердно работать; жизнь снова струилась во мне, как источник не очень обильный, однако надежный. За короткое время сон восстановил мои силы с той же беспристрастностью, с какою он мог и усугубить мое недомогание. Потому что великий восстановитель сил — божество, считающее необходимым, чтобы его благодеяния изливались на спящего вне всякой зависимости от того, кто этот спящий; так воде, наделенной целебными свойствами, безразлично, кто пьет из источника.

Но если мы так редко задумываемся над явлением, которое поглощает не менее трети всей нашей жизни, это объясняется тем, что оценить его благотворность можно, лишь обладая некоторой скромностью. Погрузившись в сон, Гай Калигула[19] и праведник Аристид становятся равными друг другу, а я слагаю с себя свои великие и суетные привилегии и уже не отличаю себя от черного пса, который спит на моем пороге. Что такое бессонница, как не маниакальное

[19] КОММЕНТАРИЙ: 19

Гай Калигула — римский император (37–41 гг.), известный своими террористическими эксцессами по отношению к Сенату. Аристид (540–467 гг. до н. э.) — афинский военный и политический деятель, прославившийся своей честностью и прямотой и заслуживший в народе прозвище «Справедливый».

упрямство, с каким наш разум фабрикует мысли, цепочки рассуждений, силлогизмы и дефиниции, и как не его нежелание отказаться от власти в пользу божественной глупости сомкнутых век или мудрого безумия сновидения? Человек, который не спит (у меня в последние месяцы было предостаточно возможностей проверить это на себе самом), более или менее осознанно не хочет доверяться потоку жизни. Брат Смерти… И Сократ заблуждается, его фраза — всего лишь риторическая фигура. Я начинаю понимать смерть; у нее другие секреты, еще более странные для нас, живущих. И все-таки тайны сна, тайны отсутствия и временного забвения, так запутанны и так глубоки, что мы ощущаем, как где-то сливаются струи светлой и темной воды. Мне всегда было неприятно смотреть, как спят люди, которых я любил; я знаю, они отдыхали от меня и они от меня ускользали. Человек обычно стыдится своего лица, когда оно измято сном. Сколько раз, встав пораньше, чтобы поработать или почитать, я приводил в порядок скомканные подушки, разбросанные одеяла — эти почти непристойные свидетельства наших встреч с небытием, приметы того, что каждую ночь нас уже нет…

Это письмо, к которому я приступил, чтобы

уведомить тебя о ходе моей болезни, понемногу превратилось в средство отдохновения для человека, которому уже не хватает сил непрерывно заниматься государственными делами, в доверенные письменам размышления больного, который как бы дает аудиенцию своим воспоминаниям. Теперь я пойду еще дальше: я хочу рассказать тебе мою жизнь. Да, конечно, в прошлом году я составил официальный отчет обо всех моих деяниях, и мой секретарь Флегонт заверил его своей подписью. Я старался как можно менее лгать в этом отчете. Но общественные интересы и требования приличия все же вынудили меня по-иному представить некоторые факты. Истина, которую я собираюсь поведать теперь, не содержит в себе ничего непристойного; она непристойна лишь постольку, поскольку людей коробит всякая высказанная вслух правда. Я не жду, что ты в свои семнадцать лет что-нибудь в ней поймешь. Однако я рассчитываю просветить тебя, а также вызвать у тебя возмущение. Наставники, которых я сам для тебя выбрал, дали тебе то суровое, строгое, может быть, даже чересчур келейное воспитание, которое, я надеюсь, в конечном счете обернется великим благом для тебя и для государства. Я предлагаю тебе в каче-

стве дополнения к моему официальному отчету рассказ, лишенный предвзятости и отвлеченного морализирования и основанный на личном опыте человека, каким являюсь я сам. Я не знаю, к каким выводам этот рассказ меня приведет. Я рассчитываю, что это исследование фактов поможет мне точнее определить самого себя, может быть, вынести себе приговор и, во всяком случае, прежде чем я умру, лучше себя понять.

Как и у всех людей, в моем распоряжении только три средства для оценки человеческого существования: изучение самого себя, самый трудный и самый опасный, но в то же время самый плодотворный из всех методов; наблюдение над людьми — а им чаще всего удается скрывать от нас свои тайны или заставить нас верить, что у них эти тайны есть; и, наконец, книги, с теми смещениями перспективы, которые непременно возникают между строк. Я прочитал почти все, что написали наши историки, наши поэты и даже наши баснописцы, хотя у последних репутация писателей фривольных, и книгам обязан я сведениями, быть может, более обширными, чем те, которые я извлек из достаточно разнообразных ситуаций своей собственной жизни. Написанное письмо научило меня слушать человеческий

голос, так же как великая неподвижность статуй — оценивать значение жестов. А жизнь, напротив, многое прояснила для меня в книгах.

Но эти писатели, даже самые искренние, лгут. Менее умелые из них, не находя слов и фраз, которыми было бы можно вьразить жизнь, создают лишь бледное и жалкое подобие жизни; такие, как Лукан[20], утяжеляют и усложняют жизнь, наделяя ее торжественностью, которой в ней нет; другие, напротив, подобно Петронию[21], облегчают ее, делают из нее что-то вроде пустого скачущего мяча, который легко бросать и ловить в лишенном тяжести мире. Поэты переносят нас в мир более обширный или прекрасный, более яркий или мягкий, чем наш, совершенно на наш не похожий и практически почти необитаемый. Философы, дабы изучить действительность в чистоте и первозданности, заставляют ее претерпевать почти те же превращения, какие огонь

---

[20] КОММЕНТАРИЙ: 20

Марк Анней Лукан (39–65 гг.) — римский поэт, наиболее известна его эпическая поэма «Фарсалия» — о гражданской войне в Риме между Помпеем и Юлием Цезарем в 50–48 гг. до н. э.

[21] КОММЕНТАРИЙ: 21

Гай Петроний Арбитр (?-65 гг. н. э.) — сенатор, консул и приближенный императора Нерона, прославившийся романом о похождениях группы мошенников, изображенных на фоне широкой картины морального разложения римского общества. Условное, но ныне повсеместно принятое его название — «Сатирикон».

или молот производят с твердыми телами; никакое существо, никакой факт не могут в этом пепле и в этих осколках сохраниться такими, какими мы их знаем. Историки, трактуя прошлое, предлагают нам его в виде систем слишком законченных, выстраивают цепочки причин и следствий, слишком точных или слишком понятных, чтобы они могли быть до конца истинными; они по своему усмотрению перекраивают этот покорный мертвый материал, и я твердо знаю, что даже от Плутарха всегда будет ускользать подлинный Александр. Сказочники, сочинители историй на милетский лад[22] лишь раскладывают на прилавке, как мясники, куски мяса, облепленные мухами. Мне очень трудно было бы жить в мире, лишенном книг, но реальной жизни в них нет, потому что она предстает в них не вся целиком.

Непосредственное наблюдение над людьми — метод еще менее совершенный, чаще всего ограничивающийся суждениями низкими или пошлыми, какими обычно питается людское недоброжелательство. Ранг, положение, зани-

[22] КОММЕНТАРИЙ: 22

Т. е. римские писатели, подражавшие Аристиду Милетскому (II в. до н. э.) — автору «Милетских рассказов» весьма нескромного содержания.

маемое в обществе, превратности судьбы — все это сокращает поле зрения наблюдателя человеческих нравов; у моего раба совершенно другие возможности для того, чтобы изучать меня, нежели те, какими располагаю я, чтобы изучать его; но они у него так же малы, как и мои. Старый Эвфорион вот уже двадцать лет подает мне склянку с маслом и губку для растирания, но мое знание о нем не выходит за пределы его службы, а его обо мне — за пределы моей ванной, и любая попытка узнать еще что-либо привела бы и императора, и раба лишь к нескромности. Почти все, что мы знаем о других, поступает к нам из вторых рук. Если человек исповедуется перед вами, он старается представить себя в положительном свете; его защитительная речь уже готова заранее. Если же мы наблюдаем его, он уже не один. Меня упрекали, что я люблю читать донесения римской стражи; я постоянно обнаруживаю в них поразительные вещи; люди открытые или внушающие подозрение, незнакомые или близкие — все они в равной мере удивляют меня, их безрассудства служат для меня оправданием моих безрассудств. Я не перестаю изумляться тому, как разительно отличается одетый человек от нагого. Но все эти с такой наивной обстоятельностью составленные

донесения, увеличивая груды моих досье, ни на йоту не облегчают мне вынесения окончательного приговора. Тот факт, что судья, на вид такой суровый и неподкупный, совершил преступление, отнюдь не помогает мне лучше его узнать. Отныне передо мной вместо одного факта — два: то впечатление, какое производит на меня судья, и совершенное им преступление.

Что касается наблюдения над самим собой, я заставляю себя это делать хотя бы для того, чтобы состоять в добрых отношениях с человеком, рядом с которым я вынужден жить до конца своих дней; но и столь близкое шестидесятилетнее знакомство таит в себе немало возможностей ошибиться. Когда я заглядываю в глубины своей души, мое знание о самом себе зыбко, неуловимо, расплывчато, скрытно и похоже на сообщничество. Если же я пытаюсь взглянуть на себя незаинтересованным взглядом, это знание оказывается столь же холодным, как теории чисел; мне приходится напрягать все силы ума, чтобы увидеть свою жизнь с наибольшего удаления, с наибольшей высоты, и тогда она предстает предо мной точно жизнь какого-то другого человека. Но оба эти способа познания трудны и требуют один погружения в себя, другой — выхода нару-

жу. Повинуясь инерции, я, как и все, стараюсь заменить их более привычными средствами — таким представлением о своей жизни, которое слегка подправлено оглядкой на образ, сложившийся обо мне у людей, заменить суждениями, изготовленными заранее, но изготовленными плохо, суждениями, подобными манекену, к которому неумелый портной усердно прилаживает предназначенную для нас ткань. Снаряжение несовершенное; инструменты тупые; но других у меня нет — и с их помощью я кое-как формирую идею своей человеческой судьбы.

Когда я рассматриваю свою жизнь, меня ужасает ее неопределенность. Жизнь героев, такая, как нам рассказывают о ней, всегда проста; она устремлена прямо к цели, точно стрела. Большинство людей тоже любит сводить свою жизнь к какой-нибудь формуле, иногда к похвальбе или жалобе, но почти всегда к обвинению и упреку; память услужливо подсовывает им образ существования, легко объяснимый и четкий. Контуры моей жизни менее отчетливы. Как это часто бывает, с большей точностью ее можно определить, если говорить о том, чем я не был: хороший солдат, но отнюдь не великий полководец; любитель искусства, но отнюдь не тот артист, каким,

умирая, мнил себя Нерон[23]; человек, способный на преступление, но отнюдь преступлениями не отягченный. Временами я думаю, что великие люди вернее всего характеризуются так: героизм, проявленный ими в чрезвычайной ситуации, остается в них на всю жизнь. Они — наша полная противоположность, наши антиподы. Я поочередно оказывался в различных чрезвычайных ситуациях, но не мог удержаться на их высоте; жизнь всегда сталкивала меня вниз. Однако и похвастаться тем, что, как добродетельный землепашец или носильщик, я всегда держался золотой середины, я тоже не могу.

Мне кажется, что ландшафт моих дней, подобно горному ландшафту, складывается из самых разных пород, в беспорядке нагроможденных одна на другую. Характер мой тоже представляется мне неоднородным: в нем перемешаны в равной мере инстинкт и культура. Там и сям на поверхность выходят гранитные глыбы неизбежного; куда ни кинь взгляд, везде обвалы случайного. Я снова и снова пытаюсь пройтись вдоль своей

[23] КОММЕНТАРИЙ: 23

Римский император Нерон (правил с 54 по 68 г.) много выступал на сцене как актер и певец. Свергнутый в июне 68 г., он был проклят Сенатом и принужден к самоубийству. Согласно преданию, перед смертью Нерон воскликнул: «Какой великий артист погибает!»

жизни, найти в ней какой-то план, проследить от самых истоков золотую или свинцовую жилу, обнаружить, где берет свое начало подземная река, но весь этот обманчивый план — просто иллюзия памяти. Время от времени в какой-нибудь встрече, или в предзнаменовании, или в четкой последовательности событий мне видится перст судьбы, но слишком много дорог никуда не ведет, слишком многое не поддается подсчетам. Во всем этом многообразии, во всей этой сумятице я ощущаю, конечно, присутствие какой-то личности, но облик ее почти всегда искажен давлением обстоятельств; ее черты всегда затуманены, как лицо, отраженное в воде. Я не из тех, кто говорит, что его поступки непохожи на него самого. Они непременно должны быть на меня похожи, потому что они — единственная мера, какой меня можно измерить, единственный способ, каким я могу запечатлеть себя в памяти людей и даже в своей собственной памяти, потому что невозможность и дальше выражать себя в поступках и через них изменяться самому — это, пожалуй, и есть то основное, чем смерть отличается от жизни. Но между мной и моими поступками, которые создали меня, существует необъяснимый разрыв. О нем свидетельствует тот факт, что я ис-

пытываю постоянную потребность взвесить их, объяснить, отчитаться в них перед самим собой. Теми из моих трудов, которые длились недолго, можно, разумеется, пренебречь, но ведь и дела, занимавшие меня на протяжении всей жизни, тоже немногого стоят. Вот и сейчас, например, когда я пишу эти строки, мне вовсе не кажется таким уж важным то, что я был императором.

Впрочем, три четверти моей жизни не поддаются проверке делами, множество моих намерений, желаний, даже проектов расплывчаты и туманны, как призраки. Но и все остальное, даже более осязаемая часть жизни, в той или иной мере подтвержденная фактами, вряд ли выглядит намного отчетливей, и последовательность событий здесь так же неопределенна, как в снах. У меня есть своя личная, собственная хронология, и она совершенно не согласуется с той, где отсчет времени ведется от основания Рима или по Олимпиадам. Пятнадцать лет, проведенных мной в армии, промелькнули быстрее, чем одно утро в Афинах; есть люди, с которыми я встречался всю жизнь и которых я не узнаю в Аду. Пространственные измерения тоже смещаются: Египет

соседствует с Темпейской долиной[24], я не всегда пребываю в Тибуре, когда я в нем нахожусь. То вдруг жизнь моя представляется мне такой банальной, что она выглядит недостойной не только описания, но даже просто внимательного рассмотрения, и для меня она тогда не более интересна, чем жизнь первого встречного. А то она кажется мне единственной в своем роде и в силу этого обесцененной и бесполезной, потому что ее невозможно свести к опыту большинства людей. Ничто не может объяснить моей сути: моих пороков и добродетелей для этого явно недостаточно; мое счастье пригодно здесь несколько больше, но счастье выпадало мне в жизни нечасто, с большими перерывами, и не всегда для этого были достойные поводы. Однако человеческому уму претит быть игрушкой случая, мимолетным плодом стечения обстоятельств, неподвластных не только ни одному божеству, но и самому человеку. Определенная часть каждой, даже не стоящей внимания жизни проходит в поисках смысла существования, отправных точек, корней. И мое бессилие их обнаружить склоняет меня к магическим объяснениям, к попыткам отыскать

[24] КОММЕНТАРИЙ: 24

Узкая живописная долина между горами Олимп и Осса в Фессалии — в Северной Греции.

в божественных откровениях то, что не в силах мне дать здравый смысл. Когда все сложнейшие вычисления и выкладки оказываются обманчивыми, когда даже философы больше не могут нам ничего предложить, тогда позволительно обратиться к толкованию щебета птиц или далекого хода светил.

VARIUS MULTIPLEX MULTIFORMIS ПЕСТРЫЙ, ПЕРЕМЕНЧИВЫЙ, СЛОЖНЫЙ

Мой дед Маруллин верил в светила. Этот глубокий старик, пожелтевший и высохший от прожитых лет, питал ко мне такую же привязанность без ласки, без всяких внешних проявлений, даже почти без слов, с какой он относился к животным на своей ферме, к своей земле, к своей коллекции упавших с неба камней. Он происходил от длинной вереницы предков обосновавшихся в Испании со времен Сципионов[25]. Принадлежал он к сенаторскому сословию и был третьим, имевшим это звание; до этого наша семья числилась по сословию всадников. Он принимал участие, впрочем довольно скромное, в государственных делах при Тите. Этот провинциал не знал греческого языка и говорил на латыни с гортанным

[25] КОММЕНТАРИЙ: 25

Т. е. с конца III в. до н. э. (см. прим. 6.)

6 КОММЕНТАРИЙ: 6

Род Элиев, из которого вышел Адриан, как и род Ульпиев, к которому принадлежал Траян, происходил из Испании (город Италика в провинции Бетика).

испанским выговором, который он передал и мне и из-за которого надо мной потом нередко смеялись. Однако ум его не был совершенно неразвит; после смерти у него нашли сундук, полный математических инструментов и книг, к которым он последние двадцать лет не притрагивался. Он обладал познаниями полунаучными, полукрестьянскими, той смесью древней мудрости и порожденных невежеством предрассудков, которая была присуща старшему Катону[26]. Но Катон всю свою жизнь был человеком римского Сената и Карфагенской войны, типичным представителем сурового республиканского Рима. Невероятная суровость Маруллина восходила к временам более давним. Это был человек родового уклада, живое воплощение того священного и страшноватого мира, отголоски которого я впоследствии встречал у наших этрусских

[26] КОММЕНТАРИЙ: 26

Марк Порций Катон Старший (234–149 гг. до н. э.) — римский сенатор, полководец, консул (195 г.), цензор (184 г.); приведенная здесь характеристика его мировоззрения основана главным образом на его сочинении «О сельском хозяйстве».

некромантов[27]. Он ходил всегда с непокрытой головой, за каковую привычку потом осуждали и меня; его заскорузлые ступни обычно обходились без сандалий. Его повседневная одежда мало чем отличалась от одеяния старых нищих или неповоротливых крестьян-испольщиков, сидящих на корточках под жарким солнцем. Его считали колдуном, и деревенские жители, опасаясь его дурного глаза, обходили старика стороной. Он обладал необычайной властью над животными. Я видел, как его старческая голова осторожно и дружелюбно клонилась к гнезду гадюки, как его узловатые пальцы исполняли перед застывшей ящерицей подобие некоего танца. В летние ночи он брал меня с собой на вершину выжженного холма наблюдать звезды. Я засыпал прямо на земле, устав считать метеоры. Он же продолжал сидеть, подняв к небу голову и еле заметно поворачивая ее вслед за светилами. Должно быть, он знал системы Филолая и Гиппарха, а также систему Аристарха Самосского, которую

[27] КОММЕНТАРИЙ: 27

Цивилизация Этрурии, области, расположенной к северу от Рима между реками Тибром и Арно, морем и Апеннинами, оказала мощное воздействие на материальную и духовную культуру римлян. От этрусков римляне заимствовали, в частности, искусство прорицания (которое здесь и обозначено словом «некромантия»), многие жреческие обряды, отличавшиеся странностью, загадочностью и подчас зловещей жестокостью.

я позже предпочитал всем остальным, но эти умозрительные построения уже не интересовали его. Звезды были для него пылающими точками, объектами того же порядка, что и камни или медлительные насекомые, из которых он также извлекал предзнаменования; они были частью волшебной вселенной, в которой была заключена воля богов, влияние демонов и судьба, уготованная людям. Он составил мой гороскоп. Однажды ночью он пришел ко мне, разбудил и возвестил мне владычество над миром — с тем же ворчливым немногословием, с каким он предсказал бы крестьянам хороший урожай. Потом, охваченный сомнениями, направился к очагу, где в холодные часы тлел хворост, поднес к моей руке головешку и прочитал на пухлой ладони одиннадцатилетнего ребенка подтверждение линий, начертанных в небесах. Мир представал перед ним как единое целое; рука подтверждала решение светил. Эта весть потрясла меня меньше, чем можно было предположить: ребенок обычно готов ко всему. Но думаю, что безразличие к настоящему и будущему, свойственное преклонному возрасту, заставило его вскоре забыть о своем пророчестве. Однажды утром его нашли, уже холодного, в каштановой роще на

краю поместья; тело было исклевано хищными птицами. Незадолго до смерти он пытался обучить меня своему искусству, но безуспешно: мое природное любопытство сразу устремлялось к выводам, не вдаваясь в хитроумные, порою неаппетитные детали его метода. Но вкус к опасным экспериментам сохранился у меня навсегда.

Мой отец, Элий Афер Адриан, был человеком, которого погубили собственные добродетели. Его жизнь прошла в исполнении административных обязанностей, не принесших ему славы; в Сенате с его голосом никто не считался. В нарушение обычного порядка вещей, должность наместника в Африке не обогатила его. Дома, в испанской муниципии[28] Италике, он отдавал все свои силы улаживанию местных конфликтов. Он был человеком унылым, лишенным честолюбия, и, как это часто бывает с людьми, которые с каждым годом все больше сникают, он стал с маниакальной скрупулезностью относиться к тем ничтожным делам, к которым в конце концов свелось его существование. Я тоже испытал на себе эти достойные всяческих похвал соблазны педантизма

[28] КОММЕНТАРИЙ: 28

Муниципиями назывались города Римской империи, жители которых имели свое самоуправление и пользовались правами римских граждан.

и аккуратности. Опыт общения с людьми развил у моего отца крайнюю недоверчивость к ним; он не делал исключения даже для меня, совсем еще ребенка. Мои успехи, когда он оказывался их свидетелем, не производили на него ни малейшего впечатления; его фамильная гордость была так велика, что ему казалось невероятным допустить, будто я могу к ней что-то прибавить. Мне было двенадцать лет, когда этот измученный жизнью человек нас покинул. Моя мать замкнулась в суровом вдовстве, и с того дня, как я, вызванный своим опекуном, уехал в Рим, я больше ни разу ее не видел. До сих пор помню ее удлиненное, испанского типа лицо, отмеченное какой-то печальной мягкостью; этот образ подтверждается ее восковой маской у стены предков[29]. У нее были маленькие ступни в узких сандалиях, как и у всех дочерей Кадикса[30], и при ходьбе эта безупречная молодая матрона слегка покачивала бедрами, как танцовщицы ее страны.

---

[29] КОММЕНТАРИЙ: 29

Старинные римские роды обладали особым «правом изображений», разрешавшим им выставлять в своем доме (обычно на одной из стен парадного зала — атрия) маски предков.

[30] КОММЕНТАРИЙ: 30

Современное название древнего Гадеса — города в южной Испании, на острове Эритея (ныне Леон). На протяжении всего романа М. Юрсенар, как отмечено выше, сознательно перемешивает древние и современные географические названия.

Я часто размышлял об ошибке, которую мы совершаем, считая, что человек, семья непременно разделяют идеи или участвуют в событиях того века, в котором они живут. Отголоски римских интриг почти не доходили до моих родителей в этом глухом уголке Испании, хотя во время мятежа против Нерона мой дед оказал на одну ночь гостеприимство Гальбе[31]. В семье хранили воспоминание о некоем Фабии Адриане, который был заживо сожжен карфагенянами при осаде Утики[32], и еще об одном Фабии, незадачливом солдате, гнавшемся за Митридатом по дорогам Малой Азии[33], — о безвестных героях жалких домашних архивов. Из писателей той поры мой отец почти никого не знал, Лукан и Сенека были ему неизвестны[34], хотя они были, как и мы,

---

[31] КОММЕНТАРИЙ: 31

Сервий Гальба, наместник провинции Тарраконская Испания, весной 68 г. поднял восстание против Нерона и двинулся на Рим через юго-восточную Испанию (где находилась Италика) и Галлию. Правил в Риме до 15 января 69 г.

[32] КОММЕНТАРИЙ: 32

Скорее всего, в 203 г. до н. э., когда римляне, осаждавшие в Африке союзный Карфагену прибрежный город Утику, потерпели поражение от карфагенского флота.

[33] КОММЕНТАРИЙ: 33

Во время войны, которую вели против Митридата VI, царя Понта, в 73–65 гг. до н. э. римские полководцы Лициний Лукулл и Помпеи Великий. Несмотря на пренебрежительный тон Адриана, рассказ его призван доказать, что предки его воевали в войсках самых прославленных

полководцев Рима — Сципиона, Лукулла, Помпея.

[34] КОММЕНТАРИЙ: 34

О Лукане — см. прим. [20]. Сенека (?-65 гг. н. э.) — знаменитый философ-стоик и автор трагедий. Оба происходили из испанского города Кордубы (ныне Кордова) из семьи Аннеев (Лукан был племянником Сенеки).

20 КОММЕНТАРИЙ: 20

Марк Анней Лукан (39–65 гг.) — римский поэт, наиболее известна его эпическая поэма «Фарсалия» — о гражданской войне в Риме между Помпеем и Юлием Цезарем в 50–48 гг. до н. э.

родом из Испании. Мой двоюродный дед Элий, человек просвещенный, ограничивался в своем чтении авторами, наиболее известными в век Августа. Это презрение к современной моде оберегало моих родственников от дурного вкуса; всякая напыщенность была им чужда. Эллинизма и Востока они не знали либо относились к ним свысока, сурово нахмурившись; я думаю, на всем полуострове не было ни одной приличной греческой статуи. Экономия шла об руку с богатством; сельская неотесанность — с высокомерием, почти торжественным. Моя сестра Паулина была степенной, молчаливой и хмурой; в молодости она вышла замуж за старика. Честность в семье была безупречной, но с рабами обходились круто. Ничто не вызывало ни в ком любопытства; все мысли и суждения были такими, какие надлежало иметь гражданам Рима. И расточителем таких добродетелей, если это и в самом деле добродетели, предстояло мне стать.

Официальная версия требует, чтобы римские императоры рождались в Риме, но я родился в Италике; к этому засушливому, но плодородному краю я потом присоединил немало стран мира. Официальная версия права: она свидетельствует о том, что решения разума и воли выше обсто-

ятельств. Подлинное место рождения человека там, где он впервые посмотрел на себя разумным взглядом, — моей первой родиной были книги. И в минимальной степени — школы. Школы в Испании носили на себе печать непринужденных провинциальных досугов. Школа Теренция Скавра в Риме давала весьма посредственные знания в области философии и поэзии, но неплохо готовила учеников к превратностям человеческого существования: учителя их тиранили с такой свирепостью, с какой я никогда бы не рискнул обращаться с людьми; каждый учитель, замкнувшись в узком мирке собственных познаний, презирал своих коллег, которые тоже знали только свою дисциплину. Эти педанты до хрипоты препирались друг с другом по совершеннейшим пустякам. Соперничество за первое место, интриги, клеветавсе это очень рано приобщило меня к нравам, с которыми я впоследствии сталкивался в каждом людском обществе, где мне приходилось жить; к этому надо еще прибавить жестокость детского коллектива. И все-таки я любил некоторых своих учителей, любил те странные отношения, близкие и уклончивые одновременно, которые складываются между преподавателем и учеником, и звучащий,

как песня Сирен, слабый надтреснутый голос, который впервые раскрывает перед тобой красоту шедевра или глубину новой идеи. Самый великий обольститель в конечном счете не Алкивиад[35], а Сократ.

Методы грамматистов и риториков[36], быть может, вовсе не так абсурдны, как они представлялись мне в ту пору, когда я был у них в кабале. Грамматика, с ее смесью логических правил и произвольных установлений, позволяет молодому уму довольно рано ощутить то, что позже откроют ему науки о человеческом поведении — и право, и мораль, и все философские системы, в которых человек кодифицировал свой инстинктивный опыт. Что касается упражнений в риторике, когда мы поочередно были Ксерксом

---

[35] КОММЕНТАРИЙ: 35

Алкивиад (452–444 гг. до н. э.) — афинский полководец и политический деятель, племянник Перикла, ученик Сократа, известный своей дерзостью и легкомыслием.

[36] КОММЕНТАРИЙ: 36

Школы грамматиков в Римской империи примерно соответствовали нашим средним школам. В них обучались подростки 11–15 лет, основу обучения составляло комментированное чтение классических авторов — латинских и греческих. Риторские школы, предшественники позднейших университетов, предназначались для юношей 16–19 лет, здесь обучали красноречию и философии. Один из основных видов упражнения состоял в том, что ученик выступал то в роли обвинителя, то в роли защитника в вымышленных процессах, где «судили» исторических персонажей и разбирали спорные случаи в их деятельности.

и Фемистоклом, Октавианом или Марком Антонием, — они опьяняли меня[37]; я чувствовал себя Протеем[38]. Они научили меня проникать в мысли каждого человека, понимать, что каждый выбирает свой путь, живет и умирает по своим собственным законам. Чтение поэтов произвело на меня еще более сильное впечатление; я не уверен, что открытие любви таит в себе больше очарования, чем открытие поэзии. Меня оно преобразило: приобщение к таинству смерти не погрузит меня в мир иной глубже, чем закат у Вергилия. Позже я предпочитал тяжелую суровость Энния[39], столь близкую священным истокам римского племени мудрую горечь Лукреция, предпочитал щедрой непринужденности Гомера смиренную скупость Гесиода. Больше все-

---

[37] КОММЕНТАРИЙ: 37

См. предыдущее примечание. Ксеркс — персидский царь, правивший с 485 по 465 г. до н. э. и воевавший против греков. Фемистокл (525(?)-461 гг. до н. э.) — военный и политический деятель Афинского государства в Греции. Октавиан — родовое имя римского императора Августа (63 г. до н. э. — 14 г. н. э.). Марк Антоний (82(?)-30 гг. до н. э.) — римский консул и полководец, ближайший сотрудник Юлия Цезаря, после его гибели — союзник, а затем противник Октавиана Августа, одна из главных фигур в гражданских войнах 40-30-х годов в Риме.

[38] КОММЕНТАРИЙ: 38

В греческой мифологии старец-прорицатель и спутник бога моря Посейдона, обладавший способностью менять свою внешность и превращаться в различные существа. Имя его стало нарицательным для обозначения непостоянного, вечно меняющегося человека.

[39] КОММЕНТАРИЙ: 39

Римский поэт греческого происхождения (239–169 гг. до н. э.), известный главным образом своей стихотворной «Летописью», где рассказывалась вся история Рима и воспевались подвиги его героев.

го ценил я поэтов наиболее сложных и наиболее темных, заставляющих мою мысль заниматься наитруднейшей гимнастикой, ценил поэтов самых недавних или самых древних, тех, что прокладывают для меня совершенно новые пути или помогают вновь обрести затерявшиеся в чаще тропинки. Но в эту пору я особенно любил в стихотворном искусстве все то, что непосредственно воздействует на наши чувства, любил сверкающий металл Горация, любил Овидия с его плотской изнеженностью. Скавр приводил меня в отчаяние, утверждая, что я всегда буду лишь самым посредственным из поэтов, ибо мне не хватает таланта и прилежания. Я долго считал, что он ошибался: у меня до сих пор лежат под замком два-три томика моих любовных стихов — главным образом подражания Катуллу[40]. Но теперь мне почти безразлично, плохи или хороши мои собственные творения.

До конца моих дней я буду признателен Скавру за то, что он засадил меня смолоду за изучение греческого языка. Я был еще ребенком, когда

---

[40] КОММЕНТАРИЙ: 40

Адриан действительно был автором большого числа любовных стихотворений. См. о них в жизнеописании этого императора, составленном Элием Спартианом («Писатели истории императорской». «Адриан», гл. 13).

в первый раз попробовал начертать буквы незнакомого алфавита; это было началом моего великого переселения на чужбину, и всех моих дальних странствий, и ощущения выбора — выбора такого же смелого и непроизвольного, как и любовь. Я полюбил этот язык за гибкость его крепкого тела, за его лексическое богатство, где каждое слово непосредственно и многообразно соприкасается с предметами реального мира, а также и потому, что почти все лучшее, сказанное людьми, было сказано по-гречески. Есть, я знаю, и другие языки; одни уже окаменели, другим еще предстоит родиться. Египетские жрецы показывали мне свои старинные символы; это были скорее знаки, нежели слова, древнейшая попытка классификации мира и вещей, посмертная речь исчезнувшего народа. Во время Иудейской войны раввин Иешуа сделал для меня буквальный перевод нескольких текстов с языка своих соплеменников, сектантов, одержимых идеей бога и не удостаивающих вниманием человека. В армии я познакомился с наречием кельтских солдат; особенно запомнились мне их песни… Но варварские языки могут служить лишь резервом человеческой речи, подготовительным материалом для всех тех понятий, которые ей в будущем

предстоит освоить. У греческого языка все сокровища опыта, житейского и государственного, напротив, уже позади. Все, что каждый из нас пытается совершить во вред или на пользу своим ближним, было уже давно совершено кем-то из греков, от ионийских тиранов до демагогов Афин; все, все уже было — от суровой простоты какого-нибудь Агезиласа до непомерных излишеств Диониса или Деметрия, от предательства Демарата до преданности Филопомена[41]. То же можно сказать и о личном выборе поведения; от цинизма до идеализма, от скептицизма Пиррона до священных грез Пифагора — все наши возмущения устройством вселенной и все примирения с ним уже имели место в истории; все наши пороки и добродетели строятся по грече-

[41] КОММЕНТАРИЙ: 41

Ионийские тираны — правители греческих городов в западной части Малой Азии в VII–V вв. до н. э., представлявшие интересы широких слоев населения и проводившие политику террора против аристократии. Под «демагогами Афин» подразумеваются вожди афинского плебса в конце V–IV вв. до н. э., действовавшие подчас беспринципно и корыстно. Агесилай (442–358 гг. до н. э.) — спартанский царь, полководец и политик, прославившийся мудрым правлением и благодеяниями, оказанными жителям родного города. Дионис (точнее Дионисий) — имя двух сицилийских тиранов, отца и сына, — Д. Старшего (431–367 гг. до н. э.) и Д. Младшего (367–343 гг. до н. э.); слова о «непомерных излишествах» могут с полным основанием относиться как к одному, так и к другому. Деметрий (337–283 гг. до н. э.) — сын полководца Александра Македонского и один из его наследников (так называемых диадохов), всю жизнь воевавший против других диадохов и известный не только своим блестящим военным талантом, но также распут-

ством, вспыльчивостью и заносчивостью (его подробная биография входит в число «Сравнительных жизнеописаний» Плутарха). Демарат — сын спартанского царя Аристона, изгнанный из родного города, перешедший к персам и бывший советником Ксеркса в его войне против греков. Филопомен (правильнее — Филопоймен; 253–183 гг. до н. э.) — греческий полководец, бесконечно преданный идее греческого единства и многократно возглавлявший так называемый Ахейский союз (см. «Сравнительные жизнеописания» Плутарха).

скому образцу. Ничто не может сравниться своей красотой с латинской надписью, памятной или надгробной; эти несколько слов, высеченных на камне, с отрешенным величием сообщают миру все, что ему надлежит о нас знать. Посредством латыни управлял я империей, на латыни будет начертана эпитафия, что украсит стены моего мавзолея на берегу Тибра. Но я жил и мыслил по-гречески.

Мне было шестнадцать лет, я возвращался домой после службы в Седьмом легионе, стоявшем тогда в глубине Пиренеев, в глухой области Ближней Испании, которая так непохожа на южную часть полуострова, где прошло мое детство. Ацилий Аттиан[42], мой опекун, счел полезным уравновесить учением эти несколько месяцев суровой жизни и неистовых охотничьих вылазок. Он благоразумно внял совету Скавра отправить меня в Афины к софисту Исею[43], блестяще-

[42] КОММЕНТАРИЙ: 42

У римских юношей, оставшихся без родителей, часто бывало по два опекуна. В большинстве источников имя этого персонажа читается как Целий Аттиан или Татиан.

[43] КОММЕНТАРИЙ: 43

Профессиональный ритор, происходивший из Сирии и в 90-е годы I в. переоравшийся в Рим, где пользовался широкой популярностью как наставник в красноречии (см. посвященное ему письмо Плиния Младшего (II, 3), на котором основана характеристика этого персонажа у М. Юрсенар).

му человеку, наделенному редким талантом импровизатора. Афины сразу покорили меня; неуклюжий школьник, недоверчивый подросток впервые отведал этой живительной атмосферы, этих стремительных бесед, этих неспешных прогулок долгими розовыми вечерами, этой бесподобной непринужденности в споре и в неге. Математика и искусство увлекли меня в равной мере, я занимался ими поочередно; в Афинах мне представилась также возможность пройти курс медицины у Леотихида. Ремесло врача мне бы, наверно, понравилось; по своему характеру оно мало чем отличается от того, что потом меня привлекало в деятельности императора. Я живо заинтересовался этой наукой, слишком к нам близкой, чтобы быть точной, слишком склонной к заблуждениям и пристрастиям, но неизменно корректируемой благодаря постоянному контакту с природой в ее живой наготе. Леотихид был человеком решительных и конкретных действий; он разработал замечательную систему лечения переломов. Мы гуляли с ним вечерами по берегу моря: он интересовался строением раковин и составом морского ила. Заниматься экспериментами у него не хватало средств; он с сожалением вспоминал о лабораториях и

анатомических залах александрийского Музея, которые посещал в молодости, о борьбе мнений, об изощренном соперничестве коллег. Леотихид, с его сухим и четким умом, учил меня предпочитать реальные явления словам, относиться с недоверием к формулам, больше наблюдать, чем судить. Этот желчный грек научил меня методичности.

Вопреки легендам, которые меня окружают, я никогда не любил молодость, и меньше всего — свою собственную. Если взглянуть на нее непредвзято, эта хваленая молодость чаще всего представляется мне плохо обработанным участком человеческой жизни, периодом смутным и бесформенным, зыбким и хрупким. Разумеется, можно привести немало приятных исключений из этого правила, и ты, Марк, лучший тому пример. Что до меня, в двадцать лет я был почти таким же, как сейчас, но только слабее духом. Не то чтобы все было во мне плохим, но все могло таким стать: хорошее и лучшее в те годы еще помогали худшему. Не могу без стыда вспоминать о своем полном незнании мира, при том, что я был твердо уверен, будто прекрасно знаю его; не могу без стыда вспоминать о своей нетерпеливости, суетном честолюбии и грубой жадности.

Признаться тебе? Живя в Афинах яркой, насыщенной, интересной жизнью, в которой находилось также место и удовольствиям, я тосковал по Риму, и даже не столько по нему самому, сколько по его атмосфере, в которой непрерывно куются дела всего мира, тосковал по шуму колес и приводных ремней машины власти. Царствование Домициана подходило к концу; мой родич Траян, который покрыл себя славой на рейнских границах, становился популярным государственным деятелем; испанский клан укоренялся в Риме. По сравнению с этим миром решительных действий милая моему сердцу греческая провинция, казалось, дремала в пыли отживших идей; политическая пассивность эллинов представлялась мне малопочтенной формой протеста. Моя жажда власти, денег, в которых у нас зачастую выражается власть, и славы, если называть этим высоким именем наше неодолимое желание слышать, как о нас говорят, была неоспоримой реальностью. К ней примешивалось смутное ощущение, что Рим, во многих отношениях стоящий ниже Афин, берет реванш в другом, требуя от своих граждан, во всяком случае от тех из них, кто принадлежит к сословиям сенаторов или всадников, готовности к великим свершениям. Я дошел до того, что

какой-нибудь заурядный разговор на тему о ввозе египетского зерна казался мне более поучительным для уяснения сущности государственного устройства, чем «Государство» Платона. Уже несколькими годами раньше я, юный римлянин, вкусивший военной дисциплины, самонадеянно считал, что лучше, чем мои учителя, понимаю солдат Леонида и атлетов Пиндара. Я покидал залитые ласковым солнцем Афины ради города, где люди, с головой укутавшись в тяжелые тоги, борются с порывами февральского ветра, где роскошь и расточительство лишены своей прелести, но где даже самое ничтожное из принятых решений влияет на судьбы целой части света и где юный провинциал, алчный, но при этом не слишком тупой, поначалу считая, что он повинуется лишь своим примитивным честолюбивым устремлениям, мало-помалу, по мере того, как они претворяются в жизнь, начинает их утрачивать, приобретает умение мериться силами с обстоятельствами и людьми, командовать и, что в конечном счете, быть может, чуть-чуть менее зыбко, чем все остальное, приносить пользу.

Отнюдь не все было так уж прекрасно в этом приходе добродетельного среднего класса, который выдвигался на первый план в предвидении

грядущей перемены режима: политическая честность завоевывала позиции с помощью довольно сомнительных методов. Сенат, постепенно передавая все рычаги управления в руки своих ставленников, все больше сжимал Домициана в кольцо; новые люди, с которыми я был связан тесными семейными узами, быть может, немногим отличались от тех, кому они шли на смену; но они не были запачканы властью. Родня из провинции готова была занять любую, пусть самую низшую должность, но от нее требовали честной службы. Мне тоже досталось место: я был назначен судьей в трибунал по делам о наследствах. В этой скромной должности я и присутствовал при последних ударах смертельного поединка между Домицианом и Римом. Император утратил в Городе все позиции, он держался лишь с помощью казней, которые только ускоряли его конец; в армии, которая жаждала его смерти, готовился заговор. Я мало что понимал в этом поединке, более роковом, чем сражение гладиаторов; прилежный ученик философов, я испытывал к затравленному императору высокомерное презрение. Следуя благим советам Аттиана, я выполнял свои служебные обязанности, не слишком обременяя себя

мыслями о политике[44].

Этот год работы мало отличался от лет ученья; основ права я не знал; но мне выпала удача: моим коллегой по трибуналу оказался Нератий Приск, который согласился меня просвещать и который до последнего своего часа оставался моим советчиком и другом. Он принадлежал к тому редкому типу людей, которые, в совершенстве владея какой-то специальностью, зная ее, так сказать, изнутри (что остается недоступным для непосвященных), сохраняют при этом понимание ее относительной ценности на фоне всего остального и говорят о ней человеческими словами. Окунувшись, как никто из его современников, в законодательную рутину, он не колеблясь принимал каждое полезное новшество. Именно благодаря ему мне удалось впоследствии провести некоторые реформы. Должность требовала от меня и других забот. У меня сохранился провинциальный акцент, и моя первая речь в трибунале была встречена громким смехом. Я

[44] КОММЕНТАРИЙ: 44

Описанный здесь процесс насыщения римской администрации провинциалами означал оттеснение от власти римской олигархии и превращение Рима из города-государства в столицу мировой империи (ср. «Рим находится уже не в Риме»). Историческое значение правления Адриана состояло в первую очередь в том, что он довел этот процесс до конца.

решил использовать свои знакомства с актерами, что привело в негодование мою семью; уроки ораторского искусства были на протяжении долгих месяцев самыми трудными, но в то же время и самыми радостными из всех моих занятий, это была также и наиболее тщательно хранимая тайна моей жизни. Даже кутежи приобретали для меня в эти нелегкие годы характер уроков; я старался приспособиться к стилю римской золотой молодежи; однако в этом мне так и не удалось достаточно преуспеть. Из малодушия, свойственного этому возрасту, когда отвага растрачивается в других сферах, я и самому-то себе решался доверять лишь наполовину; в надежде походить на других я в чем-то притуплял, а в чем-то оттачивал свой характер.

Меня мало любили. Впрочем, любить меня было не за что. Некоторые мои черты — такие, например, как тяга к искусству, — которые могли пройти незамеченными у афинского школяра и которые впоследствии, когда я стал императором, были приняты всеми как должное, — смущали людей, когда проявлялись у командира или у судебного чиновника, стоящего на низшей ступени иерархической лестницы. Мое пристрастие к Греции вызывало улыбки, тем более что я то

щеголял им, то неуклюже пытался его скрыть. В Сенате меня прозвали греческим студентом. Вокруг меня начала создаваться легенда — зыбкое и странное отражение, сотканное наполовину из наших поступков, наполовину из того, что думает о них толпа. Наглые сутяги подсылали ко мне своих жен, прослышав о моей интрижке с супругой какого-нибудь сенатора, или своих сыновей, когда я безрассудно объявлял о своем восхищении искусством юного мима[45]. Я получал удовольствие, глядя, как смущает этих людей мое равнодушие. Еще более жалко выглядели те, кто, желая понравиться, заводили со мной беседы о литературе. Манера поведения, которая выработалась у меня за время службы на этих незначительных должностях, пригодилась мне потом для императорских аудиенций: на короткое время, пока длится аудиенция, целиком отдавать себя в распоряжение просителя, словно во всем мире никого больше не осталось, кроме этого банкира, этого ветерана, этой вдовы; выказывать каждому из этих лиц, хотя и при-

[45] КОММЕНТАРИЙ: 45

Мимы — импровизированные комические сцены, обычно завершавшие театральные представления. Актеры, также называвшиеся мимами, имитировали сцены из простонародной жизни и старались вызвать смех зрителей, пантомимически воспроизводя непристойные жесты.

надлежащих к вполне определенной породе, но достаточно разных, то вежливое внимание, с каким в лучшие мгновения жизни ты относишься к самому себе, и почти всегда убеждаться при этом, что люди раздуваются от твоей обходительности, как лягушка из басни; и, наконец, несколько минут посвятить тому, чтобы всерьез вникнуть в их просьбу и в их дело. Это было похоже на кабинет врача. Передо мной обнажалась застарелая лютая злоба, открывалась проказа обмана и лжи. Мужья против жен, отцы против детей, дальние родственники против всех остальных. Малая толика уважения, которое питал я к институту семьи, рушилась перед этой картиной.

Я не презираю людей. Если бы я их презирал, у меня не было бы ни права, ни желания пытаться ими управлять. Я знаю, что они суетны, невежественны, жадны, неспокойны, способны на все, чтобы добиться успеха, чтобы выставить себя в выгодном свете, даже в своих собственных глазах, или просто ради того, чтобы избежать страдания. Я все это знаю: и я такой же, во всяком случае временами, или мог бы быть таким, как они. Различия между мною и окружающими слишком малы, чтобы брать их в расчет при подведении итогов. Поэтому я стараюсь не допус-

кать в своем отношении к людям ни холодного превосходства философа, ни презрительного высокомерия Цезаря[46]. Даже в самых мрачных натурах можно обнаружить светлые проблески: этот убийца прилично играет на флейте; этот надсмотрщик, ударами бича полосующий спины рабов, может оказаться примернейшим сыном; этот жалкий недоумок разделит со мною последний кусок хлеба. И почти всегда каждого можно вполне сносно чему-нибудь научить. Наша большая ошибка состоит в том, что мы пытаемся непременно добиться от человека таких качеств, которых у него нет, и не развиваем в нем того, чем он обладает. К моему стремлению отыскивать достоинства в людях применимо все то, что я с такой страстью высказывал выше относительно поисков красоты. Мне в жизни встречались существа неизмеримо более благородные и более совершенные, чем я, такие, как твой отец Анто-

[46] КОММЕНТАРИЙ: 46

Семейное имя Гая Юлия Цезаря (101(?)-44 гг. до н. э.), фактического основателя Римской империи, стало нарицательным и вошло в титулатуру императоров, поэтому почти каждый верховный правитель империи был «цезарем». Здесь это слово употреблено именно в этом смысле.

нин[47]; я был знаком со многими героями и даже с несколькими мудрецами. Я мало видел постоянства в людях, когда они делали добро, но не с большим постоянством творили они зло; их недоверчивость, их в той или иной мере враждебное безразличие быстро, порой даже до неприличия быстро уступали место — и на столь же недолгий срок — благодарности и уважению; даже их эгоизм можно было направить на благие цели. Я всегда удивляюсь тому, как мало меня ненавидели; у меня было всего двое или трое заклятых врагов, и, как всегда, в этой вражде виноват был отчасти я сам. Несколько человек любили меня; они отдали мне гораздо больше, чем я был вправе требовать или ожидать от них, — свою смерть, а иные даже и жизнь. И божество, которое они

---

[47] КОММЕНТАРИЙ: 47

См. прим. [1].

1 КОММЕНТАРИЙ: 1

Имеется в виду Марк Аврелий Антонин, будущий император (161–180 гг.). 1 января 138 г. неожиданно умер Луций Цейоний Коммод (далее неоднократно упоминаемый в романе), которого Адриан предназначал своим преемником. Тогда он избрал своим наследником 50-летнего сенатора Тита Аврелия Антонина (император Антонин Пий, 138–161 гг.), обязав его усыновить двух юношей, Цейония Коммода (сына Л. Цейония) и 17-летнего Марка Аврелия, которые впоследствии действительно как соправители сменили Антонина Пия на посту императора. Обращение к Марку (Аврелию) и намеки в дальнейшем тексте на его правление позволяют установить время, к которому, по замыслу М. Юрсенар, относятся настоящие «воспоминания» — между 1 января и 10 июля 138 г. (день смерти Адриана).

в себе несут, зачастую обнаруживает себя, когда они умирают.

Лишь в одном-единственном отношении я ощущаю себя выше большинства людей: я более свободен и более закрепощен, чем могут себе позволить они. При этом почти все они понятия не имеют о подлинном уровне своей свободы и своей порабощенности. Они проклинают свои оковы, а порой словно бы и хвастаются ими. С другой стороны, они растрачивают свое время на пустые развлечения и не в состоянии сами создать для себя ярмо полегче. Я всегда искал скорее свободы, нежели власти, и власть привлекала меня только лишь потому, что она в какой-то мере способствует свободе. При этом меня больше всего интересовала не философия человеческой свободы (все, кто занимался ею, нагоняли на меня тоску), а способ ее достижения: я хотел найти механизм, с помощью которого наша воля воздействует на судьбу, с помощью которого дисциплина вместо того, чтобы мешать нашей природе, помогает ей. Пойми, я говорю сейчас не о суровой воле стоика, возможности которой ты преувеличиваешь, и не о выборе, не о каком-то абстрактном отказе от земных благ, который оскорбителен для самих основ нашего

мира, земного, цельного, состоящего из реальных предметов и тел. Я мечтал о некоем, более сокровенном приятии, о более гибкой и доброй воле. Жизнь была для меня конем, с чьими движениями ты сливаешься воедино, но лишь после того, как хорошенько его объездишь. Словом, собрав всю свою решимость, действуя медленно и незаметно и приучая собственное тело жить в согласии с духом, я заставлял себя ступень за ступенью продвигаться к этой вершине свободы — или подчинения — в их почти чистом виде. Гимнастика помогала мне в этом; диалектика тоже не вредила. Я поначалу искал простой свободы передышек, свободных мгновений. В каждой четко организованной жизни существуют такие мгновения, и тот, кто не умеет их создавать, тот не умеет жить. Я пошел еще дальше: я придумал для себя свободу одновременностей, когда два действия, два состояния становятся возможными в одно и то же время; например, я научился, подобно Цезарю[48], диктовать сразу несколько текстов, научился говорить, продолжая читать. Я нашел способ жизни, при котором самая тяжелая задача прекрасно решалась, хотя я не отдавался

[48] КОММЕНТАРИЙ: 48

Т. е. подобно Гаю Юлию Цезарю, основателю империи, отличавшемуся этой способностью.

ей целиком; я доходил до того, что временами даже подумывал, не отменить ли вообще самое понятие усталости. Иногда я упражнялся в другом виде свободы — в свободе чередования занятий: чувства, мысли, дела должны были быть готовы к тому, что их в любую минуту могут прервать, а потом вернуться к ним снова, и моя уверенность во власти над ними, в том, что я волен удалить их прочь или вновь призвать, как рабов, лишала их возможности меня тиранить, меня же избавляла от ощущения кабалы. Дальше больше: я выстраивал весь свой день вокруг какой-то одной полюбившейся мне идеи и уже никуда от нее не уходил; все, что могло меня от нее отвлечь, проекты и труды любого другого рода, и не имевшие значения разговоры, и бесчисленное множество будничных мелочей — все лепилось к ней, как лепятся виноградные ветви к колонне, служащей им опорой. В иные же дни я, напротив, до бесконечности все дробил: каждая мысль, каждый факт оказывались у меня расчлененными на бесчисленное множество мыслей и фактов более мелких, более удобных для того, чтобы их удержать. Решения, которые трудно было принять, представали передо мной целой россыпью крохотных решений; я занимался ими по одному,

каждое из них приводило меня к последующему, и все становилось легко разрешимым.

Но с наибольшим упорством стремился я достичь свободы добровольного приятия — самой трудной из всех свобод. Я с охотой принимал на себя ту роль, которая отводилась мне в обществе; в годы подчиненного положения моя зависимость переставала быть для меня горькой и ненавистной, если я рассматривал ее как полезную тренировку. Я сам выбирал то, чем обладал, но зато заставлял себя обладать этим полностью и получать максимум удовольствия. Самая нудная работа шла легко и споро, стоило мне внушить себе, что она мне приятна. Как только какая-то работа начинала меня раздражать, она становилась предметом моего изучения, и я делал все, чтобы занятие это было мне в радость. Сталкиваясь с непредвиденными, порой безнадежными обстоятельствами, попав, например, в засаду или застигнутый врасплох бурей в открытом море, я, приняв все меры для спасения других, старался встретить превратности судьбы весело и открыто, радуясь тому новому, что они мне несли, и тогда эти неприятные обстоятельства лег ко вписывались в мои планы, в мои мечты. Даже когда я терпел страшный крах, я умел уловить

мгновение, когда ярость враждебных сил уже выдыхалась, и катастрофа переставала казаться мне столь ужасной — я словно приручал ее, потому что соглашался ее принять. Если мне суждено когда-нибудь перенести пытку, а мой недуг, без сомнения, позаботится об этом, я не уверен, что мне надолго хватит невозмутимости какого-нибудь Тразеи[49], но я, во всяком случае, найду в себе силы не терзаться от собственных криков. Так, сочетая осторожность и дерзость, смирение и бунтарство, крайнюю требовательность и благоразумную уступчивость, я в конечном счете нашел путь примирения с самим собой.

Если бы эта жизнь в Риме продолжалась еще какое-то время, она наверняка озлобила бы и развратила меня или подорвала бы мое здоровье. Меня спасло возвращение в армию. Здесь тоже существуют свои соблазны, но они проще.

---

[49] КОММЕНТАРИЙ: 49

Тразея Пет — консул 56 г. н. э., стоик и моралист, неоднократно выражавший свое неодобрение по поводу распутного и нарушавшего все римские традиции поведения Нерона. Получив приказ императора покончить с собой, вскрыл себе вены, но продолжал беседовать с окружающими друзьями о философских вопросах вплоть до момента смерти. Смерть его долгое время еще вызывала в Риме удивленное восхищение, что нашло свое отражение, в частности, на последних страницах «Анналов» Тацита.

Отъезд в армию[50] означал дальнюю дорогу; я уезжал с восторгом. Меня назначили трибуном во Второй легион; я провел в верховьях Дуная несколько месяцев; стояла дождливая осень, и единственным моим товарищем был незадолго до того вышедший том Плутарха. В ноябре я был переведен в Пятый Македонский легион, расквартированный тогда (как, впрочем, и сейчас) в устье той же реки, у границ Нижней Мёзии. Снег, заваливший дороги, не позволил мне добираться по суше. Я сел на корабль в Пуле и едва успел побывать по дороге в Афинах, где мне предстояло впоследствии прожить долгое время. Известие об убийстве Домициана, дошедшее до нас через несколько дней после моего прибытия в лагерь, никого не удивило и даже обрадовало всех. Траян был вскоре усыновлен Нервой; ввиду преклонного возраста нового государя переход власти к его преемнику был вопросом каких-нибудь месяцев; политика завоеваний, к которой мой родственник, как всем было известно, поставил себе целью склонить Рим, начавшаяся перегруппировка войск, усиливавшееся ужесточение дисциплины — все это держало армию в состоянии напряжен-

[50] КОММЕНТАРИЙ: 50
96 г.

ного ожидания. Дунайские легионы действовали с точностью хорошо смазанного механизма; они совершенно не походили на те сонные гарнизоны, которые я видел в Испании; но, что самое важное, внимание армии, прикованное до этого к дворцовым распрям, сосредоточивалось теперь на внешних делах империи; наши войска уже не похожи были на банду ликторов, готовых сегодня провозгласить императором первого встречного, а завтра перерезать ему горло. Наиболее толковые командиры пытались уловить некий генеральный план в той реорганизации, в которой они принимали участие; их заботило общее развитие событий, а не только собственная судьба. Впрочем, этот первый этап перемен сопровождался множеством нелепых толков, и десятки стратегических планов, нереальных и смехотворных, испещряли по вечерам поверхность столов. Римский патриотизм, непоколебимая вера в благотворность нашей власти и в исконное предназначение Рима управлять всеми народами принимали у этих профессионалов войны самые грубые формы, которые были мне тогда еще внове. В пограничных районах, где требовалась ловкость для привлечения на нашу сторону вождей кочевых племен, центральной фигурой

был не государственный деятель, а солдат; бесчисленные трудовые повинности и реквизиции создавали почву для злоупотреблений, которые никого не удивляли. Из-за постоянных распрей, происходивших между варварами, положение на северо-востоке было для нас благоприятным, как никогда; я даже сомневаюсь, что последовавшие затем войны хоть сколько-нибудь его улучшили. Наши потери в пограничных инцидентах были невелики и тревожили нас лишь потому, что им не видно было конца; однако следует признать, что необходимость постоянно держаться настороже способствовала укреплению боевого духа. Во всяком случае, я был уверен, что самых минимальных затрат в сочетании с более умной политикой окажется достаточно, чтобы одних вождей подчинить, а других сделать нашими союзниками, и я счел нужным направить все свои силы на решение этой последней задачи, которой все почему-то пренебрегали.

Меня побуждала к этому и моя склонность к перемене мест: мне нравились земли варваров. Этот край, лежащий между устьями Дуная и Борисфена[51] огромным треугольником, две

[51] КОММЕНТАРИЙ: 51
Днепра.

стороны которого я объехал, — одна из самых поразительных областей мира, во всяком случае, для нас, рожденных на берегах Внутреннего Моря и привыкших к сухим и ясным пейзажам юга, к холмам и полуостровам. Мне довелось поклоняться богине земли, как мы поклоняемся у себя богине Рима; я говорю сейчас не столько о Церере, сколько о божестве более древнем, существовавшем еще до того, как люди научились выращивать хлеб. В нашей греческой или латинской земле, поддерживаемой костяком скал, есть четкое изящество мужского тела; скифская же земля своим несколько тяжеловатым изобилием напоминала тело лежащей женщины. Бескрайняя равнина сливалась с небом. Мое восхищение достигало предела, когда мне открывалось чудо тамошних рек: эта огромная пустынная земля была для них всего только скатом, всего только ложем. Наши реки коротки; тут никогда не чувствуешь себя далеко от истоков. А там громадный поток, завершавшийся широким лиманом, нес осадки и тину неведомого континента, льды далеких необитаемых просторов. Холода, сковавшие какое-нибудь испанское плоскогорье, никогда не уступают его вторжению чужих холодов; здесь же я впервые повстречался с настоящей

зимой, которая в нашу страну заглядывает лишь мимоходом и царит несколько месяцев, ты ощущаешь, что дальше, на севере, она незыблема и неподвижна и нет ей ни конца, ни начала. Вечером моего прибытия в лагерь Дунай казался огромной красной, а потом синей ледяной дорогой, которую скрытая подо льдом работа воды избороздила колеями глубокими, точно следы колесниц. От холода мы защищались мехами. Присутствие этого безликого, почти абстрактного врага производило удивительно бодрящее действие, давало ощущение прилива сил. Люди боролись за сохранение тепла — так же как в других случаях борешься за то, чтобы сохранить мужество. В иные дни снег сглаживал в степи все неровности, и без того почти неразличимые; мы скакали в мире чистого пространства и чистых атомов. Самым обычным, самым мягким предметам мороз придавал прозрачность и в то же время удивительную твердость. Каждая сломанная тростинка становилась хрустальной флейтой. Ассар, мой проводник-кавказец, колол в сумерках лед, чтобы напоить наших коней. Благодаря этим животным мы установили добрые отношения с варварами: во время торгов и бесконечных обсуждений завязывалась своеобразная дружба, и

смелость, проявленная наездниками, порождала взаимное уважение друг к другу. По вечерам свет лагерных костров озарял невероятные прыжки стройных танцоров и их удивительные золотые браслеты.

Весной, когда снега таяли и я отваживался заглянуть чуть подальше во внутренние области страны, мне не раз доводилось, повернувшись спиной к южному горизонту, замыкавшему знакомые моря и острова, и к горизонту западному, за которым садилось солнце над Римом, преодолевать в мечтах эти бескрайние степи, стремиться через отроги Кавказа на север или двигаться к самым дальним пределам Азии. Какие пейзажи, каких птиц и зверей, какие племена и народы открыл бы я там, какие увидел бы царства, никогда не слыхавшие о нас — так же как мы ничего не слыхали о них — или узнавшие о нас по случайным товарам, которые добирались до них долгим путем, переходя из рук в руки, от одного купца к другому, и эти товары были для них такой же диковиной, как для нас перец из Индии или кусок янтаря с балтийских берегов! В Одессосе[52] возвратившийся из долголетних

[52] КОММЕНТАРИЙ: 52

Портовый город на берегу Черного моря в римской провинции Нижняя Мёзия, на территории современной Болгарии.

странствий негоциант подарил мне полупрозрачный зеленый камень — вещество, как говорят, священное в некой огромной империи, ни богов, ни нравов которой этот человек, озабоченный одной только денежной выгодой, попросту не заметил. Эта странная гемма была для меня точно камень, упавший с небес, точно посланец из далеких миров. Мы еще плохо знаем истинную форму Земли, и мне непонятно, как можно с этим мириться. Я завидую тому, кому посчастливится совершить кругосветное путешествие в двести пятьдесят тысяч греческих стадиев, которое так хорошо рассчитал Эратосфен[53] и которое привело бы путешественника в ту же точку, откуда он начал свой путь. Мне представлялось, что я принимаю решение — идти все вперед и вперед по неизведанным тропам, где кончаются наши дороги. Я тешился этой идеей… Идти совсем одному, ничем не владея, ничего не имея — ни имущества, ни власти, ни каких бы то ни было благ цивилизации, — окунуться в гущу новых людей и неведомых обстоятельств… Само собой разумеется, это было только мечтой, самой мимолетной из всех, что посещали меня.

[53] КОММЕНТАРИЙ: 53

Крупнейший географ древней Греции (275–194 гг. до н. э.), занимавшийся также астрономией, математикой и философией.

Свобода, которую я измыслил, могла существовать для меня лишь на расстоянии; на самом же деле я незамедлительно создал бы снова все то, от чего так бездумно отказался. Более того, я всюду оставался бы римлянином на вакациях. Некое подобие пуповины привязывало меня к Городу. Быть может, в ту пору, когда я был трибуном, я чувствовал себя более тесно связанным с империей, нежели теперь, когда я стал императором, — по той же причине, по которой запястье обладает меньшей свободой, чем мозг. И, однако, я все же позволил себе эту чудовищную мечту, от которой содрогнулись бы наши кроткие предки, заточившие себя в родном Лациуме, и уже самый факт, что я хоть одно мгновенье лелеял эту мечту, делает меня навсегда непохожим на них.

Траян находился во главе войск в Нижней Германии; Дунайская армия послала меня туда с поздравлениями новому наследнику высшей власти. Я был в трех днях пути от Кёльна, посреди Галлии, когда на вечернем привале узнал о смерти Нервы. Мне захотелось опередить императорских гонцов и самому принести своему родичу весть о его вступлении в управление государством. Я пустил коней галопом и проделал весь путь, нигде не останавливаясь, пока не

достиг Трира, где мой зять Сервиан[54] был комендантом. Мы вместе поужинали. Слабую голову Сервиана вскружили честолюбивые мечты. Этот коварный человек, всячески старавшийся причинить мне вред или хотя бы помешать моему успеху, вздумал меня опередить и послать к Траяну собственного гонца. Два часа спустя на меня было совершено нападение, когда мы переходили вброд какую-то речку; нападавшие ранили моего помощника и убили наших лошадей. Однако нам удалось схватить одного из обидчиков, который оказался бывшим рабом моего зятя и во всем признался. Сервиану следовало бы понимать, что не так-то просто задержать человека, исполненного решимости продолжать путь, и что только смерть могла бы остановить меня,

[54] КОММЕНТАРИЙ: 54

Редкий у М. Юрсенар случай глубокого и очевидного расхождения с исторической истиной, что настоятельно требует разъяснений. На протяжении всего романа Луций Юлий Урс Сервиан (47-136 гг.) характеризуется, во-первых, как бездарный и злобный интриган, во-вторых, как коварный и непримиримый враг Адриана. Историческим основанием последнего является только описанный в данном месте эпизод, который действительно находит подтверждение в источниках (Плиний Младший. Панегирик Траяну, IX, 2–5; Аврелий Виктор. Эпитомы, 13,3; Евтропий, VIII, 2,1), но не дает никаких поводов для тех заключений, которые приписаны здесь Адриану. Как Адриан и Траян, Сервиан входил в группу сенаторов и придворных испанского происхождения, на которых опирались оба эти императора; вместе с Адрианом он фигурирует в завещании испанского магната Л. Дазумия; Адриан оказал ему величайшую честь, сделав его в третий раз консулом (в 134 г.), т. е. явно считал его приближенным и доверен-

ным лицом. Утверждение о его бездарности опровергает также его блестящая карьера полководца, который успешно выполнял самые ответственные поручения в весьма трудной обстановке провинции Паннония и Нижней Германии; он был во второй раз консулом (в 102 г.) вместе с Лицинием Сурой — фактическим соправителем Траяна. Отрицательная характеристика понадобилась М. Юрсенар для того, чтобы оправдать действия Адриана, который в 136 г. предал казни 90-летнего Сервиана по подозрению в заговоре с целью захвата верховной власти. Скорее же всего, то был один из приступов необузданной жестокости, в которых Адриан впоследствии раскаивался, но которые были свойственны ему всю жизнь и особенно в старости.

но пойти на убийство этот трус не рискнул. Мне пришлось прошагать с десяток миль пешком, пока я не встретил крестьянина, который продал мне свою лошадь. В тот же вечер я прибыл в Кёльн, опередив на два-три корпуса гонца моего зятя. История эта принесла мне популярность. Особенно хорошо приняла меня армия. Император оставил меня при себе в качестве трибуна Второго Верного легиона[55].

Он воспринял весть о своем императорстве с замечательной непринужденностью. Он давно этого ожидал, и его жизнь ни в малой степени не переменилась. Он остался тем, кем был всегда и кем ему суждено было оставаться до конца своих дней, то есть полководцем; но основная его заслуга была в том, что благодаря своему сугубо военному пониманию дисциплины он поставил во главу угла идею порядка в государстве. Вокруг этой идеи строилось все, по крайней мере вначале; ей были подчинены даже его военные замыслы и планы. Император-солдат, но отнюдь не солдат-император, он ничего не изменил в сво-

[55] КОММЕНТАРИЙ: 55

Легионы в римской армии императорской эпохи различались не только по номерам, но и по именам. Имена могли быть связаны с местом формирования легиона (III Галльский), с именем императора, его создавшего (VII Гальбанский), с легионной эмблемой (V Жаворонки) или с высокими качествами данного легиона (X Стремительный).

ем жизненном укладе; его скромной натуре были чужды притворство и спесь. Армия, ликовала, он же принял на себя новые обязанности как часть повседневной работы и в своем простодушии не скрывал от близких, как он этим доволен.

Мне он не очень доверял. Он приходился мне двоюродным братом, был на двадцать четыре года старше меня и после смерти моего отца стал моим соопекуном. Свои опекунские обязанности он выполнял с провинциальной серьезностью; он был готов совершить невозможное ради того, чтобы выдвинуть меня на высокую должность, если я окажусь этого достоин, но, прояви я малейшую нерадивость, он обошелся бы со мной гораздо суровее, чем с любым другим подчиненным. Мои юношеские выходки он воспринимал с негодованием, для которого я, конечно, давал достаточно поводов и которое допускали только наши родственные отношения; впрочем, мои долги бесили его больше, чем мое беспутство. По-настоящему его беспокоило во мне не это; человек малообразованный, он относился к философам и эрудитам с трогательным почтением, но одно дело издали восхищаться великими философами, а другое — иметь у себя под боком молодого помощника, чересчур увлекающегося литературой. Не зная

ни каковы мои нравственные устои, ни каковы в точности те запреты, которые я себе положил, он думал, что для меня не существует вообще никаких ограничений и я не в состоянии сам себя обуздать. Однако я никогда не пренебрегал своими служебными обязанностями. Моя репутация образцового командира несколько успокаивала Траяна, и все же я был для него лишь подающим надежды молодым трибуном, за которым нужен глаз да глаз.

Вскоре случай, произошедший в моей личной жизни, едва меня не погубил. Меня пленили черты прекрасного лица. Я страстно привязался к очаровательному существу, отмеченному и вниманием императора. Приключение было опасным, что мне и нравилось в нем больше всего. Некто по имени Галл, секретарь Траяна, который уже давно считал своей обязанностью подробнейшим образом докладывать патрону о моих долгах, донес на нас императору. Тот пришел в крайнее раздражение; я пережил тяжелые минуты. Друзья, в числе которых был и Ацилий Аттиан, сделали все, что было в их силах, дабы уговорить Траяна смирить свой гнев, который был просто смешон. В конце концов он уступил их настояниям, и наше примирение, поначалу не

очень искреннее с обеих сторон, было для меня еще унизительней, чем вспышки его ярости. Должен признаться, что я сохранил к этому Галлу ни с чем не сравнимую ненависть. Много лет спустя он был уличен в подделке государственных документов, и я с наслаждением почувствовал себя отомщенным.

Первый поход против даков начался в следующем году[56]. По характеру своему, а также из политических соображений я всегда был противником партии войны, но я бы не был мужчиной, если бы великие начинания Траяна меня не заворожили. Когда я смотрю теперь издали на эти годы, они представляются мне одними из самых счастливых в моей жизни. Их начало было тяжелым — или казалось мне тогда тяжелым. Я занимал сперва лишь второстепенные должности, благосклонность ко мне Траяна еще не проявлялась в полной мере. Но я знал страну, я понимал, что могу принести пользу. Зима следовала за зимой, лагерь за лагерем, сражение за сражением, и я все больше ощущал, как почти помимо моей воли во мне нарастают возражения против политики императора; в то время у меня

[56] КОММЕНТАРИЙ: 56
25 марта 101 г.

еще не было ни права, ни повода высказывать эти возражения вслух; впрочем, никто и не стал бы меня слушать. Отодвинутый в пятый, а то и в десятый ряд, я хорошо знал свои войска; я жил той же жизнью, что и мои солдаты. Я еще обладал тогда некоторой свободой действий, или, лучше сказать, некоторой возможностью оставаться в стороне от самого действия, что трудно себе позволить, когда ты пришел к власти и перешагнул за порог тридцатилетия. Были у меня и определенные преимущества: мне помогало мое пристрастие к этой суровой стране и любовь к добровольному и недолговременному аскетизму во всех его проявлениях. Я был, пожалуй, единственным из молодых командиров, кто не сожалел о Риме. Чем дальше простирались по грязи и снегу мои военные походы, тем отчетливее проявлялась присущая мне стойкость.

Я пережил тогда полосу необычайного душевного подъема, чем я отчасти обязан влиянию небольшой группы окружавших меня командиров, которые привезли с собой из далеких азиатских гарнизонов странных богов. Культ Митры, распространенный в то время еще не так широко, как теперь, после наших походов в Пар-

фянское царство[57], на какое-то время пленил меня своим ревностным аскетизмом, и всякий раз этот аскетизм — благодаря присущему ему культу смерти, железа и крови — вновь и вновь натягивал тугую тетиву моей воли, что возвышало каждодневные тяготы солдатского бытия до уровня постижения мира. Ничто не могло быть более противно взглядам на войну, которые мало-помалу уже начинали складываться у меня, но эти варварские обряды, на всю жизнь скреплявшие посвященных теснейшими узами, находили сочувственный отзвук в сокровенных мечтаниях молодого человека, нетерпеливо подгонявшего настоящее, не слишком уверенного в грядущем и именно поэтому открытого всем богам. Я принял посвящение в башне, сооруженной на берегу Дуная из дерева и тростника; поручителем был

[57] КОММЕНТАРИЙ: 57

Т. е. после описанного далее Парфянского похода Траяна 113–117 гг. Митра — один из верховных богов иранского пантеона, чей культ получил широкое распространение в Риме, в первую очередь в армии, в легионах. У иранцев функции Митры были весьма разнообразны (бог Солнца, бог — покровитель договоров и вообще правды, бог — устроитель космоса и общества и т. д.), но в Риме его культ основывался на ритуальном убийстве быка, кровь которого укрепляла здоровье, мощь и жизненную силу участников мистерии Митры, возрождала их к новой жизни. Поэтому обычное изображение Митры в античном искусстве — юноша, убивающий быка.

Марций Турбон[58], мой товарищ по оружию. Помню, как под тяжестью бившегося в агонии быка чуть не рухнул щелястый дощатый настил, под который меня поместили, чтобы окропить свежей кровью. Я немало размышлял потом об опасностях, которыми подобные тайные общества могут грозить государству, управляемому слабым монархом, и в конце концов сам стал жестоко преследовать их; но должен признать, что перед лицом врага они придают своим адептам едва ли не божественную силу. Каждый из нас верил, что он вырвался из узких рамок человеческого удела, ощущал себя одновременно самим собой и своим противником, видел себя приравненным к богу, о котором было уже трудно сказать, сам ли он умирает в зверином обличье или убивает в образе человека. Эти странные мечты, которые ныне ужасают меня, не так уж сильно отличались от теории Гераклита относи-

[58] КОММЕНТАРИЙ: 58

Римский всадник, со времен молодости Адриана входивший в число его ближайших друзей и советников.

тельно тождества стрелы и мишени[59]. В ту пору они помогали мне переносить тяготы жизни. Победа и поражение перемешивались и сливались друг с другом, как разные лучи одного и того же солнечного дня. И когда я копытами своего коня давил пеших воинов-даков, когда сшибался врукопашную с сарматскими всадниками и наши кони, встав на дыбы, кусали друг друга, я убивал с тем большей легкостью, что отождествлял себя с ними. Мое нагое тело, оставленное на поле боя, мало чем отличалось бы от их тел. Содрогание от последнего удара мечом было бы одинаковым для меня и для них. Я сейчас признаюсь тебе в мыслях необычных, самых сокровенных в моей жизни, признаюсь в странном опьянении, какого я ни разу больше не испытал.

Некоторые из моих отважных поступков, оставшиеся бы, возможно, незамеченными, если б их совершил простой солдат, снискали мне известность в Риме и своего рода славу в армии. Впрочем, все эти так называемые подвиги были

[59] КОММЕНТАРИЙ: 59

Основное сочинение древнегреческого философа Гераклита, «процветавшего» в Эфесе, в Малой Азии, около 500 г. до н. э. («Музы» или «О природе»), изначально было столь темным и дошло до нас в столь фрагментарном виде, что указать прямой источник приведенного афоризма вряд ли возможно. Скорее всего, имеются в виду фрагменты 132–133 по нумерации С. Муравьева (в кн.: Тит Лукреций Кар. О природе вещей. М.: Художественная литература, 1983, с. 262).

большею частью никому не нужным лихачеством; наряду со священным восторгом, о котором я тебе только что поведал, я не без стыда обнаруживаю в них сегодня низменное стремление любой ценой понравиться, привлечь внимание к своей персоне. Так, например, однажды осенним днем я верхом на коне, в тяжелом снаряжении батавского воина переплыл вздувшийся от дождей Дунай. Если это и был подвиг, то награды за него заслуживает скорее мой конь, чем я. Но эта пора героических безумств научила меня отличать один от другого разные виды смелости. Смелость, которою мне всегда хотелось обладать, была смелость холодная, невозмутимая, свободная от какого бы то ни было физического возбуждения, смелость бесстрастная, которая сродни безмятежному спокойствию богов. Не стану себе льстить — я ни разу ее не достиг. Подделка, к которой я впоследствии прибегал, была в дурные дни лишь циничной беспечностью по отношению к жизни, а в хорошие — всего только чувством долга, за которое я упорно цеплялся. Но если опасность не исчезала, цинизм и чувство долга очень скоро уступали место безоглядной отваге, странному экстазу слияния человека со своей судьбой. В тогдашнем моем возрасте это состояние хмельной

смелости длилось почти беспрерывно. Существо, опьяненное жизнью, не помышляет о смерти; смерти для него нет; каждое его движение отрицает ее. А если смерть и настигает его, то человек даже не успевает это осознать; смерть для него — только удар, только судорога. С горькой улыбкой я отмечаю, что сегодня каждая вторая моя мысль посвящена собственной кончине, как будто существует так уж много способов подтолкнуть мое износившееся тело к пропасти неизбежного. В ту пору все было наоборот, и молодой человек, который действительно многое потерял бы, не проживи он несколько лишних лет, с легким сердцем ежедневно рисковал своим будущим.

Все, о чем я рассказал тебе выше, было бы очень легко подать как историю чересчур начитанного солдата, который хотел бы, чтобы ему простили его упоение литературой. Но все упрощенные схемы ложны. Во мне поочередно поселялись самые разные персонажи, ни один не задерживался надолго, и свергнутый тиран вскоре опять возвращал себе власть. Так, во мне жил и неуклонно выполняющий свои обязанности воин, фанатичный поборник дисциплины, что не мешало ему весело разделять со своими товарищами тяготы войны; и задумчивый философ, размышляющий

о богах; и любовник, готовый отдать все на свете за единый миг наслаждения; и молодой высокомерный командир, который уединяется у себя в палатке и при свете лампы штудирует карту, не скрывая от друзей своего презрения к тому, как устроен этот мир; и будущий государственный деятель. Однако не следует забывать также и подлого угодника и льстеца, который, из опасения вызвать чье-либо неудовольствие, напивается за императорским столом; и жалкого молокососа, который с комической самоуверенностью решает сплеча все мировые проблемы; и пустого говоруна, ради красного словца предающего лучшего друга; и воина, с бесстрастностью машины выполняющего низкий труд гладиатора. Упомянем также еще один персонаж, не имеющий в этой истории ни места, ни имени, ни роли, но тоже являющийся частью меня, как и все прочие: этот персонаж — такая же пассивная игрушка обстоятельств, как и лежащее на походной койке тело, которое лениво прислушивается к доносящемуся откуда-то запаху, к чьему-то дыханию, к долетевшему словно из вечности жужжанию пчелы. Но вот появляется и входит в игру новое лицо, вот оно уже руководит труппой, вот оно уже ставит спектакли. Я знал всех своих актеров по именам,

я умело подготавливал их выходы на сцену и уходы с нее, я выбрасывал ненужные реплики и все решительнее избегал вульгарных эффектов. Я научился не злоупотреблять монологами. И все эти мои действия формировали меня.

Благодаря своим военным успехам я мог бы завоевать расположение не столь великого человека, каким был Траян. Но воинская отвага была тем единственным языком, который он понимал мгновенно и слова которого доходили до его сердца. В конце концов он стал видеть во мне помощника, почти сына, и ничто из того, что произошло позже, не смогло нас полностью разлучить. Что касается меня, то некоторые возражения, уже возникавшие у меня по поводу его политики, были мною на какое-то время отброшены; я о них забывал, видя, как он поистине гениально руководит войсками. Я всегда любил смотреть, как работают настоящие мастера. Император обладал твердой рукой и великолепной сноровкой в своем деле. Он поставил меня во главе легиона Минервы, самого доблестного из всех легионов, и доверил уничтожить последние

укрепления врага в районе Железных Ворот[60]. Цитадель Сармизегетуза была окружена, и я вслед за императором вошел в зал, расположенный в подземелье; приближенные царя Децебала здесь только что приняли яд на своем последнем пиру[61]; император поручил мне поджечь это фантастическое скопище мертвецов. В тот же вечер на валу, что возвышался над полем битвы, он надел мне на палец бриллиантовый перстень, перешедший к нему от Нервы; это был знак того, что я становлюсь преемником власти. В ту ночь я заснул счастливым сном.

Моя возраставшая популярность придала моему второму пребыванию в Риме нечто сходное с той эйфорией, которую я испытал потом — но уже с гораздо большей силой — в годы моего счастья. Траян дал мне два миллиона сестерциев для раздачи народу, сумма, разумеется, недостаточная, но к тому времени я уже сам распоряжался своим

---

[60] КОММЕНТАРИЙ: 60

Узкое труднопроходимое ущелье в Южных Карпатах там, где они ближе всего подходят к Дунаю; заставы, здесь расположенные, закрывали доступ к резиденции дакийских царей Сармизеге-тузе. Официальное название легиона, которым командовал Адриан, — Первый Минервин.

[61] КОММЕНТАРИЙ: 61

Сам Децебал бежал, в лесу потерял коня и, увидев настигавших его римских конников, покончил с собой (106 г.). Сцена эта изображена на одном из рельефов Колонны Траяна (№ 116).

состоянием, которое было весьма значительным, и денежные заботы больше не докучали мне. Я почти полностью избавился от своей подлой боязни прийтись кому-нибудь не по нраву. Шрам на подбородке стал предлогом обзавестись короткой бородкой на манер греческих философов. В одежде своей я теперь придерживался простоты, сделавшейся еще более заметной в годы, когда я стал императором: время браслетов и благовоний миновало. То, что эта простота еще была тогда показной, не имеет значения. Постепенно я начинал уже привыкать к непритязательности ради нее самой, к тому контрасту между коллекцией драгоценных камней и лишенными украшений руками коллекционера, который так нравился мне впоследствии. Поскольку речь зашла об одежде, вспоминается случай, который произошел со мной в год моего пребывания в должности народного трибуна[62] и был сочтен за предзнаменование. Однажды в ненастную погоду, когда мне предстояло выступить перед народом с речью, я потерял свой плащ плотной галльской шерсти, обычно защищавший меня от дождя. Вынужденный говорить свою речь в

[62] КОММЕНТАРИЙ: 62
105 г.

одной только тоге, в складках которой дождевая вода собиралась, словно в кровельном желобе, я без конца подносил руку ко лбу, не давая дождю заливать мне глаза. В Риме простуда — привилегия императоров, поскольку в любую погоду им запрещается что бы то ни было надевать поверх тоги; с того дня перекупщица из соседней лавки и торговец арбузами поверили в мою звезду.

Часто говорят о юношеских мечтах и забывают о расчетах и планах. А ведь это тоже мечты, и столь же безумные, как и все другие. Не один я предавался им в эту пору римских празднеств: вся армия бросилась в погоню за почестями. Я довольно непринужденно входил в роль честолюбца, которую мне никогда не удавалось играть долго и с достаточной убедительностью, не прибегая к помощи суфлера. Я согласился отправлять с безукоризненной четкостью скучнейшую должность куратора законодательных актов в Сенате; я любил выполнять любую полезную работу. Лаконичный стиль императора, замечательный в армии, не годился для Рима, жена Траяна, чьи литературные вкусы были сходны с моими, убедила его поручить мне составлять для него речи. Это была первая добрая услуга, оказанная мне Плотиной. Я тем более преуспел в этом деле, что

имел уже опыт в услугах подобного рода. В пору моих нелегких первых шагов я часто писал для сенаторов, не имевших собственных мыслей или не умевших строить грамотно фразы, длинные доклады, при том что они впоследствии благополучно брали на себя авторство. В этой работе для Траяна я находил удовольствие, точно такое, какое доставляли мне в отрочестве упражнения в риторике; оставшись один в своей комнате и отрабатывая перед зеркалом ораторские приемы, я ощущал себя императором. Я и в самом деле учился им быть; дерзновенные замыслы, на которые я считал себя неспособным, начинали казаться осуществимыми, когда за них отвечал кто-то другой. Простая, но невнятно выраженная и оттого неясная мысль императора делалась для меня привычной и близкой; мне было лестно, что я понимаю ее даже лучше, чем он сам. Я любил подражать его военному стилю, слушать, как он произносит в Сенате фразы, которые звучали по-императорски и которые принадлежали мне. Бывали дни, когда Траян оставался дома, поручая мне самому читать его речи, текста которых он даже не знал, и моя манера говорить, ставшая безупречной, делала честь урокам, которые давал мне трагический актер Олимп.

Эти обязанности, почти тайные, приблизили меня к императору, он стал испытывать ко мне даже доверие, хотя прежняя антипатия все же осталась. На короткое время она уступила место удовольствию, испытываемому одряхлевшим монархом[63], когда он видит, что молодой человек одной с ним крови начинает свой путь, который несколько наивно представляется старику продолжением его собственного пути. Но эта восторженность особенно явно выплеснулась на поле битвы у Сармизегетузы, быть может, именно потому, что она пробилась наружу сквозь плотные слои недоверия. Я думаю также, что здесь было еще что-то, кроме неистребимой враждебности, вызванной с великим трудом улаженными спорами, различием темпераментов или просто закостенелым образом мысли стареющего человека. Император питал инстинктивное отвращение к тем из своих подчиненных, без кого ему трудно было обходиться. Он легче примирился бы со мной, прояви я наряду с усердием хоть малейшее пренебрежение к службе; я казался ему подозрительным, потому что был безупречен. Это стало особенно очевидным, когда

[63] КОММЕНТАРИЙ: 63

Траян родился 18 сентября 52 г. Описываемые события происходят в конце первого десятилетия II в.

Плотина вознамерилась помочь моей карьере, устроив мой брак с внучатой племянницей Траяна. Он решительно воспротивился этому плану, ссылаясь на отсутствие у меня качеств доброго семьянина, на молодость девушки, припомнил даже давние истории с моими долгами. Его супруга стала упорствовать; сам я тоже включился в игру: Сабина тогда была не лишена обаяния. Этот брак, облегчавшийся почти беспрерывной разлукой, явился для меня в последующие годы постоянным источником раздражения и тоски; сейчас даже трудно поверить, что когда-то для двадцативосьмилетнего честолюбца он был триумфом.

Больше чем когда бы то ни было я ощущал свою принадлежность к императорской семье; я был вынужден в ней жить. Но все здесь было мне не по душе, кроме прекрасного лица Плотины. За императорским столом обычно собиралось великое множество бессловесных испанских статистов, бедных родственников из провинции — точно таких же, каких встречал я впоследствии на обедах у моей жены во время моих редких приездов в Рим, и я даже не сказал бы, что нашел этих людей постаревшими, ибо они всегда казались мне столетними старцами. От

них исходил затхлый дух благоразумия и осторожности. Почти вся жизнь императора прошла в армии; Рим он знал гораздо хуже, чем я. С превеликим усердием старался он окружить себя всем самым лучшим, что мог предложить ему Город или что ему выдавали за самое лучшее. Сенатское окружение императора состояло из людей замечательно благопристойных и почтенных, но их культура была несколько тяжеловата, а вялая их философия была неспособна проникать в глубинную суть вещей. Мне всегда была не по вкусу чопорная приветливость Плиния, а за величавой неповоротливостью Тацита мне виделся замшелый республиканец, чьи взгляды на мир закоснели со времени гибели Цезаря. Окружение же внесенатское было до омерзения тупым и грубым, что помогло мне избежать опасности войти в эту среду. Однако всем этим людям я выказывал отменную вежливость. С одними я был почтителен, с другими уступчив, в случае необходимости я мог позволить себе пошлость, изворотливость или недостаток изворотливости. Непостоянство было мне необходимо; я был многолик из расчета, переменчив ради забавы. Я ходил по канату. Тогда мне очень пришлись бы кстати не только уроки актерской игры, но и уроки акробатики.

В ту пору мне ставились в упрек мои адюльтеры с патрицианками. Две или три из этих столь сурово осуждавшихся связей длились вплоть до начала моего принципата. Рим обычно терпимо относится к распутству, но он всегда был суров в отношении интимной жизни царствующих особ. Марк Антоний или Тит[64] могли бы кое-что об этом рассказать. Мои похождения были скромнее, но, право же, я плохо себе представляю, как при наших нравах человек, у которого придворные дамы вызывали лишь отвращение и которому успел уже надоесть его брак, может какими-то иными способами сблизиться с многоликим племенем женщин. Мои враги во главе с мерзким Сервианом, моим зятем, который был старше меня на тридцать лет, что позволяло ему применять ко мне методы воспитателя и шпиона, утверждали, что честолюбие и любопытство занимали в моих любовных приключениях гораздо большее место, чем собственно любовь, что близкие отношения с женами помогали мне

[64] КОММЕНТАРИЙ: 64

Марк Антоний, триумвир, нанес себе непоправимый урон в глазах римского общества, вступив в связь с царицей Египта Клеопатрой. Император Тит (правил в 79–81 гг.), чтобы избежать того же, порвал свои отношения с вдовой иудейского царя Ирода Береникой. В обоих случаях «суровость Рима» была вызвана не самим фактом любовной связи, а тем, что римский полководец оказывался в зависимости (а в случае Антония и в подчинении) от чужеземной царицы.

неприметно проникать в политические тайны мужей и что признания любовниц были для меня чем-то вроде тех донесений тайных агентов, какими я тешил себя впоследствии. Действительно, всякая более или менее длительная связь почти неизбежно приводила меня к дружбе с супругом, тучным или тщедушным, чванливым или застенчивым, но при этом неизменно слепым; впрочем, такая дружба обычно доставляла мне мало удовольствия, а выгоды и того меньше. Должен даже признаться, что иные из нескромных историй, которые были поведаны мне в постели любовницами, в конечном счете пробуждали во мне симпатию к их мужьям, так жестоко осмеянным и так мало понятым. Эти связи, приятные, если женщина была искусной, всерьез волновали меня, если она была красивой. Я постигал прекрасное, я был в дружбе со статуями; я учился лучше понимать Венеру Книдскую или Леду, трепетавшую в объятиях лебедя[65]. Это был мир

[65] КОММЕНТАРИЙ: 65

Согласно мифологии, Зевс, верховное божество древнегреческого пантеона, имел бесчисленные любовные связи с земными женщинами. Одной из них была Леда, жена спартанского царя Тиндарея, с которой Зевс соединился, приняв облик лебедя.

Тибулла и Пропершая[66] — мир меланхолии и пылкости, немного наигранной, но дурманящей, как мелодия во фригийском духе, мир поцелуев на потайных лестницах, и едва прикрывающих груди шарфов, и расставаний на заре, и цветочных венков, оставленных на пороге.

Я почти ничего об этих женщинах не знал; то, что они сообщали мне о своей жизни, могло уместиться между двумя створками приоткрытых дверей; их любовь, о которой они без конца твердили, порою казалась мне столь же легкой, как гирлянда или модная брошка, как дорогое и хрупкое украшение; я даже подозревал, что они накладывают на свое лицо страсть, как румяна, надевают ее на себя, как ожерелья. Но и моя собственная жизнь была не менее таинственной для них; они не хотели почти ничего о ней знать, предпочитая представлять ее себе в превратном свете. В конце концов я понял, что правила игры требовали этой постоянной смены масок, этого бесконечного потока признаний и жалоб, этих то притворных, то тщательно скрываемых наслаждений, этих встреч, согласованных, как фигуры

---

[66] КОММЕНТАРИЙ: 66

Альбий Тибулл (60–19 гг. до н. э.) и Секст Проперций (50(?)-16(?) гг. до н. э.) — известные поэты эпохи Августа, принадлежащие к «золотому веку» римской литературы; авторы любовных элегий.

в танце. Даже во время ссор от меня ожидали заранее отрепетированных реплик, и безутешная красавица картинно заламывала руки, точно на сцене.

Я часто думал о том, что пылкие воздыхатели, влюбленные в женщин, привязываются к храму и к аксессуарам культа не менее страстно, чем к самой богине: они получают наслаждение от окрашенных хной пальцев, от втираемых в кожу благовоний, от тысячи ухищрений, которые оттеняют красоту, а иногда и целиком ее создают. Эти нежные идолы не имели ничего общего ни с грубоватыми бабами варваров, ни с нашими тяжелыми и степенными крестьянками; они рождались на свет из позолоченных раковин больших городов, из чанов красильщиков или из влажного пара купален, как Венера — из пены греческих волн. Их было трудно отделить от лихорадочной неги вечеров в Антиохии, от возбуждения, царящего по утрам в Риме, от блистательных имен, которые они носили, от окружавшей их роскоши, среди которой они могли позволить себе появляться нагими, но никогда — без украшений. Мне же мечталось о большем — о человеческом существе, сбросившем совсем иные покровы, остающемся с собою наедине, как

это иногда случается, когда мы больны, или когда у нас умирает первенец, или мы замечаем вдруг в зеркале у себя на лице морщину. Когда человек читает, или размышляет о чем-то, или производит какие-нибудь подсчеты, он принадлежит не к мужскому или женскому полу, а к человеческому роду в целом; в лучшие мгновения жизни он вырывается и за пределы рода. Любовницы же мои как будто даже кичились тем, что мыслят чисто по-женски; дух — или душа, — которого я искал, был всего лишь едва уловимым ароматом.

Тут было, пожалуй, еще и нечто другое: спрятавшись за занавесом, словно комедийный персонаж, ожидающий нужного момента, чтобы выйти на сцену, я с любопытством прислушивался к гулу неведомых мне глубин, к неповторимым интонациям женской болтовни, к приступам ярости или смеха, ко всем тем домашним звукам и голосам, которые сразу же умолкали, как только обнаруживалось, что я рядом. Дети, постоянные хлопоты об одежде, денежные заботы, должно быть, в мое отсутствие опять обретали всю ту важность, которую от меня скрывали; и даже супруг, недавно жестоко высмеянный, становился более значительным и иной раз даже любимым. Я сравнивал моих любовниц с хмурыми женщи-

нами моей семьи, скуповатыми и властными, вечно занятыми проверкой счетов и расходов и бдительно следящими за тем, чтобы маски предков содержались в безукоризненной чистоте; я спрашивал себя: не сжимают ли порой и эти холодные матроны в своих объятиях любовника в садовой беседке и не ждут ли с нетерпением мои доступные красотки, когда я уйду, чтобы поскорее вернуться к прерванному спору с экономкой. Я старался, как мог, соединить эти два облика женского мира.

В прошлом году, вскоре после заговора, который в конце концов оказался для Сервиана роковым[67], одна из моих прежних любовниц не поленилась посетить Виллу, чтобы донести на своего зятя. Я не стал давать ход ее обвинению,

---

[67] КОММЕНТАРИЙ: 67

См. прим. 54.

54 КОММЕНТАРИЙ: 54

Редкий у М. Юрсенар случай глубокого и очевидного расхождения с исторической истиной, что настоятельно требует разъяснений. На протяжении всего романа Луций Юлий Урс Сервиан (47-136 гг.) характеризуется, во-первых, как бездарный и злобный интриган, во-вторых, как коварный и непримиримый враг Адриана. Историческим основанием последнего является только описанный в данном месте эпизод, который действительно находит подтверждение в источниках (Плиний Младший. Панегирик Траяну, IX, 2–5; Аврелий Виктор. Эпитомы, 13,3; Евтропий, VIII, 2,1), но не дает никаких поводов для тех заключений, которые приписаны здесь Адриану. Как Адриан и Траян, Сервиан входил в группу сенаторов и придворных испанского происхождения, на которых опирались оба эти императора; вместе

с Адрианом он фигурирует в завещании испанского магната Л. Дазумия; Адриан оказал ему величайшую честь, сделав его в третий раз консулом (в 134 г.), т. е. явно считал его приближенным и доверенным лицом. Утверждение о его бездарности опровергает также его блестящая карьера полководца, который успешно выполнял самые ответственные поручения в весьма трудной обстановке провинции Паннония и Нижней Германии; он был во второй раз консулом (в 102 г.) вместе с Лицинием Сурой — фактическим соправителем Траяна. Отрицательная характеристика понадобилась М. Юрсенар для того, чтобы оправдать действия Адриана, который в 136 г. предал казни 90-летнего Сервиана по подозрению в заговоре с целью захвата верховной власти. Скорее же всего, то был один из приступов необузданной жестокости, в которых Адриан впоследствии раскаивался, но которые были свойственны ему всю жизнь и особенно в старости.

которое могло быть вызвано ненавистью тещи к зятю или просто желанием услужить мне. Но поговорить с ней было любопытно; как некогда в трибунале по наследственным делам, речь шла лишь о завещаниях, о мрачных кознях одних родственников против других, о неожиданных или неудачных браках. Я опять столкнулся с узким мирком женщин, с их жесткой практической хваткой, с их хмурым небом, если его не озаряет своими лучами любовь. Язвительность слов и своего рода злобная честность напомнили мне мою несносную Сабину. Черты лица моей гостьи казались нечеткими и стертыми, словно беспощадная рука времени несколько раз кряду прошлась по мягкой восковой маске; то, что я некогда принял за красоту, было всего лишь мимолетным цветением юности. Но привычка к кокетству осталась: это морщинистое лицо пыталось еще улыбаться. Сладострастные воспоминания, если они вообще у меня были, полностью улетучились; остался обмен любезными фразами с существом, отмеченным, как и я, печатью болезни и старости, да еще та чуть раздраженная готовность услужить, какую я мог бы проявить и к какой-нибудь престарелой испанской кузине или к дальней родственнице

из Нарбонны[68].

Я пытаюсь хотя бы на миг удержать колечки дыма, радужные мыльные пузыри, вроде тех, какими забавляются дети. Но все так легко забывается… Столько всяких событий прошло со времени этих мимолетных связей, что я наверняка уже не помню их вкуса; а главное, мне нравится теперь отрицать, что я из-за них когда-то страдал. Но ведь была же среди этих любовниц по меньшей мере одна, которую я нежно любил? Она была и утонченнее, и в то же время тверже, была и ласковей, и суровей всех остальных; при виде ее тонкого округлого стана передо мной возникал образ тростника. Я всегда восхищался красотою волос, этим шелковистым и струящимся потоком, но волосы большинства наших женщин убраны в прически наподобие башни или лабиринта, наподобие ладьи или клубка змей. Ее же волосы легко становились именно такими, какими я их больше всего любил: гроздью спелого винограда или птичьим крылом. Лежа на спине, упираясь

[68] КОММЕНТАРИЙ: 68

Город на территории нынешней юго-западной Франции; в эпоху Римской империи — центр Нарбоннской провинции, одной из самых старых и глубоко романизированных областей страны. Упоминание родственницы из Нарбонны в «Записках» Адриана может быть связано с тем, что Испания и Нарбоннская провинция граничили друг с другом.

в меня своей маленькой гордой головкой, она с замечательным бесстыдством рассказывала мне о своих любовных похождениях. Мне нравились неистовство и самозабвенность, с какими она отдавалась наслаждению, нравился ее прихотливый вкус, ее страсть терзать самой себе душу. Я знал несколько дюжин ее любовников; она и сама теряла им счет; я был у нее лишь на третьих ролях и не требовал от нее верности. Она была влюблена в танцора по имени Батилл, мужчину поразительной красоты, что заранее оправдывало ее безумства. Она рыдала в моих объятиях, твердя его имя, и мое одобрительное молчание придавало ей мужества. Бывали дни, когда мы с ней много и дружно смеялись. Она умерла молодой на острове с губительным климатом[69], куда ее выслала семья после скандального развода. Я рад, что ей, очень боявшейся постареть, выпала такая смерть, хотя подобного чувства мы обычно не испытываем в отношении тех, кого по-насто-

[69] КОММЕНТАРИЙ: 69

Ссылка на маленькие, практически необитаемые скалистые острова Средиземного моря была в Риме распространенной формой сурового наказания, преимущественно за преступления против нравственности. Там погибли мать Гая Калигулы Агриппина Старшая, внук Августа Агриппа Постум и многие другие. Показательно, что сослала эту женщину на остров семья. Семейные суды, один из древнейших общественных институтов Рима, сохранились и при империи, членов семьи судили в первую очередь за аморальные деяния.

ящему любим. У нее была неуемная потребность в деньгах. Однажды она попросила меня дать ей сто тысяч сестерциев. Я принес ей деньги на следующий день. Она уселась прямо на землю и, изящным движением игрока в бабки высыпав содержимое мешка на каменные плиты, принялась делить сверкающую груду на кучки. Я знал, что для нее, как и для всех нас, расточителей и транжир, эти золотые кружочки были не просто звонкой монетой, отмеченной изображением цезаря, а волшебной субстанцией, были для нее своей, личной монетой, выбитой в честь ее химерической мечты, ее танцора Батилла. Я уже не существовал для нее. Она была одна. Почти некрасивая, она с восхитительным безразличием к собственной внешности морщила лоб, надувала, как школьник, губы и производила на пальцах какие-то сложные вычисления. Никогда она не была мне так мила, как в эту минуту.

Весть о сарматских набегах пришла в Рим во время торжеств по случаю победы Траяна над даками. Этот долго откладывавшийся праздник тянулся целую неделю. Потребовалось около года, чтобы доставить из Африки и Азии диких зверей, которых предстояло убить на арене; умерщвление тысяч животных, методичное истребление

десяти тысяч гладиаторов превратили Рим в мрачное царство смерти. В тот вечер я находился на террасе дома Аттиана, вместе с Марцием Турбоном и нашим хозяином. Ярко освещенный город был отвратителен в своем буйном веселье; тяжелая война, которой Марций и я отдали четыре года своей молодости, была воспринята чернью как предлог для пьяного разгула, то был жестокий триумф плебса. Время было не самым подходящим для того, чтобы сообщать народу, что все эти столь громко превозносимые победы отнюдь не окончательны и что у наших границ появился новый враг. Императора, уже увлеченного своими восточными планами, положение на северо-востоке перестало интересовать; он предпочитал считать его решенным раз и навсегда. Первая Сарматская война была подана просто как карательная экспедиция. Я отправился туда в звании наместника Паннонии, с полномочиями

главнокомандующего[70].

Война продлилась одиннадцать месяцев и была ужасна. Я до сих пор считаю, что уничтожение даков было в известной мере оправданным: ни один глава государства не станет терпеть у своих ворот воинственного врага. Но падение Децебалова царства образовало в этом районе пустоту, и в нее устремились сарматы; неведомо откуда возникавшие банды наводняли страну, опустошенную долгими годами войны и дотла сожженную нами, страну, где наших сил было явно недостаточно и где нам не на что было опереться; банды кишели, как черви, на трупе наших дакийских побед. Недавние успехи подорвали дисциплину в войсках: на аванпостах у нас царила беспечность, напоминавшая мне атмосферу римских пиров. Перед лицом грозной опасности иные трибуны были полны бездумного спокойствия; оказавшись отрезанными

[70] КОММЕНТАРИЙ: 70

Древние делили сарматов на европейских, обитавших между Вислой на западе, Карпатами, Днестром и Черным морем на юге, Доном на востоке, и азиатских, занимавших земли между Доном, низовьями Волги и Кавказом. Скорее всего, под этим именем объединялся ряд этнически разнородных племен, среди которых, однако, преобладали ираноязычные. Они были крайне воинственны и, начиная с эпохи Траяна, неоднократно вторгались на территорию империи. Наместничество Адриана в Паннонии и поход его на сарматов относятся, скорее всего, к 107 г.

от империи в местах, где единственной более или менее знакомой нам областью была наша бывшая граница, они по-прежнему надеялись побеждать, рассчитывая лишь на наше военное снаряжение, которое, как мне было прекрасно известно, таяло буквально на глазах от износа и потерь, и на некие мифические подкрепления, которых неоткуда было ожидать, ибо все ресурсы теперь были сосредоточены в Азии.

Начала обозначаться и другая опасность: четыре года официальных поборов разорили деревни; начиная с первых дакийских кампаний я видел, как к каждому стаду коров или овец, торжественно отбитых у врага, прибавляются бесконечные вереницы скота, отнятого у населения. Если такое положение вещей будет продолжаться, недалек день, когда наши крестьяне, изнемогающие под тяжестью римской военной машины, в конце концов предпочтут нам варваров[71]. Грабежи и вымогательства солдатни являли собой проблему, быть может, и менее важную, но больше бросавшуюся в глаза. Я был достаточно популярен, чтобы не бояться наложить на своих солдат самые суровые ограничения; я следил

[71] КОММЕНТАРИЙ: 71

Что и произошло в последующую эпоху, в особенно широких масштабах — в V в., это послужило одной из причин падения Римской империи.

за строгостью нравов, которой и сам неукоснительно придерживался; я придумал Священную науку власти, которую мне удалось впоследствии распространить на всю армию. Я отсылал в Рим людей опрометчивых и честолюбивых, которые затрудняли выполнение поставленных мною задач, а взамен вызывал мастеров, которых нам так не хватало. Нужно было восстановить ряд оборонительных сооружений; в горделивом упоении от недавних побед здесь почему-то этим пренебрегали; пришлось решительно отказаться от тех укреплений, поддержание которых обошлось бы нам слишком дорого. Представители гражданской администрации, вольготно и прочно устроившись посреди всего того беспорядка, каким обычно сопровождается война, постепенно переходили в ранг чуть ли не полностью независимых от нас вождей, способных на любые репрессии в отношении наших подданных и на любое предательство в отношении нас. Здесь я также увидел опасность назревающих и готовых в ближайшем будущем разразиться мятежей и смут. Не думаю, что мы можем вообще избежать этих бедствий, так же как не верю в возможность избежать смерти, однако в наших силах отодвинуть их на несколько веков. Бездарных

чиновников я прогнал; худших из них приказал казнить. Я открывал в себе беспощадность.

На смену мглистой осени и холодной зиме пришло дождливое лето. Мне пригодились мои познания в медицине, и в первую очередь для того, чтобы лечить самого себя. Жизнь на границе постепенно низвела меня до уровня сармата; бородка греческого философа превратилась в бороду варварского вождя. Я снова пережил все то, что уже видел однажды и что во время дакийских кампаний вызывало у меня омерзение. Наши враги живьем сжигали пленных; не имея транспортных средств, чтобы переправлять наших пленников на рынки рабов в Рим или Азию, мы тоже стали их убивать. Колья оград ощетинились отрубленными головами. Враг подвергал заложников пыткам; многие из моих друзей погибли ужасной смертью. Один из них с трудом добрел до лагеря на кровоточащих ногах; он был настолько обезображен, что мне так и не удалось вспомнить его настоящее лицо. Зима тоже обложила нас своей данью — конными отрядами, вмерзшими в лед или унесенными разливом реки, больными, слабо стонавшими и надрывно кашлявшими в палатках, обмороженными ранеными. Вокруг меня объединились люди замечательных душев-

ных качеств; этой небольшой, тесно сплоченной группе, во главе которой я стоял, была присуща самая высокая доблесть, единственная, какую я еще могу выносить: твердая решимость быть полезным. Сарматский перебежчик, которого я взял к себе переводчиком, вернулся, рискуя жизнью, к своим, чтобы склонить соплеменников к мятежу или измене; мне удалось вступить в переговоры с этими людьми, и теперь они стали сражаться на наших аванпостах, защищая наших солдат. Несколько смелых вылазок, на первый взгляд отчаянных, но проведенных нами очень умело, доказали врагу бессмысленность любых нападений на Рим. Один из сарматских вождей последовал примеру Децебала: мы нашли его мертвым в войлочном шатре, рядом с задушенными женщинами и страшным узлом, в который были завернуты дети. С этого дня мое отвращение к бессмысленному уничтожению человеческих жизней распространилось и на варваров; мне было жаль этих убитых врагов, которых Рим мог бы принять под свою эгиду и впоследствии использовать как союзников в борьбе против еще более диких орд. Осаждавшие нас враги рассеялись и исчезли так же неожиданно, как возникли; они словно растворились в этой мрачной стране, из

которой, без сомнения, еще вырвутся и другие бури. Война не закончилась. Мне предстояло возобновить ее и завершить спустя несколько месяцев после того, как я стал императором. Но, во всяком случае, порядок на этой границе был восстановлен. Покрытый славой, я возвратился в Рим. Но я постарел.

Мое первое консульство[72] стало еще одним годом войны, годом тайной, но непрерывной борьбы, которую я вел во имя достижения мира. Но я вел ее не один. Перемена позиций, подобная моей, произошла, пока меня не было в Риме, также и у Лициния Суры, и у Аттиана, и у Турбона[73], словно, невзирая на строжайшую цензуру, которой я подвергал свои письма, мои друзья поняли меня и последовали за мной, а в чем-то пошли

---

[72] КОММЕНТАРИЙ: 72

108 г.

[73] КОММЕНТАРИЙ: 73

Об Аттиане и Марции Турбоне см. прим. 42 и 58. Лициний Сура — трижды консул, в 102 и 107 гг. (дата первого консульства не установлена), правая рука и фактический соправитель Траяна. Происходил из Испании, с самого начала вошел в «испанскую когорту», окружавшую Траяна и позже — Адриана (ср. прим. 54), и сыграл важную роль в приведении к власти первого из них. Несмотря на то что карьера его связана в основном с военным командованием во время Дакийских войн, таланты его проявлялись более в ораторском искусстве, адвокатуре и дипломатии. Умер в 110 г.

42 КОММЕНТАРИЙ: 42

У римских юношей, оставшихся без родителей, часто бывало по два

опекуна. В большинстве источников имя этого персонажа читается как Целий Аттиан или Татиан.

58 КОММЕНТАРИЙ: 58

Римский всадник, со времен молодости Адриана входивший в число его ближайших друзей и советников.

54 КОММЕНТАРИЙ: 54

Редкий у М. Юрсенар случай глубокого и очевидного расхождения с исторической истиной, что настоятельно требует разъяснений. На протяжении всего романа Луций Юлий Урс Сервиан (47-136 гг.) характеризуется, во-первых, как бездарный и злобный интриган, во-вторых, как коварный и непримиримый враг Адриана. Историческим основанием последнего является только описанный в данном месте эпизод, который действительно находит подтверждение в источниках (Плиний Младший. Панегирик Траяну, IX, 2–5; Аврелий Виктор. Эпитомы, 13,3; Евтропий, VIII, 2,1), но не дает никаких поводов для тех заключений, которые приписаны здесь Адриану. Как Адриан и Траян, Сервиан входил в группу сенаторов и придворных испанского происхождения, на которых опирались оба эти императора; вместе с Адрианом он фигурирует в завещании испанского магната Л. Дазумия; Адриан оказал ему величайшую честь, сделав его в третий раз консулом (в 134 г.), т. е. явно считал его приближенным и доверенным лицом. Утверждение о его бездарности опровергает также его блестящая карьера полководца, который успешно выполнял самые ответственные поручения в весьма трудной обстановке провинции Паннония и Нижней Германии; он был во второй раз консулом (в 102 г.) вместе с Лицинием Сурой — фактическим соправителем Траяна. Отрицательная характеристика понадобилась М. Юрсенар для того, чтобы оправдать действия Адриана, который в 136 г. предал казни 90-летнего Сервиана по подозрению в заговоре с целью захвата верховной власти. Скорее же всего, то был один из приступов необузданной жестокости, в которых Адриан впоследствии раскаивался, но которые были свойственны ему всю жизнь и особенно в старости.

еще дальше. Прежде взлеты и падения моей фортуны смущали меня главным образом потому, что я не знал, как отнесутся к ним друзья[74]; все мои опасения, все нетерпеливые ожидания, которые, будь я один, я переносил бы с легким сердцем, начинали всерьез меня удручать, когда приходилось скрывать их от моих заботливых друзей или в них друзьям признаваться; я досадовал на обременительность их любви, на то, что они тревожатся за меня больше, чем я сам, на то, что за внешней возбужденностью они не видят во мне спокойного человека, которому ничто на свете не представляется особенно значительным и который поэтому уцелеет при любых поворотах судьбы. Но теперь у меня уже не было времени для того, чтобы собой заниматься, так же как и

[74] КОММЕНТАРИЙ: 74

Слово «друзья», агшс1 в Риме и в древнем мире в целом имело мало общего с тем смыслом, который вкладывается в него сегодня, оно означало, скорее, определенный общественный институт — состоявшую из родных, земляков, клиентов, сотрудников группу лиц, окружавших каждое сколько-нибудь значительное лицо, без совещания с друзьями не принималось ни одно ответственное решение. В глазах римлян носителем истины мог быть только коллектив, группа, и любое решение, принятое без совета с друзьями, особенно ответственным государственным деятелем или императором, считалось недопустимым и в принципе могло остаться невыполненным. На протяжении всего романа Адриан выступает в окружении агшс1, что должно характеризовать его как «хорошего» государя, верного римским народным традициям. Люди, связанные личной, интимной близостью, по римским представлениям, в число друзей не входили. Институту друзей в Риме посвящен специальный диалог Цицерона «Лелий, или

О дружбе» (русский перевод в кн.: М. Туллий Цицерон. Избранные сочинения. М., 1975).

для того, чтобы вовсе не заниматься собой. Моя личность отодвигалась на задний план именно потому, что моя точка зрения начинала приобретать вес. Главное состояло в том, что нашелся человек, который воспротивился политике завоеваний, предугадал ее последствия и ее бесславный конец и стал готовиться к тому, чтобы по возможности исправить ее ошибки.

Служба на границе показала мне другой лик победы, тот, которого не отыщешь на колонне Траяна. Мое возвращение в ряды гражданской администрации дало возможность собрать против военной партии массу улик, еще более внушительных, чем доказательства, полученные мной в армии. Основной состав легионов и преторианской гвардии был сформирован исключительно из италийских частей; эти войны на дальних рубежах выкачивали последние резервы из страны, которая и без того была бедна мужчинами. Те, кто не пал в сражениях, все равно были потеряны для родины — родины в собственном смысле этого слова, — поскольку их вынуждали селиться на новых, только что завоеванных землях. Даже в провинции система воинского набора стала к этому времени причиной серьезных волнений. Поездка в Испанию, предпринятая мной

несколько позже для надзора за работами на медных рудниках, принадлежавших моей семье, показала мне, какой беспорядок внесла война в жизнь страны; наконец, я убедился в полной обоснованности недовольства собственников, с которыми мне приходилось встречаться в Риме. Я не был настолько наивен, чтобы считать, что возможность избежать войны зависит во всех случаях только от нас; но я готов был примириться с оборонительными войнами; я мечтал о такой армии, задача которой сводилась бы к поддержанию порядка на границах, если нужно — передвинутых поближе, но зато надежных. Любое новое расширение и без того огромной территории империи представлялось мне болезненным разрастанием, раковой опухолью, отеком, подобным тому, какой происходит от водянки и который в конце концов может привести к гибели всего организма.

Ни одно из этих суждений не могло быть представлено императору. Он достиг того срока своей жизни, который приходит к каждому в свое время, когда человек доверяется своему злому или доброму гению, повинуясь некоему мистическому закону, который повелевает ему уничтожить себя — или превзойти собственные возможности.

Свершения его эпохи были в своей совокупности великолепны, но все мирные труды, к которым столь искусно склоняли императора лучшие его советники, — величественные проекты архитекторов и законоведов — значили для него неизмеримо меньше одной-единствен-ной воинской победы. Безумие расточительства вселилось в этого человека, который был так благородно бережлив, когда речь шла о его личных нуждах. Все золото варваров, извлеченное из глубин Дуная, все пятьсот тысяч слитков царя Децебала ушли на щедрые подачки народу, на дарственные военным (из которых и я получил свою долю), на сумасшедшую роскошь гладиаторских игр, на новые расходы ради грандиозных авантюр в Азии. Это вредоносное богатство создавало ложное представление об истинном состоянии финансов. Деньги, полученные от войны, на войну же и возвращались.

Тем временем умер Лициний Сура. Это был самый достойный из личных советников императора. Его смерть была для нас проигранным сражением. Он всегда относился ко мне с отеческой заботливостью; в последние годы он тяжко болел, и слабых его сил уже не хватало на то, чтобы заниматься собственными трудами; но

он целиком отдавал их служению человеку, чьи взгляды казались ему здравыми и разумными. Завоевание Аравии было предпринято вопреки его советам; лишь он один, будь он жив, мог бы избавить государство от огромных затрат и тягот парфянской кампании. Этот снедаемый лихорадкой человек употреблял часы своей бессонницы на обсуждение со мною планов, которые изнуряли его, однако в случае их удачного осуществления подарили бы ему нечто неизмеримо большее, чем несколько лишних часов жизни. У его изголовья я заранее и в мельчайших деталях пережил ряд этапов моего грядущего царствования. В своей критике умирающий щадил императора, но он чувствовал, что уносит с собою в могилу последние частицы мудрости, остававшейся еще у режима. Если бы он прожил на два-три года дольше, мне, быть может, удалось бы избежать некоторых сложных ходов, которыми было отмечено мое восхождение к власти, он смог бы убедить императора усыновить меня раньше и на глазах у всех. Но последние слова этого мудрого государственного деятеля, который завещал мне свои идеи, прозвучали для меня так, словно он заранее облекал меня императорским саном.

Группа моих сторонников росла, но то же самое происходило и с моими врагами. Самым опасным для меня противником был Лузий Квиет, полуримлянин-полуафриканец, нумидийские эскадроны которого сыграли важную роль во второй дакийской кампании; он с яростью настаивал на азиатской войне. Все мне было отвратительно в этом человеке: варварская роскошь и вызывающий разлет белого хитона, перехваченного золотым шнуром, и высокомерный лживый взгляд, и невероятная жестокость к побежденным и слугам. Главари военной партии истребляли друг друга в междоусобных распрях, но те, кому удавалось уцелеть, еще крепче держались за власть, и я еще острее чувствовал подозрительность Пальмы или ненависть Цельза. Мое собственное положение было, к счастью, почти неуязвимо. С тех пор как император полностью посвятил себя военным замыслам, гражданское правление все больше переходило в мои руки. Мои друзья, которые, в силу своих способностей и прекрасного знания дела, могли бы вытеснить меня и занять мое место, проявляли благородную скромность и делали все, чтобы предпочтение было отдано мне. Нератий Приск, пользовавшийся доверием императора, день ото

дня все решительнее замыкался в своих юридических делах. Аттиан посвятил свою жизнь тому, чтобы всегда быть к моим услугам. Чувствовал я и осторожную поддержку Плотины. За год до войны я был назначен наместником Сирии, а позже к этому добавилась еще и должность легата при армии. Призванный контролировать и организовывать наши базы, я становился одним из рычагов управления предприятием, которое сам я считал безумным. Некоторое время я колебался, но потом дал согласие. Отказаться означало бы закрыть себе путь к власти как раз в тот момент, когда власть была мне очень нужна. И к тому же это значило упустить свой единственный шанс сыграть сдерживающую роль в политике государства.

В эти годы, предшествовавшие великим переменам, я принял решение, которое создало мне у моих врагов репутацию легкомысленного человека и которое отчасти ради этого и было принято, ибо давало мне возможность отбиваться от их нападок. Я отправился на несколько месяцев в Грецию. Политика не имела к этому, по крайней мере внешне, никакого отношения. Поездка была предпринята с увеселительной и учебной целью; я привез из нее несколько рез-

ных кубков, а также книги для себя и Плотины. Из всех официальных почестей, которых я был там удостоен, одна доставила мне наивысшую и самую чистую радость: мне присвоили звание архонта Афин. Я подарил себе несколько месяцев удовольствий и приятных занятий, весенних прогулок по усеянным анемонами холмам, нежных прикосновений к натуральному мрамору. В Керонее, куда я поехал отдохнуть душой возле древних статуй друзей из Священного отряда, я два дня был гостем Плутарха. У меня был и свой личный Священный отряд, но, как это часто бывает, собственная жизнь занимала меня куда меньше, чем история. Я охотился в Аркадии; в Дельфах я возносил молитвы богам. В Спарте, на берегу Еврота, пастухи учили меня играть на флейте древнейшую мелодию, звучавшую словно пение неведомой птицы. Возле Мегары мы попали на крестьянскую свадьбу, которая длилась всю ночь; мы с моими спутниками отважились смешаться с толпою танцующих — суровые нравы Рима этого бы не допустили.

Следы наших преступлений всюду бросались в глаза — разрушенные Муммием стены Ко-

ринфа[75], оставшиеся пустыми ниши в глубине храмов, после того как во время постыдной поездки Нерона[76] из них были похищены статуи. Но даже и обедневшая, Греция по-прежнему была окутана атмосферой задумчивой прелести, светлого изящества и мудрой неги. Ничто не переменилось с той поры, как ученик ритора Исей впервые вдохнул этот аромат горячего меда, смолы и соли; по существу, ничто не переменилось с течением веков. Песок гимнастических школ был таким же золотистым, как прежде; не было уже ни Фидия, ни Сократа, но молодые люди, упражнявшиеся там, все так же походили на восхитительного Хармида. Иногда мне казалось, что греческий дух не исполнил еще до конца предначертанной ему судьбы: жатву

[75] КОММЕНТАРИЙ: 75

Город на севере Пелопоннеса, разграбленный и разрушенный в 146 г. до н. э. римскими войсками под командованием консула Луция Муммия. Адриан отстроил и подарил городу великолепный водопровод.

[76] КОММЕНТАРИЙ: 76

Нерон с огромной свитой находился в Греции с сентября 66 по декабрь 67 г., где выступал как актер и певец, участвовал в мусических состязаниях и под конец объявил об освобождении Греции от римского владычества (акт, не имевший, разумеется, никаких практических последствий). Поездка потребовала огромных средств, которые в основном были взысканы с греческих городов, что поставило их на грань разорения; кроме того, были вывезены в Рим еще остававшиеся в Греции древние статуи и другие великие произведения искусства. В этих условиях «освобождение Греции» и широкая раздача римского гражданства были вынужденными мерами, рассчитанными на то, что-

бы хоть как-то успокоить народ ограбленной и возмущенной страны.

еще предстояло собрать; созревшие на солнце и уже срезанные колосья были ничтожной малостью рядом с тучным зерном, которое, если верить элевсинским обещаниям, таилось в этой плодородной земле. Даже у врагов своих, диких сарматов, я находил то вазы с чистыми линиями греческих профилей, то украшенное изображением Аполлона зеркало — отблески Греции, словно лежащие на снегу бледные солнечные блики. Я предвидел возможность эллинизировать варваров, заразить аттической утонченностью Рим, исподволь прививать миру ту единственную культуру, которая некогда сумела отделить себя от всего уродливого, грубого, окаменевшего и изобрести определение метода, теорию политики и теорию красоты. Легкое презрение, которое я постоянно ощущал в речах греков за самыми пылкими уверениями в почтении, не обижало меня; я считал это естественным; каковы бы ни были достоинства, которые отличали меня от них, я знал, что никогда не достигну хитроумной ловкости, присущей последнему матросу из Эгины, или спокойной мудрости, свойственной любой торговке травами на рынке. Без малейшего раздражения принимал я от гордого племени любезности, не лишенные привкуса высокоме-

рия; я охотно признавал за этим народом право на привилегии, которые я всегда легко жаловал всему, что любил. Но, чтобы продолжить и завершить свое дело, грекам необходимы были несколько веков мира, был нужен тот спокойный досуг, та свобода в разумных пределах, которая дается лишь мирной жизнью. Греция уповала на нас как на защитников ее благоденствия, раз уж мы объявили себя ее властителями. И я дал себе слово оберегать безоружного бога.

Я уже целый год занимал пост наместника в Сирии, когда в Антиохию явился Траян77. Он приехал проверить, как идет подготовка к армянскому походу, с которого, по его замыслу, следовало начать наступление на парфян. Как всегда, его сопровождала Плотина, а также его племянница Матидия, моя снисходительная теща, которая уже много лет ездила вместе с ним в армию в качестве экономки. Цельз, Пальма, Нигрин, мои старые недруги, все еще заседали в Совете принцепса и составляли большинство в командовании армией. Вся эта шушера толпилась во дворце, ожидая начала военных действий. Снова пышным цветом расцвели дворцовые интриги. Каждый вел свою собственную игру, боясь упустить благоприятный случай,

предоставляемый войной.

Армия почти сразу же двинулась на север. Я видел, как вместе с ней удаляется огромное скопище высоких чиновников, честолюбцев и просто никому не нужных людишек. Император со своей свитой остановился на несколько дней в Коммагене, чтобы принять участие в празднествах, которым уже был придан характер триумфа; мелкие восточные царьки, собравшиеся в Сатале[78], наперебой клялись в своей верности, полагаться на которую я бы на месте Траяна не стал. Лузий Квиет, мой опасный соперник, возглавив авангардные части, в ходе долгой военной прогулки занял берега озера Ван; захватить опустошенную парфянами северную часть Месопотамии тоже не составило труда; Абгар, царь Осроэны, сдался в Эдессе. Император возвратился на зимний период в Антиохию, отложив до весны вторжение в собственно парфянские пределы, но твердо решив не принимать никаких предложений о мире. Все шло, как он задумал. Радость, которую он испытывал, начав наконец эту так долго откладывавшуюся авантюру, словно омолодила этого шестидесятичетырехлетнего человека.

---

[78] КОММЕНТАРИЙ: 78
Город в Малой Армении.

Мои прогнозы были по-прежнему мрачны. Еврейская и арабская часть населения все больше противилась войне; крупные землевладельцы в провинциях были раздражены необходимостью оплачивать убытки, причиненные проходившими через их владения войсками; города с трудом справлялись с новыми налогами. По возвращении императора произошла первая катастрофа, ставшая предвестницей всех последующих катастроф; землетрясение, случившееся в одну декабрьскую ночь, за несколько минут уничтожило четверть Антиохии. Контуженный упавшей балкой, Траян продолжал героически спасать раненых; несколько человек из его ближайшего окружения были убиты. Сирийская чернь тотчас нашла виновников этого стихийного бедствия; на сей раз император отказался от своих принципов веротерпимости и совершил ошибку, допустив расправу над группой христиан. Сам я питаю довольно мало симпатии к этой секте, но зрелище побитых палками, замученных до смерти старцев и детей лишь способствовало возбуждению умов и сделало еще более гнусной эту зловещую зиму. На то, чтобы восстановить все разрушения, причиненные подземным толчком, не было денег; ночью тысячи бездомных

людей располагались лагерем на площадях. Мои инспекционные поездки обнаружили глухое недовольство и тайную ненависть, о которой высокие сановники, переполнявшие дворец, даже не подозревали. Среди развалин император продолжал подготовку к очередному походу, понадобилось вырубить целый лес, чтобы навести переправы и соорудить понтонные мосты через Тигр. Император с радостью принял целую серию новых званий, пожалованных ему Сенатом; ему не терпелось поскорее покончить с Востоком, чтобы триумфатором вернуться в Рим. Малейшая задержка вызывала у него неистовые приступы ярости.

Император, нетерпеливо меривший шагами просторные залы дворца, который был построен Селевкидами и который я сам украсил в его честь (что за глупость!) хвалебными надписями и дакийским оружием, был уже совсем не тот человек, что принимал меня в Кёльне почти двадцать лет тому назад. Даже добродетели его постарели. Его тяжеловатая веселость, за которой прежде скрывалась подлинная доброта, стала теперь всего лишь привычной маской; твердость вылилась в упрямство; склонность к немедленным и решительным действиям — в

полное нежелание мыслить. Ласковое уважение, с которым он относился к супруге, ворчливая привязанность к племяннице Матидии превратились в старческую зависимость от этих женщин, советам которых он тем не менее все чаще противился. Печеночные приступы у Траяна весьма тревожили его врача Критона, но сам он не обращал на них внимания. Развлечениям императора всегда недоставало изящества, и с годами их уровень отнюдь не поднялся выше. Не было еще особой беды в том, что, завершив свой трудовой день, император предавался казарменному разгулу в обществе молодых людей, которых находил приятными или красивыми. Гораздо хуже было то, что он плохо переносил эти возлияния и что толпы все более и более бездарных подчиненных, ловко отбираемых и управляемых какими-то темными личностями из числа вольноотпущенников, неизменно присутствовали при моих с ним беседах и обо всем доносили моим недругам. Днем я видел Траяна только на заседаниях в военном совете, целиком посвященных скрупулезной разработке планов и не оставлявших ни минуты для обмена мнениями. Во всякое иное время суток он избегал оставаться со мной наедине. Вино подсказывало

этому по природе своей не слишком тонкому человеку целый арсенал неуклюжих уловок. От его былой чуткости не осталось и следа: ему во что бы то ни стало хотелось теперь приобщить меня к своим удовольствиям; шум, смех, плоские шутки молодых людей принимались им с неизменной благосклонностью и, наряду с множеством других способов, имели целью дать мне понять, что серьезными делами сейчас заниматься не время; он с нетерпением подстерегал тот вожделенный миг, когда еще одна чаша, выпитая мной до дна, лишит меня всяческого разумения. Все начинало кружиться вокруг меня в этом зале, где головы зубров, захваченные у варваров как трофеи, скалились со стен, словно смеясь мне в лицо. Кувшины следовали один за другим, то тут, то там возникала пьяная песня, слышался задорный, звонкий смех молодого слуги; облокотясь на стол дрожавшей все сильнее рукой, отгородившись от всех опьянением, быть может наполовину притворным, и блуждая мыслями по дальним азиатским дорогам, император тяжело погружался в свои мечты…

К несчастью, мечты эти были прекрасны. То были те самые мечты, что некогда внушали мне мысль все бросить и северными путями устре-

миться через горы Кавказа к манящей неведомой Азии. Это же наваждение, во власти которого сейчас, точно лунатик, оказался состарившийся император, смущало когда-то и Александра; он почти осуществил эти мечты, но из-за них он и умер в возрасте тридцати лет. Однако еще более страшная опасность этих грандиозных планов таилась в их мудрости: чтобы оправдать эту чудовищную нелепость, чтобы увлечь нас в погоне за невозможным, под рукою всегда оказывалось более чем достаточно самых благоразумных и самых практических доводов. Проблема Востока занимала нас на протяжении веков; казалось вполне естественным решить ее раз навсегда. Наши продовольственные обмены с Индией и с таинственной Страной шелка полностью зависели от еврейских купцов и арабских мореплавателей, которые обладали правом захода в парфянские порты и правом следования по парфянским дорогам. Покорив обширное и неустойчивое царство всадников — Аршакидов[79], мы бы вышли к этим богатейшим границам мира, и тогда Азия, объединенная наконец под нашей властью, стала бы еще одной провинцией Рима.

---

[79] КОММЕНТАРИЙ: 79

Аршакиды — царская династия, правившая Парфией с 256 г. до н. э. по 226 г. н. э. Конница составляла основу армии парфян.

Порт Александрии Египетской был единственным нашим выходом к Индии, не зависевшим от доброй воли парфян; но и здесь мы постоянно наталкивались на непомерные притязания и непокорность еврейских общин[80]. Успехи экспедиции Траяна позволили бы нам обходиться без этого не слишком-то верного города. И, однако, все эти доводы были не в состоянии меня убедить. Разумные торговые договоры удовлетворили бы меня гораздо больше, и мне уже виделась возможность ограничить роль Александрии, создав вторую греческую метрополию вблизи Красного моря, что я впоследствии и осуществил, когда создал Антинополь[81]. Я начинал понимать этот сложный азиатский мир. Простые планы полного уничтожения, которые удались в Дакии, были неуместны в этих местах, отличавшихся более многообразной и более прочно укоренившейся

---

[80] КОММЕНТАРИЙ: 80

В 586 г. до н. э. Иудейское царство было завоевано вавилонянами и уничтожено, а все социально активное население либо переселено в Вавилон (так наз. Вавилонское пленение), либо рассеяно среди тогдашнего культурного мира (так наз. диаспора). Возникшие таким образом в странах Переднего Востока еврейские общины сохраняли свою религию, острое национальное самосознание и не ладили с местным населением, что являлось источником постоянных волнений и распрей.

[81] КОММЕНТАРИЙ: 81

Город на Ниле в Среднем Египте. Подробно о нем см. ниже, в тексте романа.

жизнью, — в местах, от которых во многом зависело благоденствие всего мира. За Евфратом для нас начинались края опасностей и миражей, края песков, в которых можно было увязнуть, и дорог, которые никуда не вели. Малейший неверный шаг мог пошатнуть наш престиж, и это грозило нам самыми страшными бедами; речь ведь шла не только о том, чтобы победить, но о том, чтобы закрепить нашу победу, а на это у нас могло не хватить сил. Однажды мы уже сделали такую попытку: я с ужасом вспоминаю голову Красса[82] — ею, словно мячом, перебрасывались зрители во время представления «Вакханок» Еврипида, которых один варварский царек, неравнодушный к греческому искусству, велел показать вечером после его победы над нами. Траян мечтал отомстить за это давнее поражение; я же мечтал о том, чтобы не дать этому повториться. Я довольно верно угадывал будущее — вещь, в конце концов, возможная, когда ты знаком с большим количеством фактов, составляющих настоящее; несколько бесполезных побед завлекли бы слишком далеко наши армии, неосторожно снятые с

[82] КОММЕНТАРИЙ: 82

Консул Марк Лициний Красе в 54 г. до н. э. предпринял поход против парфян, потерпел от них ряд сокрушительных поражений и, наконец, был зверски убит 8 июня 53 г.

других границ; Траян, умирая, покрыл бы себя славой, а нам, живым, пришлось бы решать кучу нерешенных проблем и исправлять причиненное императором зло.

Цезарь был прав, когда говорил, что лучше быть первым в провинции, чем вторым в Риме. Дело тут не в гордыне и не в тщеславии, а в том, что человеку, находящемуся во втором ряду, остается лишь выбирать между тремя видами опасностей — теми, какими грозит подчинение, теми, которыми чреват бунт, и самыми грозными из всех — опасностями компромисса. В Риме я не был бы даже вторым. Готовый со дня на день отправиться в рискованную экспедицию, император еще не назначил наследника; каждый его шаг вперед давал еще один шанс армейским заправилам. Этот едва ли не наивный человек представлялся мне теперь существом даже более сложным, чем я сам. Успокаивала меня только его суровость: когда император бывал в мрачном расположении духа, он относился ко мне как к сыну. Однако в другие моменты я мог ожидать чего угодно — что он вообще обойдется без моих услуг или что я буду оттеснен Пальмой или устранен Квиетом. У меня не было никакой власти: мне не удавалось даже добиться аудиенции для

влиятельных членов антиохийского синедриона, которые не меньше, чем нас, боялись подстрекательских действий смутьянов из числа своих же единоверцев и могли сообщить Траяну немало полезного на сей счет. Мой друг Латиний Александр, отпрыск одной из старинных царских семей Малой Азии, который благодаря своему имени и богатству пользовался большим весом, тоже не был выслушан. Плиний, посланный в Вифинию четырьмя годами раньше, там и умер, не успев уведомить императора о точном состоянии умонастроений и финансов, если предположить, что его неизлечимый оптимизм позволил бы ему это сделать[83]. Тайные донесения ликийского купца Опрамоаса, который хорошо знал положение дел в Азии, были подняты Пальмой

[83] КОММЕНТАРИЙ: 83

Гай Плиний Цецилий Секунид (62-111 гг.) — римский сенатор, народный трибун 92 г., претор 93 г., консул 100 г., обычно называемый Плинием Младшим, известен как автор сборника писем, публиковавшегося отдельными выпусками между 100 и 108 гг. Письма адресованы реальным лицам и написаны по реальным поводам, но подвергнуты тщательной литературно-стилистической обработке, так что представляют собой не только исторический источник, но и литературный памятник. Общественно-политическая позиция Плиния состояла в умеренности, что дало ему возможность избежать чрезмерной близости как к «тирану» — Домициану, так и к противникам режима; говоря о «неизлечимом оптимизме» Плиния, М. Юрсенар имеет в виду эту черту его личности и эмоциональную окраску его писем. В конце первого десятилетия II в. Траян направил Плиния в провинцию Вифинию в качестве легата с чрезвычайными полномочиями; точная дата, указываемая М. Юрсенар, — 110 г. — не бесспорна.

на смех. Отпущенники пользовались днями болезни императора, которые следовали за вечерами пьянства, чтобы не допускать меня в императорские покои; прислужник императора, некто Федим, человек, в общем-то, честный, но упрямый и плохо ко мне относившийся, дважды отказался меня впустить. Консулярий же Цельз, мой враг, однажды вечером уединился с Траяном и повел с ним таинственную беседу, которая продолжалась несколько часов кряду и после которой я уже считал себя человеком конченым. Я искал союзников где только мог; я тратил золото на подкуп бывших рабов, которых я с большим удовольствием отправил бы на галеры; я ласково гладил курчавые головы, вызывающие у меня отвращение. Бриллиант Нервы уже совсем потускнел.

И тогда мне явился самый мудрый из моих добрых гениев — Плотина. Я уже около двадцати лет знал супругу Траяна. Мы вышли из одной среды; мы были примерно одного возраста. Я видел, как она с полным спокойствием живет жизнью почти такой же неестественной, что и моя, и в гораздо большей мере, чем моя, лишенной надежды на будущее. Она не раз, словно сама того не замечая, поддерживала меня в трудные

минуты. Но в Антиохии, когда настали плохие времена, ее присутствие стало для меня поистине необходимым, так же как потом мне было необходимо ее уважение, которое я ощущал до самой ее смерти. Я привык видеть рядом эту фигуру в белых одеждах, скромных и простых, насколько вообще может быть простой одежда женщины, привык к ее молчаливости, к ее скупым словам, которые всегда бывали только ответами — правда, ответами, неизменно полными глубокого смысла. Всем своим обликом она удивительно подходила к обстановке дворца, более древнего, чем самые величественные сооружения Рима; эта дочь безвестного выскочки достойна была чудес Селевкидов. Наши вкусы сходились почти во всем. Мы оба одержимы были страстью украшать, а потом обнажать свою душу и на любом пробном камне испытывать свой дух. Она была склонна к эпикурейской философии, к этому тесному, но чистому ложу, на которое я тоже иногда укладывал свою мысль. Загадка богов, мучившая меня, ее совсем не тревожила; не разделяла она и моей одержимости тайнами человеческого тела. Она была целомудренна из отвращения ко всему, что слишком доступно, щедра скорее по велению рассудка, чем по своей натуре, и в разумных

пределах недоверчива, хотя другу была готова простить все, даже неизбежные его ошибки. Остановив на ком-то свой выбор, она полностью посвящала себя этой дружбе, отдаваясь ей с той безоглядностью, какую я разрешал себе только в любви. Меня она знала, как никто другой; я позволял ей увидеть во мне все то, что я тщательно скрывал от остальных, — например, моменты тайного малодушия. Мне хотелось бы верить, что и она со своей стороны почти ничего от меня не таила. Плотской близости никогда между нами не было, что возмещалось постоянным и тесным контактом наших умов.

Мы понимали друг друга, обходясь без признаний, без объяснений и недомолвок; нам достаточно было фактов. Она видела их лучше, чем я. Ее гладкое чело под тяжелыми, уложенными по моде косами было челом судьи. В ее памяти хранились точные отпечатки всех вещей и предметов; в отличие от меня она никогда долго не колебалась, но и не принимала слишком быстрых решений. С одного взгляда она могла обнаружить самых потаенных моих противников; моих сторонников она оценивала с холодной мудростью. Мы с ней и вправду были сообщниками, но даже самое изощренное ухо не уловило бы признаков

сговора между нами. Она ни разу не совершила передо мной той грубой ошибки, какою были бы ее жалобы на императора, ни даже ошибки более мелкой — никогда не порицала и не хвалила его. Я со своей стороны тоже не давал ей повода сомневаться в моей верности Траяну. Аттиан, только что приехавший из Рима, присоединился к нашим беседам, иногда они длились всю ночь напролет, но, казалось, ничто не могло утомить эту спокойную хрупкую женщину. Ей удалось добиться того, что мой бывший опекун был назначен личным советником императора, и таким образом она устранила моего врага Цельза. То ли по причине подозрительности Траяна, то ли из-за невозможности найти мне замену в тылу, но я был оставлен в Антиохии; я рассчитывал на Плотину и Аттиана в получении сведений, какие не дошли бы до меня по официальным каналам. В случае катастрофы они сумели бы объединить вокруг меня надежную часть армии. Моим противникам приходилось считаться с тем фактом, что рядом с Траяном всегда находился подагрический старик, отлучавшийся лишь для выполнения моих поручений, и женщина, по-солдатски выносливая и стойкая.

Я смотрел, как удаляется войско — император

верхом на коне, решительный и на удивление невозмутимый, многотерпеливые женщины в носилках, преторианская гвардия вперемешку с нумидийскими конниками грозного Лузия Квиета[84]. Армия, зимовавшая на берегах Евфрата, по прибытии полководца двинулась в путь — парфянский поход в самом деле начался. Первые вести были прекрасны. Взят Вавилон, перейден Тигр, пал Ктесифон. Как всегда, ничто не могло устоять перед поразительной хваткой этого человека. Князь Харакенской Аравии признал себя нашим подданным и открыл римским флотилиям свободный проход по всему Тигру; император направился к порту Харакс, находящемуся в центре Персидского залива. Он приближался к легендарным берегам. Моя тревога не проходила, но я скрывал ее, как скрывают содеянное преступление; кто раньше времени прав, тот виноват. Больше того, я сомневался в самом себе,

[84] КОММЕНТАРИЙ: 84

Лузий Квиет (58(?)-117 гг.) — фигура для высшей римской администрации этих лет совершенно необычная. Вождь одного из диких племен внутренней Африки, кажется, чернокожий, он сделал блестящую военную карьеру во время Дакийских войн Траяна, в 116 г. стал сенатором, в 117 г. — консулом. Действовал все время во главе конных отрядов своих чернокожих соплеменников, отличался необычайной жестокостью. Восхождение Квиета знаменовало начало насыщения быта римской армии варварскими элементами, чуждыми не только римским, но и вообще античным традициям.

упрекал себя в низком неверии, не позволяющем признать величие человека, если он слишком хорошо тебе знаком. Я забыл о том, что иные люди способны раздвигать поставленные судьбой пределы и менять ход истории. Я допустил кощунство по отношению к гению-хранителю императора. Сидя в Антиохии, я терзался сомнениями. А вдруг невозможное все же свершится и я окажусь выброшенным из игры? Забыв о благоразумии, я готов был поддаться первому побуждению — вновь надеть на себя кольчугу сарматских походов, использовать влияние Плотины для того, чтобы меня отозвали в армию. Я завидовал последнему из наших солдат, которого покрывает пыль азиатских дорог и который сшибается в схватке с закованными в броню персами. На сей раз Сенат дал императору право уже не на один триумф, а на целую серию триумфальных торжеств, которым предстояло длиться до конца его дней. Я своими руками сделал то, что обязан был сделать, — возглавил устройство празднеств и готовился совершить жертвоприношение на вершине Касия.

Но огонь, постоянно тлевший под почвой в этих странах Востока, вдруг сразу и с разных концов выплеснулся наружу. Еврейские купцы

отказались платить в Селевкии налог; следом мгновенно взбунтовалась Кирена, где восточное население напало на греков и учинило резню; дороги, по которым нашему войску шло египетское зерно, были перерезаны бандой иерусалимских зелотов[85]; жившие на Кипре греки и римляне были схвачены еврейской чернью, которая заставила пленников убивать друг друга в гладиаторских боях. Мне удалось сохранить в Сирии порядок, но я замечал пламя, горевшее в глазах у нищих на порогах синагог, и немые ухмылки на толстых губах погонщиков верблюдов, я ощущал всеобщую ненависть, которой мы, право же, не заслужили. С самого начала евреи и арабы действовали заодно, противясь войне, которая грозила свести на нет их торговлю; но Иудея использовала ситуацию, чтобы ополчиться против всего римского мира, из которого она была исключена из-за своих религиозных бесчинств, странных обрядов и непримиримости своего бога. Император, поспешно воротившись в Вавилон, поручил Квиету покарать мятежные

[85] КОММЕНТАРИЙ: 85

Возникшая в конце I в. до н. э. иудейская политическая группировка, выражавшая интересы средних и низших социальных слоев, отличавшаяся радикализмом в социальной области, крайне ревностным исполнением религиозных предписаний, резкой антиримской направленностью и склонностью к террористической тактике.

города; Кирена, Эдесса, Селевкия, эти крупные греческие центры Востока, были преданы огню в наказание за предательство — за подло перебитые на привалах или вероломно завлеченные в еврейские кварталы караваны. Я посетил потом эти города, когда их собирались восстановить, и ходил среди обращенных в развалины колоннад, между рядами разбитых статуй. Император Хосров, на чьи деньги были подстроены эти мятежи, незамедлительно перешел в наступление — Абгар восстал и занял сгоревшую дотла Эдессу[86]; наши армянские союзники, на которых Траян считал возможным полагаться, пришли на помощь сатрапам. Траян неожиданно оказался в центре огромного поля битвы, где ему со всех сторон грозила опасность.

Целую зиму потратил он на осаду Хатры, крепости почти неприступной, расположенной среди пустыни и стоившей нам многих тысяч убитых. Его упрямство все больше и больше походило

---

[86] КОММЕНТАРИЙ: 86

О Хосрове — см. прим. 12. Абгар — царь области Осроены на западе Месопотамии со столицей в Эдессе. Слова «…и занял сгоревшую дотла Эдессу» означают, что царь вернулся в собственную столицу, отбив ее у римлян.

12 КОММЕНТАРИЙ: 12

В описываемую эпоху Парфянское царство состояло из нескольких областей, во главе которых стоял свой правитель; Хосров был одним из них. Центрами его державы были Ктесифон и Селевкия Вавилонская.

на своего рода личное мужество: этот больной человек отказывался возвращать то, что было им взято. От Плотины я знал, что, невзирая на предостережение, каким явился для него короткий приступ паралича, Траян упорно не желал называть имя своего наследника. Если бы он решил подражать Александру до конца и, подобно ему, умер бы в гнилой азиатской глуши от лихорадки или от невоздержанности, война с внешним врагом осложнилась бы гражданской войной — между моими сторонниками и сторонниками Цельза или Пальмы началась бы борьба не на жизнь, а на смерть; жалкая ниточка связи между императором и мною не обрывалась лишь благодаря действиям нумидийских отрядов моего злейшего врага. Именно тогда-то я впервые и повелел своему врачу отметить у меня на груди красной тушью место, где находится сердце: если бы случилось наихудшее, мне не следовало попадать живым в руки Лузин Квиета. К моим прочим обязанностям прибавилась еще и труднейшая задача умиротворения островов и сопредельных провинций, однако тяжелая работа, которая изматывала меня днем, не шла ни в какое сравнение с ночами бессонницы, казавшимися мне бесконечными. На меня наваливались

все проблемы, стоявшие перед империей, но мучительней всех была моя собственная проблема. Я хотел власти. Я хотел ее для осуществления своих замыслов, для проверки своих способов спасения государства, для восстановления мира. А главное, я хотел ее для того, чтобы, прежде чем умереть, сделаться наконец самим собой.

Мне должно было исполниться сорок лет. Если бы я в ту пору погиб, от меня осталось бы только имя в ряду прочих сановных имен да греческая надпись в честь архонта Афин[87]. С той поры всякий раз, когда я видел, как человек умирает в расцвете сил, а современники считают при этом, что в состоянии достаточно верно оценить и измерить все его успехи и все просчеты, я напоминаю себе, что в этом возрасте я что-то значил лишь в своих собственных глазах и в глазах немногих друзей, которые, наверное, порою сомневались во мне, как и я сам. Я стал сознавать, что очень мало людей успевает себя осуществить за отпущенный им жизненный срок, и я с большим пониманием сужу теперь об их трудах, ибо труды эти были прерваны смертью. Навязчивый образ несостоявшейся жизни приковывал мою мысль

[87] КОММЕНТАРИЙ: 87

Высшая государственная должность в Афинах после отмены царской власти.

к одной точке, терзал меня, как нарыв. Неистовое желание власти мучило меня подобно желанию любви, которое мешает любовнику есть, спать, думать и даже любить, пока все необходимые обряды не будут наконец свершены. Первоочередные дела казались мне ничтожными, коль скоро я лишен был возможности единовластно принимать те решения, которые определяют грядущее. Чтобы вновь обрести ощущение своей полезности, мне нужна была уверенность в том, что я действительно управляю. Тот самый дворец в Антиохии, где несколько лет спустя мне предстояло жить в исступлении счастья, был для меня лишь тюрьмой и, быть может, даже камерой смертника. Я тайно обращался к оракулам, к Юпитеру Аммону в Касталии, к Зевсу Долихену[88]. Я велел привести ко мне волхвов; я дошел до того, что приказал найти в антиохийских узилищах преступника, которого приговорили к распятию на кресте, и в моем присутствии колдун перерезал ему горло — в надежде, что душа, в тот миг, когда она витает между жизнью и смертью,

[88] КОММЕНТАРИЙ: 88

В покоренных Римом областях верховные боги римско-греческого пантеона нередко сливались с местными, как Юпитер — с египетским богом солнца Аммоном; такой же синкретический характер носил культ Зевса в сирийском городе Долихе.

откроет мне будущее. Несчастный избежал таким образом гораздо более мучительной агонии, но мои вопросы остались без ответа. Я бродил ночами от амбразуры к амбразуре, от балкона к балкону по залам дворца, на стенах которого змеились трещины, оставшиеся после землетрясения, и производил на плитах астрологические расчеты, вопрошая мерцающие звезды. Но знаки грядущего следовало искать на земле.

Император снял наконец осаду с Хатры и решился вернуться на этот берег Евфрата — реки, которую ему вообще не надо было переходить. Начавшаяся к тому времени жара и неотступно преследовавшие нас парфянские лучники сделали это горькое возвращение еще более бедственным. Душным майским вечером я вышел из ворот города, чтобы встретить у берегов Оронта горстку людей, измученных лихорадкой, усталостью и тревогой, — больного императора, Аттиана и женщин. Траян пожелал проделать верхом на коне весь путь до самого дворца; он едва держался в седле; этот всегда исполненный жизненных сил человек до неузнаваемости изменился и выглядел так, будто смерть уже стояла у его порога. Критон и Матидия помогли ему подняться по ступеням, отвели в опочивальню,

остались дежурить у его изголовья. Аттиан и Плотина поведали мне о некоторых эпизодах войны, которым не нашлось места в их кратких посланиях. Один из этих рассказов так взволновал меня, что навсегда вошел в число моих личных воспоминаний, дарованных непосредственно мне откровений. Едва достигнув Харакса, усталый император сел на морском берегу и обратил взор на медлительные воды Персидского залива. Это было тогда, когда он еще не сомневался в победе, но тут его впервые в жизни объяла тоска при виде бескрайности мира, ощущение собственной старости и ограничивающих всех нас пределов. Крупные слезы покатились по морщинистым щекам человека, которого все считали неспособным плакать. Вождь, принесший римских орлов к неведомым берегам, осознал вдруг, что ему никогда больше не плыть по волнам этого столь желанного моря; Индия, Бактрия — весь этот загадочный Восток, которым он всегда себя опьянял, — так и останутся для него только именем и мечтой. Всякий раз, когда и мне судьба отвечает «нет», я вспоминаю об этих слезах, пролитых однажды вечером на дальнем морском берегу усталым стариком, быть может впервые трезво взглянувшим в лицо своей жизни.

Наутро я поднялся к императору. Я ощущал себя его сыном и братом. Этот человек, всегда гордившийся тем, что живет и думает так же, как любой солдат его армии, кончал свои дни в полном одиночестве; лежа на постели, он по-прежнему строил грандиозные планы, но до них никому уже не было дела. Его сухой и резкий язык, как всегда, огрублял его мысль; с трудом выговаривая слова, он рассказывал мне о триумфе, который готовится ему в Риме. Он отвергал поражение так же, как смерть. Двумя днями позже с ним случился еще один приступ. Опять у нас начались тревожные совещания с Аттианом и Плотиной. Прозорливая Плотина добилась назначения моего старого друга на должность префекта преторианцев, поставив таким образом под наше начало императорскую гвардию. Матидия, которая не покидала покоев больного, была, к счастью, целиком на нашей стороне; впрочем, эта добрая и уступчивая женщина делала все, чего хотела Плотина. Однако никто из нас не осмеливался напомнить императору о том, что вопрос о передаче власти все еще остается открытым. Может быть, он, как Александр, решил, что не будет назначать наследника сам; может быть, у него были какие-то, одному ему

ведомые обязательства перед партией Квиета. А скорее всего он просто отказывался признать близость смерти; так в иных семьях упрямые старики умирают, не оставив завещания. И дело не только в том, что им хочется до конца сохранить за собой свою власть и богатство, которые уже не в силах удержать их немеющие пальцы, но и в том, что они не желают раньше времени себя пережить — впасть в состояние, когда человек не может уже принимать решений, не может никого удивить, чем-либо угрожать или что-либо обещать тем, кто остался в живых. Я жалел его: мы с ним были слишком разными людьми, чтобы он мог найти во мне того послушного, заранее обреченного на те же самые методы и даже на те же ошибки продолжателя, какого большинство монархов, вкусивших неограниченной власти, тщетно ищут у своего смертного одра. Но среди окружавших его людей не было ни одного государственного деятеля, я был единственным, кого он мог бы избрать, не пренебрегая своим долгом добросовестного должностного лица и великого государя; властитель, привыкший трезво судить о служебных достоинствах своих подчиненных, оказался чуть ли не вынужденным согласиться на мою кандидатуру. Впрочем, это было и пре-

красным поводом меня ненавидеть. Понемногу его здоровье восстановилось настолько, что ему позволено было выходить из опочивальни. Он заговорил о новых походах, но сам в них не верил. Его врачу Критону, который опасался вредного действия летней жары, удалось наконец убедить его возвратиться в Рим. Вечером, накануне своего отплытия, он вызвал меня на палубу корабля, который должен был доставить его в Италию, и назначил меня главнокомандующим на свое место. Он пошел даже на это. Однако главного сделано не было.

Вопреки полученным распоряжениям я незамедлительно, но в полной тайне приступил к мирным переговорам с Хосровом. Я делал ставку на то, что мне, скорее всего, больше не надо будет отчитываться перед императором. Не прошло и десяти дней, как меня разбудил среди ночи гонец — я тотчас узнал в нем доверенного человека Плотины. Он принес мне два послания. В одном из них, официальном, сообщалось, что Траян, не в состоянии перенести морское волнение, выса-

дился в Селинунте, в Киликии[89], где он лежит тяжело больной в доме одного купца. Второе письмо, секретное, извещало меня о его смерти, которую Плотина обещала мне как можно дольше скрывать, что давало мне выигрыш во времени. Я тут же отправился в Селинунт, приняв все необходимые меры, чтобы обеспечить надежность сирийских гарнизонов. Едва я успел тронуться в путь, как новое письмо официально сообщило мне о кончине императора. Завещание, в котором он назначал меня своим наследником, было только что отправлено в верные руки в Рим. Все то, о чем я десять лет лихорадочно мечтал, что высчитывал, обсуждал или таил про себя, свелось к посланию из двух строк, начертанных по-гречески уверенным и мелким женским почерком. Аттиан, ожидавший меня на набережной Селинунта, был первым, кто приветствовал меня, наградив императорским званием.

И вот здесь, на небольшом отрезке времени между высадкой больного и минутой его смерти, располагается одна из тех цепочек событий,

[89] КОММЕНТАРИЙ: 89

Киликия — область в восточной части южного побережья Малой Азии, в 333 г. до н. э. покоренная Александром Македонским и вместе с другими землями его наследников-диадохов вошедшая впоследствии в качестве самостоятельной провинции в состав Римской империи.

которые я совершенно бессилен восстановить и на которых тем не менее зиждется моя судьба. Эти несколько дней, проведенных Аттианом и женщинами в доме киликийского купца, навсегда определили мою жизнь; но с этими днями произойдет то же самое, что и с тем пополуденным часом на Ниле, о котором мне тоже ничего никогда не узнать — и как раз потому, что знать об этом мне было необходимо. У любого римского зеваки есть свое мнение по поводу этих эпизодов моей жизни, я же остаюсь на сей счет самым неосведомленным из смертных. Мои враги обвинили Плотину в том, что, воспользовавшись агонией императора, она заставила умирающего набросать несколько слов, которые отдавали мне власть. Еще более грубые клеветники живописали ложе с пологом, слабый свет лампы и врача Критона, который диктует последнюю волю Траяна голосом, подражающим голосу умершего. Не упускали случая вспомнить и о том, что прислужник императора Федим, который меня ненавидел и молчание которого мои друзья не сумели купить, весьма своевременно умер от злокачественной лихорадки на другой день после смерти своего господина. Во всех этих картинах насилия и интриг есть нечто такое, что поражает

воображение народа, да и мое тоже. Мне отнюдь не было бы неприятно, если бы несколько честных людей решились ради меня на преступление или если бы самоотвержение императрицы завело ее так далеко. Она понимала, сколь губительна для государства любая неопределенность в вопросе о власти, и я питаю к ней достаточно уважения, чтобы верить, что она пошла бы на необходимый подлог, если благоразумие, здравый смысл, общественные интересы и дружба побудили бы ее к этому. Документ, столь яростно оспариваемый моими недругами, у меня в руках, но я так и не могу решить, насколько подлинным было это последнее решение, продиктованное умирающим. Разумеется, я предпочел бы верить, что Траян, пожертвовав перед смертью личным предубеждением, сам, по своей доброй воле, передал власть тому, кого он в конечном счете признал самым достойным. Однако, если говорить честно, цель была для меня в данном случае гораздо важнее, чем средства ее достижения: главное, чтобы человек, пришедший к власти, мог потом доказать, что он ее заслужил.

Тело было сожжено на морском берегу вскоре после моего приезда; торжественное погребение должно было состояться в Риме. Почти никого не

было на очень скромной церемонии кремации; она произошла на рассвете и явилась последним эпизодом в ряду тех домашних забот, которыми женщины окружали Траяна. Матидия плакала горючими слезами; дрожавший от жара костра воздух затуманил черты Плотины. Спокойная, сдержанная, немного осунувшаяся после перенесенной лихорадки, она была, как всегда, ясна и невозмутима. Аттиан и Критон проследили за тем, чтобы все сгорело надлежащим образом. Легкий дымок растворился в бледном воздухе раннего, еще лишенного теней утра. Никто из моих друзей не возвращался к событиям тех дней, которые предшествовали смерти императора. Очевидно, они дали себе слово молчать; я же дал себе слово не задавать опасных вопросов.

В тот же день вдовствующая супруга императора отбыла со своим окружением в Рим. Я вернулся в Антиохию, сопровождаемый на всем пути приветствиями легионов. Странное спокойствие овладело мной; честолюбие, страх — все сейчас казалось далеким кошмаром.

Я давно уже решил, что за императорские права буду бороться до конца при любом повороте событий; акт усыновления все упростил. Моя собственная жизнь больше не занимала меня; я

снова мог думать о судьбах человечества.

TELLUS STABILITA
ЗЕМЛЯ,
ВНОВЬ ОБРЕТШАЯ ТВЕРДОСТЬ

Порядок вновь установился в моей жизни, но не в империи. Унаследованный мною мир походил на человека в зрелом возрасте, вполне еще крепкого (хотя опытный врач мог бы уже разглядеть едва заметные признаки старости), но только начинающего вставать на ноги после тяжелой болезни. Переговоры возобновились, отныне уже открыто; я повелел говорить везде, что сам Траян перед смертью поручил мне к ним приступить. Одним росчерком пера я отказался от опасных завоеваний — и не только в Месопотамии, где мы все равно не смогли бы удержаться, но и в Армении, стране слишком для нас непривычной и слишком удаленной; я сохранил ее для империи лишь как вассальное государство. Кое-какие помехи, из-за которых мирные переговоры могли бы затянуться на долгие годы, окажись эти проволочки выгодными для основных заинтересованных сторон, были устранены благодаря ловкости купца Опрамоаса, пользовавшегося у

сатрапов доверием. Я старался вести переговоры с тем пылом, который другие приберегают для поля брани, и чуть ли не силой принуждал своих партнеров к миру. Впрочем, они желали мира ничуть не меньше, чем я: парфяне мечтали о том, чтобы снова открыть торговые пути между нами и Индией. Прошло всего несколько месяцев после великих перемен, и я с радостью увидел, как по берегу Оронта[90] опять потянулись вереницы караванов; оазисы стали снова заполняться купцами; при свете костров, пылавших под котлами с едой, они обсуждали последние новости, а по утрам вместе со своими товарами увозили в неведомые страны и некоторую толику наших мыслей, наших слов и обычаев, которым предстояло завоевать земной шар и сделать это прочней и надежней, чем делают боевые легионы. В глубинах гигантского организма мира стало опять циркулировать золото, и так же неуловимо и быстро, как животворная кровь в артериях, опять заструились идеи; биение пульса вновь пробудилось в жилах земли.

Жар мятежа в свой черед тоже начал спадать. В Египте он достиг одно время такого накала,

[90] КОММЕНТАРИЙ: 90

Оронт — главная судоходная река римской провинции Сирии, на которой стояла и ее столица Антиохия.

что пришлось крайне спешно, до подхода наших частей, собрать крестьянское ополчение. Я сразу же поручил моему боевому товарищу Марцию Турбону навести там порядок, что он и выполнил с разумной твердостью. Но порядок на улицах был для меня всего только половиной дела, я хотел восстановить его по мере возможности и в умах, даже не столько восстановить, сколько раз и навсегда закрепить. Мое недельное пребывание в Пелузии[91] целиком ушло на то, чтобы внести равновесие в отношения между греками и евреями, этими извечными антагонистами. Я ничего не повидал из того, что хотел увидеть, — ни берегов Нила, ни александрийского Музея[92], ни статуй в храмах; с трудом урвал я одну ночь для увеселений в Канопе[93]. Шесть нескончаемо дол-

[91] КОММЕНТАРИЙ: 91

Город на средиземноморском побережье Египта.

[92] КОММЕНТАРИЙ: 92

Александрия — второй по величине и значению (после Рима) город Римской империи, основанный в 331 г. до н. э. Александром Македонским при впадении западного рукава дельты Нила в Средиземное море. В III–I вв. до н. э. при преемниках Александра египетских царях Птолемеях стал центром эллинистической культуры, развитие которой обеспечивалось огромной Александрийской библиотекой и Музеем — своеобразным научным учреждением, где жили и работали приглашенные со всего грекоязычного мира ученые. Их главная обязанность состояла в приведении в порядок и пополнении Александрийской библиотеки, в комментировании и исправлении хранившихся в ней рукописей.

[93] КОММЕНТАРИЙ: 93

Город, находившийся неподалеку от Александрии, соединенньш с ней каналом; славился своей роскошью, увеселительными заведениями и вольностью нравов. Канопой назвал Адриан большой архитектурно оформленный участок парка на своей Вилле в Тибуре.

гих дней прошли в кипящем котле трибунала[94], защищенного от наружной жары длинными, хлопавшими на ветру шторами из тонких деревянных планок. По ночам вокруг ламп с треском вились огромные комары. Я пытался доказать грекам, что они отнюдь не всегда вели себя мудро, а евреям — что они отнюдь не всегда действовали безупречно. Сатирические песенки, которыми простоватые греки изводили своих противников, не были ни на йоту умнее тех изощренных проклятий, которые раздавались в еврейских кварталах. У этих двух народов, живших рядом, бок о бок в течение веков, никогда не было ни любопытства, чтобы получше узнать друг друга, ни достаточного такта, чтобы друг с другом ужиться. Сутяги, которые, обессилев, покидали наконец поздней ночью здание трибунала, заставали меня на рассвете все на том же месте за разбором мерзкой кучи ложных свидетельств; исколотые кинжалами трупы, которые мне представляли в качестве вещественных доказательств, часто оказывались выкраденными у бальзамировщиков телами людей, умерших от болезней в своей постели. И все же каждый час затишья был для

[94] КОММЕНТАРИЙ: 94

Трибунал в данном случае означает здание в центре лагеря легионеров, где находилась резиденция командующего.

меня победой, правда непрочной, как всякая победа, а каждый решенный спор — залогом на будущее. Меня мало тревожило то, что достигнутое примирение было примирением внешним, навязанным извне и, скорее всего, временным: я знал, что добро, как и зло, — дело привычки, что временное продлевается, что внешнее проникает внутрь и что маска становится в конечном счете лицом. Поскольку ненависть, глупость и нелепость легко пускают в душах прочные корни, я не видел причин, по которым ясность ума, доброжелательность и справедливость не могли бы укореняться так же прочно и глубоко. Порядок и спокойствие на границах будут немногого стоить, если я не смогу убедить старьевщика-еврея и колбасника-грека, что им нужно мирно жить друг с другом.

Мир был моей целью, но отнюдь не кумиром; мне неприятно слово «идеал», потому что оно уводит от реальности. Я не раз думал о том, как хорошо было бы довести свой отказ от завоеваний до логического конца и уйти из Дакии, и я наверняка сделал бы это, если бы, не совершая безрассудства, мог полностью порвать с политикой моего предшественника; однако лучше было бы разумно использовать все те выигрыши,

которые получены были до моего прихода к власти и которые уже стали достоянием истории. Превосходнейший Юлий Басс, первый наместник этой новой провинции, умер на своем посту, как мог погибнуть во время службы на сарматских границах и я, — умер под непосильным бременем неблагодарной работы, состоящей в том, чтобы непрестанно умиротворять страну, которую все уже сочли покоренной. Я распорядился устроить ему в Риме торжественные похороны, которых обычно удостаиваются только императоры; эти почести, оказанные доброму слуге, негласно принесенному в жертву, были последним моим протестом против политики завоеваний: мне уже не нужно было ее обличать, после того как я обрел право просто с нею покончить. Но в Мавритании, где агенты Лузин Квиета сеяли смуту, мне все же пришлось применить военную силу; поначалу эти карательные меры не потребовали моего присутствия. Так же обстояли дела и в Британии, где каледонцы воспользовались уходом наших частей, переброшенных в Азию, и перебили малочисленные гарнизоны, оставленные на границе. Юлий Север поспешил туда отправиться, в ожидании, когда я, наведя порядок в римских делах, тоже смогу предпринять это дальнее путеше-

ствие. Но я считал своим долгом собственнолично завершить Сарматскую войну, где все оставалось еще в неопределенном состоянии, бросить туда необходимое количество войск, чтобы наконец покончить с грабительскими набегами варваров. Ибо здесь, как и везде, я не желал подчиняться каким-то правилам. Я принимал войну как одно из средств достижения мира, если переговоры не приводили к нужному результату; так врач решается произвести прижигание после того, как испробованы все другие средства. Все очень непросто в человеческих делах, и мое мирное правление тоже имело свои периоды войны, так же как в жизни великого полководца, хочет он того или нет, случаются и мирные перерывы.

Прежде чем вновь отправиться на север для окончательного урегулирования сарматского конфликта, я еще раз встретился с Квиетом. Кровавый палач Кирены был все так же опасен. В числе моих первых актов был роспуск его нумидийских отрядов; но за ним еще оставались и место в Сенате, и командная должность в регулярной армии, и те бескрайние, покрытые песками западные владения, которые он мог в случае необходимости превратить и в убежище, и в плацдарм. Он пригласил меня на охоту в Мизию, в

густые леса, и искусно подстроил несчастный случай, который, будь у меня чуть поменьше везенья и физической ловкости, мог стоить мне жизни. Я почел за лучшее ничего не заметить, запастись терпением, выждать. Недолгое время спустя, в Нижней Мёзии, когда сарматские князьки капитулировали и я уже готовился возвратиться в Италию, я, обменявшись со своим бывшим опекуном шифрованными депешами, узнал, что Квиет, поспешно вернувшись в Рим, вступил в тайный сговор с Пальмой. Наши враги занялись укреплением своих позиций и перегруппировкой сил. Нечего было надеяться на какую бы то ни было безопасность, пока против нас выступали эти два человека. Я написал Аттиану, приказывая ему действовать без промедления[95]. Старец нанес удар с быстротою молнии. Превысив данные ему полномочия, он разом избавил меня от всех моих главных врагов. В один день и почти в один час в Байях был казнен Цельз, на своей вилле в Террацине — Пальма, в Фавенции, на пороге

[95] КОММЕНТАРИЙ: 95

Напомним, что Аттиан был в это время префектом претория, т. е. командующим особым корпусом, расквартированным непосредственно в Риме, предназначенным для охраны императоров и уничтожения их врагов. Поскольку в качестве последних выступали чаще всего сенаторы, префект претория не мог принадлежать к их числу и назначался только из всадников.

своего загородного дома, — Нигрин. Квиет был убит в дороге, на подножке своей колесницы, когда он возвращался в город после переговоров со своими сообщниками. По Риму прокатилась волна ужаса. Сервиан, мой зять и стародавний недруг, который внешне смирился с моей счастливой судьбой, но втайне алчно ожидал моих промахов, ощутил, должно быть, прилив такой сладострастной радости, какой не испытал за всю свою жизнь, — все мрачные слухи, ходившие обо мне, подтверждались[96].

Эти вести я получил на палубе корабля, увозившего меня в Италию. Они ошеломили меня. Человек всегда чувствует облегчение, когда избавляется от противников, но мой опекун отнесся к отдаленным последствиям своего деяния с

[96] КОММЕНТАРИЙ: 96

Рассказанный здесь эпизод действительно во многом обусловил восприятие Адриана современниками и последующую традицию. Вина четырех консуляриев никак не была доказана; убиты они были без суда и следствия; в то, что инициатива здесь принадлежала префекту претория и он действовал без прямого приказа императора, мало кто верил. Поступая таким образом, Адриан нарушал традицию: со времен Нервы было принято, чтобы император, принимая власть, давал клятву не казнить сенаторов. И тем не менее были убиты выдающиеся деятели из окружения Траяна, который был весьма популярен и только что обожествлен. Тягостное впечатление от убийства усиливалось слухами о том, что завещание Траяна, согласно которому власть передавалась Адриану, было поддельным; Адриан вызвал также раздражение высших слоев римского общества, демонстративно отказавшись от завоеваний Траяна на Востоке. Все это очень осложнило положение нового императора и заставило его строить свои отношения с Сенатом

так, чтобы смыть пятно, легшее на него после убийства консуляриев: он поклялся в Сенате, что не отдавал приказа о казни, повторил обет не казнить сенаторов ни при каких условиях (нарушил он его лишь в конце жизни); включение Аттиана в число сенаторов, внешне почетное, автоматически лишало его права командовать преторием и означало устранение его с политической арены; конфискованное имущество убитых было передано в государственную казну, которой ведал Сенат, а не в императорский фиск. Из косвенных свидетельств известно, что Адриан пытался оправдаться и в своих несохранившихся мемуарах. Определенную роль во всем этом, помимо политических мотивов, сыграли противоречивость, неуравновешенность и импульсивность натуры Адриана.

поистине стариковской невозмутимостью: он забыл, что мне предстояло больше двадцати лет влачить за собой шлейф этих злодейств. Я думал о проскрипциях Октавиана, которые навсегда запятнали память Августа, о первых преступлениях Нерона, за которыми последовали новые преступления. Я вспоминал о последних годах Домициана, этого вполне заурядного, не хуже других, человека, которого страх постепенно лишил всего человеческого и который умер у себя во дворце, как загнанный охотниками дикий зверь в чаще леса. Моя репутация подверглась серьезному испытанию: первая строка будущей надписи, мне посвященной, уже содержала несколько глубоко врезанных в камень слов, которых мне никогда не стереть. Сенат, это большое и такое слабое тело, становившееся, однако, могучим всякий раз, как оно испытывало давление, никогда не забудет о том, что четверо людей, вышедших из его рядов, были без суда и следствия казнены по моему приказу; трое интриганов и один жестокий палач отныне будут зачислены в разряд мучеников. Я тут же уведомил Аттиана, что ему надлежит присоединиться ко мне в Брундизии, чтобы дать мне отчет в своих действиях.

Он ждал меня возле порта, в одной из комнат

того постоялого двора, обращенного окнами на восток, где некогда умер Вергилий. Хромая, он подошел к порогу, чтобы встретить меня, — у него был приступ подагры. Как только мы остались одни, я разразился упреками: правление, которое мне хотелось сделать образцом умеренности, началось четырьмя казнями, из которых необходимой была только одна, к тому же он не потрудился обставить их законными формальностями, а это чревато серьезными осложнениями. Подобное злоупотребление силой тем больше будет ставиться мне в вину, чем больше я буду в дальнейшем стараться проявлять милосердие, добросовестность и справедливость; все это будет использовано для того, чтобы доказать, что все мои мнимые добродетели — всего лишь серия масок, и чтобы создать обо мне легенду как о самом обыкновенном тиране; она будет сопровождать меня, пока существует История. Я признавался в терзавшем меня страхе: я чувствовал, что наряду с прочими человеческими недостатками мне свойственна и жестокость; я разделял ходячее мнение, которое утверждает, что одно преступление влечет за собой другое, и передо мной вставал образ зверя, однажды вкусившего крови… Старый друг, чья преданность

всегда казалась мне безупречной, злоупотребил моим доверием, воспользовавшись слабостями, которые, как он считал, были мне свойственны: якобы оказывая мне услугу, он свел свои личные счеты с Нигрином и Пальмой. Он бросил тень на дело установления мира, которому я себя посвятил; он сделал для меня возвращение в Рим сущим кошмаром.

Старик попросил разрешения сесть, положил на табурет свою обернутую бинтами ногу. Продолжая говорить, я набросил одеяло на его больную ступню. Он слушал меня с улыбкой учителя грамматики, удовлетворенного тем, как ученик справляется с трудным уроком. Когда я закончил, он неторопливо осведомился, как я сам рассчитывал поступить с врагами режима. В случае надобности можно будет всегда доказать, что эти четверо замышляли меня убить — во всяком случае, они были заинтересованы в моей смерти. Любой переход от одного царствования к другому влечет за собой операцию чистки; в данном случае он взял ее на себя, чтобы мои руки оставались незапятнанными. Если общественное мнение потребует принести виновников в жертву, нет ничего проще, чем лишить его поста префекта преторианцев. Он предвидел эту меру и советует

мне ее принять. Если для успокоения Сената этого окажется мало, он готов отправиться в ссылку.

Аттиан был моим опекуном, у которого я мог клянчить деньги, был советчиком в трудные дни, верным исполнителем всех моих поручений, но сейчас я впервые с интересом всматривался в это лицо с отвислыми, тщательно выбритыми щеками, в изуродованные болезнью руки, спокойно лежащие на набалдашнике эбеновой трости. Я достаточно хорошо знал всю жизнь этого благополучного человека, знал его жену, которой он дорожил и здоровье которой требовало неусыпных забот, знал его замужних дочерей, знал их детей, на которых он возлагал надежды, скромные и в то же время достаточно серьезные, как в свое время и на свою собственную карьеру; знал я и о его любви к изысканным блюдам, о его пристрастии к греческим камеям и юным танцовщицам. Он отдавал мне предпочтение всегда и во всем, его первой заботой на протяжении тридцати лет было защищать своего воспитанника, а позднее служить ему. И для меня, предпочитавшего своей драгоценной персоне разве лишь идеи, планы и представления о том, каким я должен стать в будущем, для меня в этой преданности одного человека другому было

нечто волшебное, непостижимое. Такой самоотверженности недостоин никто, и я по-прежнему не в состоянии ее себе объяснить. Я последовал его совету: Аттиан лишился своей должности. Его чуть заметная улыбка показала мне, что он ожидал, что я поймаю его на слове. Он был уверен, что даже искреннее сочувствие старому другу не помешает мне принять наиболее благоразумное решение; тонкий политик, он был бы огорчен, если б я поступил подругому. Не нужно преувеличивать серьезность его опалы: после нескольких месяцев, когда он пробыл в тени, мне удалось ввести его в Сенат. Это была наивысшая почесть, какую я мог воздать человеку всаднического сословия. У него была безмятежная старость богатого римского всадника, пользующегося влиянием благодаря превосходному знанию семейных дел и юридических отношений; я часто бывал у него в гостях на вилле в Альбинских горах. Однако я не в силах забыть, что, как Александр накануне битвы, я совершил перед въездом в Рим жертвоприношение, и среди тех, кого я принес в жертву, был и Аттиан.

Аттиан оказался прав: золото уважения в своем чистом виде слишком непрочный металл, если к нему не добавить чуточку страха. Так случилось

и с убийством четырех консуляриев, и с историей подложного завещания: честные души и благородные сердца отказывались верить в мою к этому причастность, циники же подозревали самое худшее, но тем громче мною восторгались. Рим успокоился, когда стало ясно, что я больше не держу ни на кого зла; радость, охватившая каждого, когда он почувствовал себя в безопасности, помогла быстро забыть об убитых. Людей восхищала моя кротость, потому что они считали ее целенаправленной, заранее вычисленной, сознательно предпочтенной насилию и жестокости — качествам, проявить которые мне было бы, по их мнению, столь же легко; люди восхваляли мое простодушие, ибо видели в нем некий расчет. Добродетели Траяна свидетельствовали о его скромности; мои добродетели изумляли всех куда больше; еще немного, и в них стали бы видеть порочную изощренность. Я был тем же человеком, что и прежде, но то, что раньше презиралось, теперь представлялось возвышенным; моя необычайная вежливость, в которой грубые умы усматривали проявление слабости, чуть ли не трусости, воспринималась теперь как нарядная и яркая оболочка силы. До небес превозносились и терпеливость, с какой я выслушивал

просителей, и мои частые посещения больных в лагерных госпиталях, и дружеская непринужденность моих бесед с ветеранами, вернувшимися к домашним очагам. Но ведь все это ничуть не отличалось от моей обычной манеры обращения со слугами и арендаторами на виллах. У каждого из нас гораздо больше достоинств, чем это принято думать, но обнаружить их позволяет только успех — может быть, потому, что с этого момента люди начинают ждать, когда мы с нашими достоинствами расстанемся. Если людей удивляет, что владыка мира не ленив, не надменен и не жесток, значит, они тем самым признаются в собственных слабостях и пороках.

Я отказался от всех почетных званий. В первый месяц моего правления Сенат без моего ведома наградил меня целым букетом эпитетов, которые пышной бахромой украшают шею иных императоров. Дакийский, Парфийский, Германский… Траян обожал эти сладостные раскаты военных мелодий, похожие на кимвалы и барабаны парфянских полков; они вызывали в его душе радостный отклик; меня же они только оглушали и сердили. Я заставил все это отменить; временно отказался я и от прекрасного звания Отца Оте-

чества[97], который Август принял тоже не сразу и достойным которого я себя еще не считал. Так же я поступил и с триумфом; было бы смешно на него соглашаться, если единственной моей заслугой в войне, по поводу которой он затевался, было то, что я положил ей конец. Те, кто увидел в моих отказах проявление скромности, ошибались, как ошибались и те, кто упрекал меня в гордыне. Мой расчет строился не столько на том, какое впечатление произведет выбранная мною позиция на других, сколько на том, какие преимущества она даст мне. Я хотел, чтобы мой престиж был моим личным престижем, чтобы он был неотделим от меня, чтобы его можно было измерять лишь гибкостью моего собственного ума, моей силой, моими поступками. Почетные

---

[97] КОММЕНТАРИЙ: 97

В основе ранней империи лежало противоречие между объективно исторически обусловленной тенденцией к превращению римского государства из городской республики в космополитическую мировую монархию и тенденцией консервативной, обусловленной стремлением императоров опереться через голову Сената на народные массы столицы с их чисто римскими традициями. Одним из проявлений последней тенденции была стилизация власти императора над народом под власть отца семейства над детьми, которая по древнему римскому праву была неограниченной. В порядке такой стилизации император Август и принял во 2 г. до н. э. титул Отца Отечества. Неудивительно, что, формируя свою политику, целиком направленную на растворение гражданской общины города Рима в римско-греко-восточной империи, Адриан отказался от этого титула (но принял его в конце жизни).

звания, если им суждено прийти, пусть придут позже, и это будут звания другие, свидетельства более сокровенных побед, говорить о которых я пока не решался. Меня одолевала в ту пору другая забота: с наибольшею полнотой стать — или быть — Адрианом.

Меня обвиняют в том, что я мало люблю Рим. А он был так прекрасен в течение этих двух лет, когда государство и я примеривались друг к другу, он был прекрасен, этот город с узкими улицами, с запруженными толпой площадями, с кирпичами цвета старческого тела. Увиденный снова, после Востока и Греции, Рим казался окутанным какой-то странностью, которую римлянин, рожденный и выросший в Городе, должно быть, не замечал. Я заново привыкал к его влажным, в темной копоти, зимам, к его африканскому летнему зною, умеряемому свежестью водопадов Тибура и озер Альбы, к его почти деревенскому люду, который на провинциальный манер привязан к своим семи холмам, но которому честолюбие, жажда наживы, превратности побед и поражений, постепенно позволили взять верх над всеми народами мира — над татуированным негром, над обросшим шерстью германцем, над худощавым греком и тучным жителем Востока.

Я чуть-чуть избавился от своей прежней изнеженности, стал посещать общественные бани в часы, когда их заполняет простонародье; приучил себя выносить Игры, в которых я прежде видел только жестокую и ненужную трату сил. Мнение мое не изменилось: я ненавидел эти массовые убийства, в которых животное не имеет ни одного шанса выжить; но я постепенно стал понимать их обрядовое значение, их трагическое очищающее воздействие на невежественную толпу; я хотел, чтобы эти празднества сравнялись своим блеском с празднествами Траяна, но проводились с большим мастерством и более упорядоченно. Я заставил себя находить прелесть в воинском искусстве гладиаторов, поставив, однако, условием, чтобы никого не принуждали заниматься этим ремеслом вопреки его воле. Я научился с высоты трибуны Цирка вести через герольдов переговоры с толпой, требовать от нее тишины с почтительностью, которую она воздавала мне сторицей, разрешать ей всегда только то, на что она имела право надеяться, и никогда не отказывать ей, не объяснив причину отказа. Я не приносил с собой в императорскую ложу книги, как это делаешь ты: простых людей оскорбляет, когда им кажется, что мы гнушаемся

их удовольствиями. Бывало, что зрелище вызывало у меня отвращение, но усилие, которое я делал над собой, чтобы его вынести, оказывалось для меня опытом более ценным, нежели чтение Эпиктета[98].

Мораль — условность приватная; но соблюдение приличий — дело общественное; вольность поведения, чересчур бросающаяся в глаза, всегда производила на меня впечатление прилавка с недоброкачественным товаром. Я запретил смешанные бани[99], являвшиеся причиной постоянных драк; я приказал расплавить и вернуть в государственную казну великолепный золотой сервиз, заказанный Вителлием[100]. Многие прежние цезари снискали себе позорную репутацию охотников за чужим наследством[101], я

---

[98] КОММЕНТАРИЙ: 98

Эпиктет (60-140 гг.) — философ-стоик, раб по происхождению, впоследствии отпущенный на волю и учивший в Никополе в Северной Греции, куда его приезжали слушать и люди из высшей римской аристократии. Смысл его учения — в выработке независимости от внешних обстоятельств; к этой цели человека должны были привести два свойства, которые ему надлежало развить в себе, — терпение (сдержанность, воздержание) и неучастие, способность оставаться в стороне.

[99] КОММЕНТАРИЙ: 99

Смешанные бани, в которых одновременно и совместно мылись мужчины и женщины, были ярким проявлением распада традиционной римской морали, сопровождавшего растворение гражданской общины в космополитической империи. Атмосфера, здесь царившая, воссоздана в эпиграммах Марциала (I, 23; III, 51; VI, 93). Борьба Адриана со смешанными банями была безуспешна, судя по тому, что уже при

Марке Аврелии понадобилось новое запрещение, а при Александре Севере (222–235 гг.) еще одно.

[100] КОММЕНТАРИЙ: 100

Император Авл Вителлий, правивший с весны до декабря 69 г. н. э., отличался мотовством и обжорством (см. Тацит: История, II, 62; 91). За несколько месяцев своего правления он растратил фантастическую сумму — 200 млн. сестерциев.

[101] КОММЕНТАРИЙ: 101

Псевдопатриархальные отношения, связывавшие императора и его окружение, видимость которых правители I в. старались создать, выражались, в частности, в обыкновении отказывать по завещанию часть имущества государю. На самом деле это была одна из худших форм моральной деградации, при которой завещатель как бы откупался от преследования властями его наследников, а император, по существу, занимался вымогательством. Особенно усердствовали в этом Нерон и Домициан. Траян положил конец этой позорной практике, Адриан, Антонин Пий и Марк Аврелий последовали его примеру.

поставил себе за правило не принимать ни в пользу государства, ни для себя лично никакого имущества, на которое могли бы претендовать прямые наследники. Я старался сократить непомерно разросшееся число рабов императорского дома и, главное, приструнить тех из них, кто начинал мнить себя ровней достойнейшим гражданам, позволяя себе порой даже оскорблять их, — как-то один из моих рабов сказал дерзость сенатору, и я распорядился дать этому человеку пощечину. Моя ненависть к беспорядку дошла до того, что я велел в Цирке, при огромном стечении народа, наказать плетьми расточителей, злостно уклоняющихся от уплаты долгов. Дабы избежать смешения рангов и званий, я настоял на том, чтобы сенаторы носили вне дома тогу с пурпуровой полосой — вещь весьма неудобную, как и всякая парадная одежда, носить которую я и сам принуждал себя только в Риме. Я вставал с места, принимая своих друзей; я проводил аудиенции стоя, ибо выслушивать людей сидя или лежа считал бесцеремонностью. Я приказал уменьшить неслыханное множество конных повозок, загромождающих наши улицы, ибо это излишество скорости само себя подрывает и в результате пешеход опять получает превос-

ходство над сотнями экипажей, теснящихся на протяжении всей Священной дороги[102]. Я взял обыкновение отправляться в гости в носилках; меня доставляли этим манером прямо в дом, и я избавлял хозяина от неприятной обязанности встречать и провожать меня на улице, под палящими лучами римского солнца или под пронизывающими порывами ветра.

Я вновь разыскал своих родственников; я чувствовал нежность к моей сестре Паулине, и даже Сервиан мне уже был не так противен, как прежде. Моя теща Матидия привезла с Востока первые симптомы своей смертельной болезни; я старался, как мог, отвлечь ее от страданий с помощью домашних застолий, где скромный глоток вина быстро опьянял почтенную матрону, сохранившую наивность юной девушки. Отсутствие моей жены, укрывавшейся у себя в деревне с очередным приступом дурного настроения, ничуть не омрачало этих семейных радостей. Пожалуй, она была единственным человеком, у кого я так и не завоевал симпатии; должен, правда, признать,

[102] КОММЕНТАРИЙ: 102

Священной дорогой называлась мощеная полоса, проходившая по центральной площади столицы — римскому Форуму. То был путь, по которому двигались парадным маршем войска, участвовавшие в триумфе полководца-победителя, и другие торжественные шествия.

что я никогда особенно не старался в этом преуспеть. Порой я навещал маленький домик, в котором вдовствующая императрица спокойно наслаждалась размышлениями и книгами. Здесь я вновь обретал прекрасное молчание Плотины. Она неприметно и тихо уходила в тень; этот сад, эти светлые комнаты все больше становились прибежищем музы, храмом императрицы-богини[103]. Ее дружба оставалась по-прежнему требовательной, но ее требования отличались мудрым благоразумием.

Я опять стал видеться с друзьями; мне на долю выпало редкое удовольствие после долгой разлуки возобновить наши встречи, заново оценить этих людей и дать им возможность заново оценить меня. Виктор Воконий[104], давний мой товарищ по забавам и литературным трудам,

---

[103] КОММЕНТАРИЙ: 103

После 111 г. в эмиссиях Траяна появляются монеты с именем Плотины в сопровождении эпитета «Августа» и иногда в сочетании с именем богини Весты. Храм в ее честь был отстроен Адрианом лишь после 125 г.

[104] КОММЕНТАРИЙ: 104

Этот человек известен только из произведения римского писателя II в. Луция Апулея «Апология», в 11-й главе которой сказано: «Божественный Адриан, почтив стихами могильный холм своего друга поэта Вокония, написал так: „Был ты бесстыден в стихах, скромен душою и чист“». Распространенное отождествление его с Воконием Романом, адресатом ряда писем Плиния Младшего, не основано ни на чем, кроме его испанского происхождения, и не должно приниматься во внимание.

умер; я взялся сочинить надгробную речь; многие улыбались, когда я в числе достоинств покойного упомянул его нравственную чистоту, что опровергалось его собственными стихами. Но здесь вовсе не было грубого лицемерия, как это могло показаться: наслаждение, которому предаются со вкусом, представлялось мне целомудренным. Я приводил в порядок Рим, словно это был дом, хозяин которого, намереваясь со временем его покинуть, не хотел бы, чтобы дом от этого пострадал; новые мои помощники показывали, на что они способны; примирившиеся ныне противники ужинали на Палатинском холме с теми, кто был их друзьями в трудные времена. Нератий Приск набрасывал у меня на столе проекты законодательных реформ; архитектор Аполлодор объяснял нам свои чертежи; Цейоний Коммод, богатейший из патрициев, отпрыск древнего этрусского рода, в чьих жилах текла чуть ли не царская кровь, знаток вин и людей, прикидывал вместе со мной, какой тактики мне лучше держаться на ближайшем заседании Сената.

Его сын, Луций Цейоний, которому в ту пору едва исполнилось восемнадцать лет, оживлял эти сборища, которые я хотел бы видеть строгими, своим веселым изяществом юного принца. У него

было много странных и милых причуд: страсть готовить для своих друзей редкие блюда, изощренная склонность украшать все вокруг цветами, безумная тяга к азартным играм и маскарадным костюмам. Его Вергилием был Марциал; с очаровательным бесстыдством декламировал Луций его исполненные сладострастия стихи. Я оказался щедр на посулы, что потом немало тяготило меня; этот юный танцующий Фавн отнял у меня шесть месяцев жизни.

На протяжении последующих лет я так часто терял Луция из виду и снова встречал, что образ его, который сохранился у меня в памяти, состоит из обрывков наложенных друг на друга воспоминаний и, должно быть, совсем не соответствует ни одной фазе его столь быстро пронесшейся жизни. Дерзкий законодатель римской моды; начинающий оратор, прилежно твердивший стилистические упражнения и спрашивающий моего мнения по поводу трудного пассажа; молодой командир, нервно теребящий свою редкую бородку; заходившийся кашлем больной, от постели которого я не отходил до самого его смертного часа, — все это было много позже. Образ Луция-отрока соприкасается с более потаенными уголками памяти: лицо, тело, блед-

но-розовый алебастр — живое подобие любовных посланий Каллимаха, ясных и обнаженных строк поэта Стратона[105].

Но я торопился покинуть Рим. Мои предшественники чаще всего уезжали из Рима для того, чтобы отправиться на войну; для меня же вне его стен начинались все мои великие замыслы, моя мирная деятельность, сама моя жизнь.

Оставалось свершить последнее дело — воздать Траяну триумф, идея которого неотвязно преследовала его, когда он был уже безнадежно болен. Триумф приличествует, пожалуй, только умершим. Пока мы живы, всегда находятся люди, которые готовы поставить нам в упрек наши слабости, как некогда Цезарю — его плешивость и его любовные связи. Но тот, кто умер, имеет право на это чествование, на эти несколько часов шумного великолепия перед веками славы и тысячелетиями забвения. Судьба покойного ограждена от превратностей; даже его поражения обретают пышность побед. Последний триумф

---

[105] КОММЕНТАРИЙ: 105

Каллимах (род. ок. 310 г. до н. э.) — известный поэт и сотрудник (по другой версии — руководитель) Александрийской библиотеки, более всего известный как автор эпиграмм. Стратон — греческий поэт, современник Адриана. Автор эротических эпиграмм в традициях александрийской школы. Места романа, прокомментированные в примечаниях 104 и данном, характеризуют литературные вкусы Адриана, тяготевшего к греческой легкой поэзии эротического содержания.

Траяна прославлял не столько его успехи в борьбе с парфянами, довольно, впрочем, сомнительные, сколько то прекрасное напряжение сил, каким была вся его жизнь. Мы собрались для того, чтобы почтить императора, самого лучшего из всех, кого после одряхления Августа знал Рим, наиболее ревностно относившегося к своему труду, наиболее честного и наименее несправедливого. Его недостатки теперь стали теми неповторимыми черточками, благодаря которым мы признаем тождество мраморного бюста с тем, кто послужил ему моделью. Душа императора воспаряла к небесам, возносимая неподвижной спиралью колонны Траяна[106]. Мой приемный отец становился богом, он занимал свое место в ряду тех воинственных воплощений бессмертного Марса, что из века в век сотрясают и обновляют наш мир. Стоя на балконе Палатинского дворца, я мысленно взвешивал свое несходство с Траяном и настраивал себя на достижение более мирных целей. Я начинал уже грезить о власти, напоми-

[106] КОММЕНТАРИЙ: 106

В ознаменование своей победы над даками Траян соорудил в 112 г. в центре нового грандиозного форума, носившего его имя, мемориальную колонну. После его смерти ей был придан характер памятника императору. По всему стволу колонны снизу вверх шла лента из 125 рельефов, воспроизводивших в хронологической последовательности памятные эпизоды Дакийских войн.

нающей ту, какой обладают олимпийские боги.

Рим находится уже не в Риме — он или погибнет, или сравняется в конце концов с половиной мира[107]. Эти крыши, эти террасы, эти дома, которые закатное солнце румянит таким прекрасным розовым светом, больше не опоясаны боязливо крепостными стенами, как во времена наших царей; добрую часть этих укреплений я сам возвел заново вдоль германских лесов и британских ланд. Всякий раз, как я видел издалека, за поворотом залитой солнцем дороги, какой-нибудь греческий акрополь и вокруг него город, в своем совершенстве подобный цветку и органично соединенный со своим холмом, как цветочная чашечка со своим стеблем, я ощущал, что это редчайшее растение ограничено самим

[107] КОММЕНТАРИЙ: 107

На нескольких следующих страницах сформулированы в их единстве и взаимной обусловленности основные исторические характеристики Адрианова правления и главная идея романа. Принципат Адриана (вместе с принципатом его непосредственного преемника — Антонина Пия) образует высшую фазу той эпохи (96-180 гг.), когда Римской державой правили императоры династии Антонинов, ее часто называют Золотым веком (см. название следующей части романа). М. Юрсенар указывает на три идеи, господствовавшие в эту эпоху и основанные на упразднении былых противоречий: единство империи и уравнивание провинций со столицей; равновесие традиции и развития; создание системы права, еще опирающегося на неписаные общинные нормы народного мышления и уже формализованного, всеобщего, исключающего личный и местный произвол. Эти исторические характеристики осмысляются в романе как особый тип бытия, в котором примиряются все противоречия и которое настолько совершенно, настолько

насыщено действием, мыслью и страстью, что не может длиться долго и должно разрешиться смертью: не забудем, что роман о солнечной полноте жизни написан от лица умирающего.

своим совершенством и во всей своей законченности может существовать лишь в данной точке пространства и на данном отрезке времени. Единственная надежда распространиться дальше заключалась для него, точно так же как и для растения, в семенах — в посеве идей, которыми Греция оплодотворила весь мир. Но Рим более грузен и более груб, он без всякого плана раскинулся по берегам реки, он искони устремлен к захвату широких просторов — город превратился в государство. Мне бы хотелось, чтобы государство расширилось еще больше и определилось бы как порядок мира, порядок вещей. Достоинствам, которых было достаточно для малого города на семи холмах, нужно придать большую гибкость и большее многообразие, чтобы они сделались годными для всей земли. Риму, который я первым решился назвать Вечным городом, предстояло все больше и больше уподобляться богиням-матерям азиатских культов, давшим жизнь юношам и жатвам и прижимающим к своей груди львов и пчелиные ульи. Но всякое творение рук человеческих, притязающее на вечность, должно жить в согласии с изменчивым ритмом природных стихий, применяться ко времени звезд. Наш Рим — это уже не пастушеское селение времен древ-

него Эвандра[108], чреватое великим грядущим, которое отчасти стало уже прошлым; хищный Рим времен Республики выполнил свою роль; буйная столица первых цезарей сама теперь жаждет остепениться; придут и другие Римы, чей облик мне трудно себе представить, но чьему становлению я буду способствовать. Когда я посещал города древние, священные, но так и оставшиеся в прошлом и ныне уже ничего не значащие для человечества, я обещал себе избавить мой Рим от окаменевшей судьбы Фив, Вавилона и Тира. Он вырвется из своего каменного тела; на идеях государственности, гражданственности, республиканских добродетелей он воздвигнет более надежный оплот своего бессмертия. В странах пока еще диких, на берегах Рейна, Дуная или Батавского моря[109], при виде любой огражденной частоколом деревни я вспоминал камышовую хижину, где, насытившись молоком волчицы, спали на куче навоза наши близнецы. Эти будущие города воспроизведут Рим. Над телами

---

[108] КОММЕНТАРИЙ: 108

Легендарный основатель первого поселения на Палатинском холме на месте будущего Рима, научивший дикое население этих мест письму и искусствам,

[109] КОММЕНТАРИЙ: 109

Имеется в виду Северное море.

народов и племен, над случайностями географии и истории, над хаосом требований предков и богов мы должны, ничего не разрушая, навсегда утвердить единство человеческого поведения, основанное на мудром опыте. Рим будет продолжен каждым маленьким городком, власти которого заботятся о проверке точности весов у торговцев, об уборке и освещении улиц, об искоренении беспорядков, лени, страха и несправедливости, а также о разумном применении законов. Рим погибнет не раньше, чем падет последний город людей.

Humanitas, Felicitas, Libertas (гуманнсть, счастье, свобода) — эти прекрасные слова, которые выбиты на монетах моего царствования, придуманы не мной. Любой греческий философ, почти каждый образованный римлянин хочет видеть мир таким же, каким он грезится мне. Однажды я слышал, как Траян, столкнувшись с каким-то несправедливым, в силу его чрезмерной категоричности, законом, вскричал, что тот больше не соответствует духу времени[110]. Я бы хотел быть первым из тех, кто сознательно подчинит этому духу времени все свои действия, претворит его в

[110] КОММЕНТАРИЙ: 110

Подлинные слова Траяна (см. в сборнике писем Плиния Младшего в книге X, письма 55 и 97.)

нечто реальное, отличное от туманных мечтаний философа или смутных порывов доброго государя. Я благодарил богов, дозволивших мне жить в эпоху, когда основная задача заключается в том, чтобы осторожно переделывать мир, а не извлекать из хаоса еще не оформившуюся материю и не ложиться на труп, дабы пытаться его воскресить. Я поздравлял себя с тем, что наше прошлое было достаточно долгим, чтобы обогатить нас примерами, и недостаточно тяжким, чтобы мы были раздавлены этим грузом; что развитие нашей техники дошло до уровня, облегчающего соблюдение гигиены в городах, но не перешло еще за черту, после которой человек оказывается погребенным под ворохом бесполезных приобретений; что наши искусства, эти деревья, уже немного уставшие от обилия собственных плодов, еще в состоянии приносить замечательные урожаи. Я радовался тому, что наши культы, довольно свободные и весьма почитаемые, очищенные от всякой непримиримости и жестокой обрядности, таинственными путями приобщают нас к древнейшим грезам человека и земли, но не препятствуют нам в трезвом объяснении фактов и рациональном толковании поступков людей. Мне нравилось, наконец, и то, что сами

эти слова о Гуманности, Свободе и Счастье не успели еще обесцениться от слишком частого их употребления.

Я знаю, что любая попытка облегчить человеческую участь наталкивается на возражение: люди, мол, этого недостойны. Но я без труда его отметаю: пока мечта Калигулы остается неосуществимой и весь человеческий род невозможно свести к однойединственной, подставленной под нож голове, мы вынуждены терпеть людей, укрощать их, использовать в своих целях[111]; и, конечно же, нам выгодно приносить им пользу. Мои поступки основывались на ряде наблюдений, которые я издавна производил над самим собой: любое вразумительное объяснение всегда меня убеждало, любая учтивость покоряла меня, переживаемое мною счастье почти всегда делало меня мудрым. И я пропускал мимо ушей благонамеренные речи тех, кто старался уверить меня, будто счастье размягчает человека, будто свобода его расслабляет, а гуманное отношение портит того, с кем мы гуманно обходимся. Возможно,

[111] КОММЕНТАРИЙ: 111

Гай Калигула (37–41 гг.) — римский император, отличавшийся жестокостью и неуравновешенностью. Римские историки передавали фразу, будто бы им сказанную: «О, если бы у римского народа была только одна шея!»

так оно и есть, но бояться этого при нынешнем положении дел — все равно что отказываться досыта накормить голодного человека из опасения, что через несколько лет он начнет страдать полнокровием. Если люди даже и освободятся от чрезмерной кабалы, если они и избавятся от своих необязательных бед, то всегда останется в мире, для поддержания героических свойств человеческой натуры, нескончаемая вереница подлинных бед — смерть, старость, неизлечимые болезни, неразделенная любовь, отвергнутая или обманутая дружба, серость обыденной жизни, оказавшейся менее яркой, чем она представлялась нам в наших проектах и рисовалась в мечтах, — все те горести, что коренятся в установленной богами природе вещей.

Должен признаться, я мало верю в благотворность законов. Когда законы слишком суровы, люди стараются их обойти, и это разумно. Когда они слишком сложны, людская изобретательность легко находит возможность проскользнуть между ячейками этой громоздкой и непрочной сети. Уважение к ветхим законам коренится в глубинных пластах человеческого благочестия; оно служит также удобным оправданием инертности судей. Самые древние из этих законов ведут

свое происхождение от той дикости, исправлять которую они призваны; самые почитаемые из них по-прежнему остаются порождением силы и произвола. Большинство наших уголовных законов — может быть, к счастью — карает лишь малую долю виновных; наши гражданские установления никогда не будут достаточно гибкими, чтобы их можно было применять ко всему огромному и зыбкому многообразию фактов. Законы изменяются медленнее, чем обычаи; достаточно опасные, когда они от обычаев отстают, они делаются еще опаснее, когда пытаются их опередить. И все же из этого нагромождения рискованных новшеств и обветшалых привычек то здесь, то там, как в медицине, на поверхность выступает несколько полезных формул. Греческие философы научили нас глубже постигать человеческую природу; вот уже несколько поколений наших лучших юристов стремятся привести законы к здравому смыслу. Я сам занимался некоторыми из этих половинчатых реформ — только они одни и оказываются долговечными. Всякий закон, который слишком часто преступают, — плохой закон; законодателю надлежит упразднить или изменить его, дабы презрение, с которым люди начинают относиться к этому нелепому установ-

лению, не распространилось на другие, более справедливые законы. Я поставил себе целью во имя благоразумия отказаться от бесполезных законов и сохранить небольшое число широко обнародованных разумных актов… Я чувствовал, что пришло время в интересах гуманности подвергнуть переоценке все старые законоположения.

Однажды в Испании, в окрестностях Таррагоны, когда я в одиночестве, без сопровождения, посетил полузаброшенный рудник, один из рабов, почти вся жизнь которого прошла в этих подземных галереях, бросился на меня с ножом. Вопреки всякой логике он попытался выместить на императоре страдания своего сорокатрехлетнего рабства. Я легко его обезоружил и передал своему врачу; его ярость тут же улеглась, и он превратился в того, кем на самом деле и был, — в существо ничуть не глупее других и гораздо надежнее многих. Этот преступник, которого, если бы я применил тогда суровую статью закона, казнили бы на месте, сделался впоследствии полезным для меня слугой. Большинство людей похожи на этого раба: они угнетены сверх всякой меры, и потому долгие годы отупения сменяются у них внезапным бунтом, столь же неистовым,

сколь бесполезным. Мне хотелось увидеть, приводит ли к таким вспышкам предоставленная в разумных пределах свобода, и было удивительно, что подобный опыт не прельстил и других государей. Этот осужденный на работу в рудниках варвар стад для меня символом всех наших рабов. Не было ничего невозможного в том, чтобы поступить с ними так же, как я обошелся с этим человеком, сделать их безопасными с помощью доброты — при том условии, что им заранее будет известно, сколь тверда разоружившая их рука. Народы гибли потому, что им не хватало великодушия; Спарта прожила бы гораздо дольше, если бы это было выгодно илотам; Атлант не пожелал в один прекрасный день больше держать на себе тяжесть небесного свода, и его бунт сотряс землю. Мне хотелось по мере возможности оттянуть — а то и вовсе избежать — наступление того момента, когда варвары извне, а рабы изнутри обрушатся на мир, в отношении которого их принуждают блюсти почтительность и смирение, но все блага которого — не для них. Я стремился к тому, чтобы самому обездоленному из людей — рабу, выгребающему в городах нечистоты, голодному варвару, рыскающему возле наших границ, — было на пользу укрепление и благоденствие Рима.

Думаю, что вся философия мира не в силах отменить рабство; самое большее, что можно сделать, — это по-другому назвать его. Я вполне могу представить себе иные, чем наши, формы порабощения, куда худшие в силу своей большей завуалированности. Либо людей превратят в тупые, довольные своим существованием машины и они станут считать себя свободными, тогда как они полностью порабощены, либо у них сумеют развить, помимо обычных человеческих наклонностей, всепоглощающую страсть к работе, столь же неистовую, как тяга к войне у некоторых варварских племен. Этой порабощенности духа и человеческого воображения я предпочитаю наше реальное рабство. Но, как бы то ни было, ужасное состояние, ставящее одного человека в полнейшую зависимость от другого, требует тщательной законодательной регламентации, Я следил за тем, чтобы раб не был больше безымянным товаром, который продают, не заботясь о его семейных связях, не считался бы презренным существом, чьи показания судья запишет лишь после того, как подвергнет несчастного пытке, вместо того чтобы просто привести его к присяге. Я запретил принуждать рабов к позорному или опасному ремеслу, продавать их содержателям

публичных домов или в школы гладиаторов. Пусть такими профессиями занимаются лишь те, кому они нравятся, — это только пойдет на пользу делу. В поместьях, управляющие которых злоупотребляли силой, я по мере возможности заменил рабов свободными арендаторами. Наши сборники анекдотов полны историй о том, как гурманы бросают своих слуг на съедение муренам, но подобного рода вопиющие и легко наказуемые преступления — капля в море по сравнению с тысячами мелких безобразий и гнусностей, ежедневно творимых честными, но бессердечными людьми, и это ничуть никого не тревожит. Люди негодовали, когда я изгнал из Рима богатую и всеми уважаемую патрицианку, которая истязала своих старых рабов; общественную совесть куда больше возмущает небрежение неблагодарных детей к престарелым родителям, но я не вижу большого различия между этими двумя формами бесчеловечности.

Положение женщины у нас определено странными обычаями: она угнетена и защищена, слаба и всесильна, презираема и уважаема одновременно. В этой путанице противоречивых установлений социальное переплетается с природным; отделить одно от другого отнюдь не про-

сто. Это столь зыбкое положение вещей, однако, гораздо более стабильно, чем может показаться: в массе своей женщины хотят оставаться такими, каковы они есть; они противятся переменам или используют их в своих целях. Нынешняя свобода женщин, более значительная или по крайней мере более очевидная, чем в предшествующие времена, является лишь одним из аспектов общественного прогресса в периоды процветания; однако ни прежние принципы, ни даже прежние предрассудки не оказались сколько-нибудь серьезно затронутыми. Искренне это делается или нет, но официальные восхваления и могильные надписи по-прежнему наделяют наших матрон теми же добродетелями — искусностью, целомудрием, неприступностью, — какие требовались от них при Республике. Впрочем, все эти перемены, действительные или мнимые, совершенно не коснулись ни известной вольности нравов простонародья, ни традиционной стыдливости горожанок, и только время покажет, насколько эти изменения долговечны. Слабость женщин, как и слабость рабов, предопределена их положением в обществе; сила же их сказывается в малых делах, где их власть почти безгранична. Мне редко случалось видеть дом, в котором не

господствовали бы женщины; встречались мне и дома, где господствовал эконом, повар или вольноотпущенник. В финансовом отношении женщины по-прежнему официально подчинены той или иной форме опеки; практически же в каждой лавчонке Субуры торговки домашней живностью или фруктами полновластно царят за прилавком. Супруга Аттиана управляла имущественными делами семьи со сноровкой делового человека. Чтобы упорядочить законы, которые должны как можно меньше расходиться между собой в сферах своего применения, я предоставил женщине большую свободу распоряжаться своим имуществом, завещать или наследовать его. Я настоял на том, чтобы девушек не выдавали замуж без их согласия: это узаконенное насилие так же отвратительно, как и всякое другое. Брак в жизни женщин — самая главная сделка; будет только справедливо, если они станут заключать ее лишь по своей доброй воле.

Большинство всех наших зол проистекает из того, что у нас чересчур много людей или постыдно богатых, или отчаянно бедных. К счастью, в наши дни между этими двумя крайностями начинает устанавливаться некоторое равновесие: колоссальные состояния императоров и

отпущенников ушли в прошлое, Тримальхион и Нерон мертвы. Но еще предстоит большая работа в области разумного экономического переустройства мира. Придя к власти, я отменил налоги, которые города добровольно платили императору и которые были не чем иным, как замаскированным грабежом. Советую тебе тоже их отменить. Полное аннулирование долгов, выплачиваемых частными лицами государству, было мерой более рискованной, но необходимой для того, чтобы окончательно избавиться от наследия десяти лет хозяйствования, полностью подчиненного задачам войны. За минувший век наши деньги обесценились, а это опасно: ведь стоимостью наших золотых монет определяется неколебимая вечность Рима; мы должны вернуть им силу и вес, твердо измеренные в вещах. Наши земли обрабатываются как попало; только привилегированные области, такие, как Египет, Африка, Этрурия и некоторые другие, смогли создать у себя крестьянские общины, научившиеся искусно выращивать хлеб и виноград. Одной из моих забот была поддержка этого класса, подготовка людей, которые могли бы передать свои навыки остальному сельскому населению, более отсталому или менее опытному. Я покончил с

безобразным положением, когда крупные землевладельцы, которым нет дела до общественного блага, оставляют все свои земли под паром; всякое поле, которое не возделывалось на протяжении пяти лет, отныне принадлежит хлебопашцу, извлекающему из него пользу. Почти то же сделал я и с рудными разработками. Большинство наших богачей передает огромные суммы в дар государству, общественным учреждениям, императору. Многие поступают так из расчета, иные из добрых намерений, однако почти все в конце концов выигрывают на этом. Но мне бы хотелось, чтобы их щедрость приняла другие формы и проявилась не только в показной щедрости доброхотов; мне хотелось бы научить их мудро увеличивать свои состояния в интересах всего общества, а не только ради обогащения собственных отпрысков. Исходя из этих соображений, я взял управление императорскими поместьями в свои руки, ибо никто не имеет права обращаться с землей, как скупец со своей кубышкой.

Наши негоцианты зачастую оказываются нашими лучшими географами, лучшими астрономами, лучшими естествоиспытателями. Наши банкиры являются лучшими знатоками человеческой природы. Я старался использовать

их знания; я изо всех своих сил боролся против ущерба, который наносится нашей экономике. Поддержка, оказанная судовладельцам, приумножила число торговых обменов с другими народами; мне удалось с небольшими затратами пополнить дорогостоящий императорский флот; в отношении ввоза товаров из стран Востока и Африки Италия — это остров, и, с тех пор как мы перестали обеспечивать себя своим собственным зерном, наше продовольственное снабжение целиком зависит от купцов, поставляющих нам хлеб. Единственный способ избежать риска в такой ситуации состоит в том, чтобы рассматривать этих столь необходимых нам деловых людей как государственных чиновников и держать их под неослабным контролем. Наши старые провинции достигли за последние годы процветания, которому мы могли бы способствовать еще больше, но важно, чтобы это процветание было на пользу всем, а не только банку Герода Аттика[112] или какому-нибудь мелкому спекулянту, который скупает масло в греческой деревне. Ни один закон не будет чрезмерно суров, если он позволит со-

[112] КОММЕНТАРИЙ: 112

Греческий богач и банкир, сумевший стать римским консулом. Был, кроме того, известным оратором и наставником красноречия, у которого одно время учился Марк Аврелий.

кратить число перекупщиков, которыми кишат наши города, обуздать это гнусное ненасытное племя, шушукающееся по тавернам, торчащее за прилавками, готовое подорвать любую политику, если она не приносит ему прибыли немедленно. Разумное распределение государственных запасов зерна помогает сдерживать возмутительное вздувание цен в неурожайные годы, но я больше всего рассчитывал на объединенные действия самих производителей, галльских виноградарей, рыбаков Понта Эвксинского[113], чьи жалкие доходы поглощаются скупщиками икры и соленой рыбы, жиреющими на их труде и на тех опасностях, которым они себя подвергают. Одним из лучших дней моей жизни был день, когда я убедил группу моряков архипелага объединиться в артель и иметь дело с лавочниками непосредственно в городах. Никогда прежде я не ощущал так свою полезность как государя.

Для армии мир слишком часто является всего лишь периодом лихорадочной праздности между двумя сражениями; альтернативой бездействия и беспорядка оказывается подготовка к предстоящей войне, а потом и сама война. Я положил

---

[113] КОММЕНТАРИЙ: 113
Черное море.

всему этому конец; мои регулярные посещения аванпостов были одним из средств держать эту мирную армию в состоянии полезной деятельности. Повсюду, на равнинах и в горах, вблизи лесов и среди пустынь, легион разворачивает или сосредоточивает свои сооружения, всегда совершенно однотипные, свои учебные поля, свои лагеря, возведенные в Кёльне для защиты от снега, а в Ламбезе[114] — для защиты от пыльных бурь, свои склады, откуда все лишнее я приказал продать, свое собрание командиров, где высится статуя императора. Но единообразие здесь только внешнее: эти сменные казармы принимают всякий раз иную толпу вспомогательных войск; все народы и все племена приносят в армию свои особые качества и свое оружие, свои таланты пехотинца, всадника или стрелка из лука[115]. Я обрел здесь в его изначальном виде то многообразие в един-

[114] КОММЕНТАРИЙ: 114

Город в римской провинции Африка.

[115] КОММЕНТАРИЙ: 115

Римская армия состояла в основном из воинских контингентов двух типов — легионеров, которыми в принципе могли быть только римские граждане (хотя в эпоху Адриана уже были исключения), и бойцов вспомогательных войск, состоявших в большинстве случаев из конницы. Эти бойцы вербовались из провинциалов и из представителей союзных с Римом племен, лишь по завершении службы они получали римское гражданство. Вспомогательные войска составляли один из главных каналов, по которым шла романизация пограничных с империей племен, а позже — варваризация империи.

стве, которое было целью всей моей имперской политики. Я разрешил солдатам их национальные воинственные клики, позволил командирам отдавать приказы на своих языках; я одобрил браки наших воинов с женщинами варварских племен и узаконил их детей. Я старался всячески смягчить суровые условия лагерной жизни и следил за тем, чтобы с простыми солдатами обращались как с людьми. Рискуя сделать их менее мобильными, я хотел привязать их к тому клочку земли, который им предстоит защищать; я без колебаний разделил армию на самостоятельные округа. Я надеялся создать в масштабе империи некое подобие ополчения ранней Республики, когда каждый человек защищал свое поле и свое поместье. Более всего я заботился о том, чтобы усилить техническое оснащение легионов; я рассчитывал использовать эти военные центры в качестве рычага цивилизации, в качестве клина, достаточно прочного для того, чтобы постепенно вогнать его туда, где бы оказались бессильными хрупкие инструменты гражданских институтов. Армия становилась связующим звеном между населением лесов, степей и болот и изнеженными жителями городов, начальной школой для варваров, школой закалки и чувства долга для

образованного грека, как и для молодого всадника, привыкшего к римскому комфорту. Я на своей шкуре испытал все трудности и невзгоды этой жизни, я знал все мелочи армейского быта. Я отменил привилегии; запретил предоставлять слишком частые отпуска командирам; приказал освободить лагеря от залов для торжественных трапез командиров, от их увеселительных заведений, от дорогостоящих садов. Эти ненужные строения стали лазаретами, приютами для ветеранов. Мы набирали солдат с чересчур юного возраста и держали их в армии слишком долго; это было и невыгодно, и жестоко. Я все это изменил. Священная наука власти заключается в том, чтобы способствовать гуманности нашего века.

Мы не цезари, мы всего лишь должностные лица государства. Она была права, та истица, чью жалобу я однажды отказался выслушать до конца и которая воскликнула, что если у меня не хватает времени, чтобы ее слушать, значит, у меня не хватает времени, чтобы царствовать. Извинения, которые я ей тогда принес, не были пустой формальностью. Однако времени действительно не хватает: чем больше разрастается империя, тем больше различных рычагов власти сосредоточивается в руках главного должност-

ного лица; этот обремененный делами человек неизбежно должен переложить часть своих обязанностей на других; его талант должен выражаться в умении окружать себя надежными людьми. Преступной ошибкой Клавдия и Нерона было то, что они по лени своей передоверили вольноотпущенникам и рабам роль своих советников и уполномоченных. Значительная часть моей жизни и моих путешествий была посвящена подбору командиров новой бюрократии, их обучению, разумной расстановке способных людей по местам, предоставлению среднему классу, в чьих руках судьба государства, возможностей выдвинуться по службе. Я прекрасно вижу всю опасность этих цивильных армий, которую можно обозначить двумя словами: возникновение шаблона. Эти системы колес, созданные на века, неизбежно расстроятся, если постоянно за ними не следить; мастеру надлежит беспрестанно регулировать их ход, предвидеть и предотвращать их износ. Но опыт показывает, что, несмотря на наши бесконечные старания выбирать достойных преемников, посредственных императоров куда больше, чем всех прочих, и каждое столетие власть получает как минимум один безумец. В кризисные эпохи этот хорошо отлаженный

государственный механизм может продолжать выполнение основных своих функций и управлять империей в периоды — иной раз весьма продолжительные — между кончиной одного мудрого государя и приходом к власти другого. Некоторые императоры окружают себя толпой закованных в колодки варваров, сборищем побежденных. Сформированный мною корпус должностных лиц образует совершенно иную свиту. Это личный совет императора; лишь благодаря входившим в него людям я мог на целые годы отлучаться из Рима, появляясь там лишь наездами. Я поддерживал с ними связь с помощью самых быстрых гонцов, а в случае опасности — сигналами семафоров. Члены совета в свою очередь окружили себя полезными помощниками. Компетентность советников — дело моих рук; их хорошо налаженная работа позволила мне приложить свои силы в других областях. Она позволит мне без особых тревог уйти в мир иной.

Из двадцати лет, что я нахожусь у власти, двенадцать я провел, не имея постоянного местожительства. Я жил во дворцах азиатских купцов, в скромных греческих домах, на прекрасных, снабженных ваннами и калориферами виллах

римских управляющих в Галлии[116], жил в лачугах, на фермах. Легкий шатер, полотняную и веревочную архитектуру, я предпочитал всему остальному. Корабли, на которых я плавал, были не менее разнообразны, чем мои жилища; было у меня и свое собственное судно с гимнасием и библиотекой, но я слишком не любил оседлости, чтобы привязывать себя к одному какому-то дому, даже если он и плавал по водам. Прогулочная барка богатого сирийского владельца, военный римский корабль или каик греческого рыбака в равной мере устраивали меня. Единственной роскошью, которая мне требовалась, была скорость и все, что способствует ей, — самые лучшие лошади, лучшие колесницы, самый необременительный багаж, наиболее удобная одежда. Но главным источником силы было безупречно тренированное тело: пройти форсированным маршем двадцать миль не составляло для меня никакого труда; бессонная ночь была лишь приглашением к раздумью. Мало кто из людей надолго сохраняет любовь к путешествиям, к этой непрестанной ломке привычек, к этим бес-

[116] КОММЕНТАРИЙ: 116

Галлия — страна, территория которой совпадала в основном с территорией современной Франции и на которой располагалось несколько римских провинций.

конечным отказам от предрассудков. Я старался не иметь никаких предрассудков и по возможности — мало привычек. Я ценил дивную мягкость постелей, но не меньше ценил и ощущение земной тверди под собой, запах земли, каждую ее неровность. Я неприхотлив в еде, меня не удивишь ни британской кашей, ни африканским арбузом. Однажды мне довелось отведать протухшей дичи, которая считается изысканнейшим лакомством у некоторых германских племен; желудок отказался принять эту пищу, но тем не менее опыт был произведен. Раз и навсегда определив свои вкусы, я во всем боялся рутины. Моя свита, которую я ограничил необходимыми мне и достойными людьми, не отгораживала меня от остального мира; я заботился о том, чтобы мои душевные движения не были стеснены, мое обращение с людьми было приветливым. Провинции, эти большие территориальные единицы, для которых я сам выбирал эмблемы — Британия со своими скалами или Дакия со своей изогнутой саблей, — означали для меня леса, в которых я искал тень, колодцы, из которых я пил, людей, случайно встреченных на привале, знакомые, а иногда и любимые лица. Я помнил каждую милю наших дорог — быть может, самого прекрасного

из всего, что Рим подарил миру. Незабываемым было для меня мгновенье, когда дорога кончалась на склоне горы и я начинал карабкаться от расщелины к расщелине, с камня на камень, чтобы встретить рассвет на вершине Пиренеев или Альп.

Кое-кто и до меня обошел и объехал землю: Пифагор, Платон, другие мудрецы, а также немалое число всяческих авантюристов. Но впервые путешественник являлся в то же время и хозяином, который волен смотреть, перекраивать, созидать. Мне выпала на долю редкая удача, и я понимал, что пройдут, возможно, века, прежде чем повторится такое счастливое сочетание возможностей мироустройства и темперамента. Вот тогда я и понял, какое великое преимущество — быть человеком нового склада, одиноким, по существу лишенным семьи, без детей, почти без предков, быть Улиссом, чья Итака существует только в его душе. Здесь я должен сделать признание, которого я не делал еще никому: у меня никогда не было ощущения своей привязанности к какому бы то ни было месту, даже к моим возлюбленным Афинам, даже к Риму. Повсюду чужой, я нигде не чувствовал себя одиноким. Во время своих путешествий я упражнялся в различных ремес-

лах, которые входят в обязанности императора. Я надевал на себя военную жизнь, как надевают одежду, ставшую удобной, оттого что ее долго носили. Я без труда снова переходил на язык лагерей, на эту латынь, исказившуюся под натиском варварских наречий, расцвеченную армейской бранью и немудреными шутками; я заново привыкал к громоздкому снаряжению учебных походов, к тому изменению равновесия, которое происходит во всем теле, когда ты держишь в левой руке тяжелый щит. Долгие годы финансовых расчетов вынуждали меня везде проверять счета, шла ли речь о целой азиатской провинции или о маленьком британском селении, попавшем в долги из-за строительства водолечебницы. О судебных делах я уже говорил. Мне приходят на ум аналогии с другими профессиями: странствующий лекарь, который, переезжая из порта в порт, лечит людей; дорожный рабочий, которого вызвали для того, чтобы он починил мостовую и запаял прохудившиеся трубы водопровода; надсмотрщик, который перебегает из конца в конец судна, подбадривая гребцов и стараясь при этом поменьше размахивать плетью. А ныне, сидя на террасе Виллы и глядя на рабов, обрезающих ветви и пропалывающих куртины, я думаю прежде

всего о мудром садовнике, который присматривает за ними.

Мастера и умельцы, которых я брал с собой в путешествия, не причиняли мне забот: они не меньше, чем я, любили странствовать по свету. Но с людьми пишущими мне приходилось порой нелегко. Незаменимый Флегонт своими недостатками похож на старую женщину, но это единственный из моих секретарей, кто устоял перед соблазном использовать свое положение в корыстных целях, и я до сих пор не могу с ним расстаться. Поэт Флор, которому я предложил заниматься теми секретарскими делами, которые ведутся на латинском языке, воскликнул, что он вовсе не желает, подобно цезарю, страдать от скифских холодов и британских дождей. Долгие пешие переходы тоже были ему не по нраву. Я, со своей стороны, охотно оставил за ним право вкушать радости литературной жизни в Риме и посещать таверны, где люди каждый вечер встречаются для того, чтобы обменяться все теми же словами и подставить себя под все те же комариные укусы[118]. Я пожаловал Светонию

[118] КОММЕНТАРИЙ: 118

В этих фразах изложено содержание подлинных эпиграмм, которыми обменялись Флор и Адриан. Их текст приведен в Спартиановом жизнеописании Адриана, 16, 3.

место хранителя архивов, что давало ему доступ к секретным документам, которые были нужны ему для биографий цезарей[119]. Этого искусного человека, так удачно названного Транквиллом (от латинского tranquillus — спокойный), невозможно представить себе в каком-то другом месте, кроме библиотеки; он остался в Риме, где сделался одним из близких друзей моей жены, членом того узкого кружка брюзгливых рутинеров, которые собираются у нее, чтобы сетовать на несовершенство современного мира. Эта компания мне не очень нравилась; я велел уволить Транквилла в отставку, и он удалился в свой домик в Сабинских горах, чтобы там размышлять на досуге о пороках Тиберия. Фаворин из Арля некоторое время выполнял обязанности греческого секретаря — этот карлик с мелодичным голосом был не лишен проницательности. То был один из самых извращенных умов, какие я только знал; мы с ним постоянно спорили, но его эрудиция восхищала меня. Меня забавляла его ипохондрия — он относился к собственному здоровью, как любовник к обожаемой возлюб-

[119] КОММЕНТАРИЙ: 119

Имеется в виду историк Гай Светоний Транквилл (70(?)-160 (?) гг.). Единственное полностью сохранившееся его сочинение — «Жизнеописание двенадцати цезарей» (от Юлия Цезаря до Домициана).

ленной. Слуга-индус готовил ему кушанья из риса, привезенного с Востока и стоившего больших денег; к сожалению, этот заморский повар плохо говорил по-гречески и еще хуже — на всех других языках; он ничего не смог мне рассказать о чудесах своей родной страны. Фаворин очень кичился тем, что совершил за свою жизнь три довольно редких дела: по рождению галл, он, как никто другой, освоил греческую культуру; занимая незначительную должность, он непрестанно ссорился с императором и не терпел от этого никаких неудобств, — странность, которую стоит скорее отнести на мой счет; импотент, он постоянно платил штрафы за прелюбодеяния. Его провинциальные обожательницы доставляли ему массу неприятностей, из которых мне приходилось его выручать. Вскоре мне это надоело, и его место занял Эвдемон. Но все они, как ни странно, в целом хорошо мне служили. Уважение ко мне этой маленькой группы друзей и секретарей выдержало испытание тесной близостью совместных путешествий, и лишь богам известно, почему так случилось; но еще удивительнее, чем верность, была их неизменная скромность. Будущим Светониям достанется мало анекдотов на мой счет. То, что публика знает о моей жизни,

раскрыл я сам. Мои друзья оберегали мои секреты, как политические, так и все прочие; правда, надо сказать, что и я по большей части так же относился к их тайнам.

Строить означает сотрудничать с землей, оставлять следы человеческих деяний в пейзаже, тем самым навсегда изменяя его; это означает также содействовать тем медлительным переменам, из которых складывается жизнь городов. Сколько требуется усилий, чтобы определить точное место для моста или фонтана, чтобы выбрать для горной дороги тот единственно верный изгиб, который сделает ее экономически выгодной и в то же время придаст ее линиям чистоту… Расширение мегарской дороги преобразило пейзаж скиронских утесов; какие-нибудь две тысячи стадиев вымощенной плитами, снабженной водоемами и военными постами дороги, соединяющей Антинополь с Красным морем, привели к тому, что эра спокойствия сменила в пустыне эру постоянной опасности. На сооружение системы акведуков в Троаде пошли доходы пятисот азиатских городов, и я не считаю эту цену чрезмерной; карфагенский водопровод до некоторой степени возместил тяготы Пунических войн. Строительство укреплений было в конечном счете столь же

необходимо, как и возведение плотин: это позволило определить линию, на которой берег или империя могут быть защищены, позволило найти позицию, где натиск волн или натиск варваров будет укрощен и остановлен. Углубить гавани значило обогатить красоту заливов. Учредить библиотеки значило еще и возвести общественные хранилища мудрости, разместить в них запасы, чтобы пережить зимнее ненастье духа, которое, как я предвижу, не за горами. Я многое перестроил — работая рука об руку с временем, представшим передо мной в обличье прошлого; я улавливал или изменял его суть, давая ему возможность устремиться к далекому будущему; я обретал под камнями тайну источников. Наша жизнь коротка; о веках, которые предшествуют нашему веку или идут за ним следом, мы часто говорим так, будто они совершенно нам чужды; а ведь в моих играх с камнем я к ним прикасался. Эти стены, которые я укрепляю, еще хранят теплоту исчезнувших тел, и руки, которых еще не существует на свете, будут гладить стволы этих колонн. Чем больше я размышлял о своей смерти, а главное — о смерти того, Другого, тем больше старался удлинить наши жизни с помощью этих почти нетленных к ним добавлений. В Риме я

охотней всего использовал долговечный кирпич, который очень медленно возвращается в землю, породившую его: оседание или неприметное распыление кирпича происходит таким образом, что строение остается горою даже тогда, когда оно уже утратило вид крепости, цирка или надгробного памятника. В Греции, в Азии я употреблял местный мрамор, материал замечательный, который, будучи единожды вырезан и обтесан, до такой степени сохраняет верность человеческим меркам, что в каждом обломке разбитого портика видишь замысел всего храма. Архитектура богата возможностями куда более разнообразными, чем можно было бы думать, исходя из четырех ордеров Витрувия[120]; наши блоки, как и музыкальные тона, поддаются бесконечным комбинациям. Пантеон восходит к древней Этру-

[120] КОММЕНТАРИЙ: 120

Витрувий Поллион, римский архитектор, живший около рубежа н. э., посвятил третью и четвертую книги своего труда «Об архитектуре» описанию типов колонн (так называемых «ордеров»). Здесь говорится о трех ордерах, заимствованных римлянами у греков, — ионическом, дорическом и коринфском и об италийском варианте дорического ордера — тосканском.

рии прорицателей и колдунов[121]; храм Венеры, напротив, сверкает на солнце округлостью ионических форм, изобилием белых и розовых колонн вокруг чувственной богини, от которой происходит род Цезаря[122]. Храм Зевса Олимпийского[123] словно должен был стать противовесом Парфенону — он водружен на равнине, тогда как тот возвышается на холме; он огромен, в то время как тот совершенен, — пыл неистовой страсти, припавшей к стопам безмятежности, великолепие у ног красоты. Святилища Антиноя и его храмы, волшебные покои, памятники таинственного перехода от жизни к смерти, молельни, исполненные великой боли и великого блаженства, были местами молитвы и нового явления бога; в них предавался я своей скорби[124]. Моя гробница

---

[121] КОММЕНТАРИЙ: 121

Пантеон («Храм всех богов») был построен на Марсовом поле в Риме в 118–128 гг. по проекту самого Адриана, технически проработанному, скорее всего, его архитектором Аполлодором Дамасским, и представляет собой одно из высших достижений римской архитектуры. В нарушение традиции центральным элементом храма здесь стал грандиозный купол, перекрывавший внутреннее пространство и воспринимавшийся как подобие небесного свода. По-видимому, именно эту небесную символику М. Юрсенар имеет в виду, связывая Пантеон с этрусской архаикой; других оснований для такого сближения не имеется.

[122] КОММЕНТАРИЙ: 122

Храм Венеры и Ромы (121–140 гг.) — самый грандиозный из когда-либо существовавших римских храмов, отстроенный по проекту Адриана, сознательно стремившегося примирить в архитектуре греческие и

римские черты. Позднее храм был перестроен императором Максенцием и вошел в состав базилики, носящей его имя. Сохранившиеся ее развалины дают возможность представить себе и архитектуру храма, спроектированного Адрианом. Гай Юлий Цезарь, фактический создатель Римской империи, возводил свое родовое имя к Иулу — сыну основателя Рима Энея, рожденного, по преданию, Венерой. Поэтому Венера считалась как бы фамильным божеством рода Юлиев.

[123] КОММЕНТАРИЙ: 123

Имеется в виду построенный Адрианом в Афинах Панэлленион — храм Зевса Всегреческого и самого Адриана, явившийся еще одним свидетельством постоянного стремления этого императора к преодолению былого партикуляризма, к созданию общегреческого и греко-римского синтеза культур.

[124] КОММЕНТАРИЙ: 124

Антиной — любимец Адриана, которому посвящена следующая часть книги. Далее, где говорится об «охваченном трауром Египте», равно как на следующей странице, где речь идет о «лице другого», имеется в виду он же.

на берегу Тибра воспроизводит в гигантском масштабе древние усыпальницы на Аппиевой дороге[125], но сами пропорции преображают ее, заставляют думать о Ктесифоне, о Вавилоне, о террасах и башнях, восходя на которые человек приближается к звездам. Охваченный трауром Египет соорудил обелиски и аллеи со сфинксами для кенотафа, заставив безотчетно враждебный Рим помнить о друге, который никогда не будет в достаточной мере оплакан. Моя Вилла стала гробницей путешествий, последней стоянкой кочевника, выполненным в мраморе подобием шатров и балдахинов азиатских владык. Почти все из того, что нашему вкусу хотелось бы еще испытать и испробовать, в мире форм уже было до нас; я же окунулся в мир красок, где зеленая яшма напоминает о морских глубинах, а зернистый порфир подобен живой плоти, окунулся в мир базальта и тусклого обсидиана. Алые дра-

[125] КОММЕНТАРИЙ: 125

Мавзолей Адриана, спроектированный самим императором и построенный в 135–139 гг., сохранился до наших дней как замок Святого Ангела — в средние века и позже существовал как тюрьма и крепость. В настоящее время музей. Первоначальное здание подвергалось многочисленным изменениям и достройкам. Среди последних — часовня, созданная для папы Льва X Медичи знаменитым Микеланджело. Вдоль Аппиевой дороги, связывавшей Рим с Южной Италией, а впоследствии и с ее восточным побережьем, на подступах к столице располагались усыпальницы знатных родов, частично сохранившиеся до наших дней.

пировки расцветали все более затейливыми узорами; золотистую, белую, темную мозаику полов или стен я все время надеялся увидеть еще более золотистой, более белой и более темной. Каждый камень являл собой странным образом отвердевшую волю, память, порой даже вызов. Каждое здание было осуществлением замысла, представавшего передо мною в мечтах.

Плотинополис, Андринополь, Антинополь, Адрианотер… Я, как мог, умножал количество этих человеческих ульев. Кровельщик и каменщик, инженер и архитектор способствуют рождению городов; но это дело требует и определенного колдовского дара. В мире, в котором еще преобладают леса, пустыни, нераспаханные равнины, особенно радостно видеть выложенную плитами улицу или храм, какому бы богу ни был он посвящен; особенно радует вид общественных терм и уборных, и заведенье цирюльника, где хозяин обсуждает с клиентами римские новости, лавчонка пирожника или торговца сандалиями, и еще — книжная лавка, вывеска лекаря, театр, где время от времени играют какую-нибудь пьесу Теренция. Наши капризники жалуются на однообразие наших городов, они страдают, видите ли, от того, что повсюду встречают одинаковые статуи им-

ператора, одинаковые акведуки. Они не правы, ибо красота Нима отлична от красоты Арля[126]. Но даже само это единообразие, встречаемое на трех континентах, нравится путешественнику, как нравится сходство тысячелетних пограничных столбов; самые захолустные из наших городишек обладают успокоительной прелестью подставы, сторожевого поста или привала. Город — это творение рук человеческих, в котором, если хотите, существует своя монотонность, но это монотонность сотов, восковых ячеек, наполненных медом; город — место встреч и обменов, место, куда приходят крестьяне, чтобы продать продукты, и где они задерживаются, чтобы полюбоваться на роспись роскошного портика... Мои города рождались из встреч — из встречи с тем или иным уголком земли, из встречи моих императорских замыслов с теми или иными случайностями моей частной жизни. Плотинополис своим рождением обязан необходимости учредить новые сельскохозяйственные банки во Фракии, но также и душевному желанию почтить Плотину. Адрианотер предназначен служить торговой конторой для лесников Малой

[126] КОММЕНТАРИЙ: 126

Ним (древний Немаус) и Арль (древний Арелате) — римские города в Южной Галлии.

Азии, но поначалу это было для меня лишь место летнего уединения — изобилующий дичью лес, срубленный из свежих стволов домик у подножия холма Аттиса, пенящийся поток, в котором я каждое утро купался. Адрианополь в Эпире стал крупным городским центром этой обедневшей провинции, но возник он в результате моего посещения храма Додоны. Андринополь — город крестьян и солдат, стратегический центр на краю варварских областей; он заселен ветеранами сарматских войн; я собственнолично знал достоинства и недостатки каждого из этих людей, их имена, сколько лет каждый из них прослужил и сколько раз был ранен. Антинополь, самый дорогой мне из всех городов, родившийся на том самом месте, где произошло несчастье, теснился на узкой полоске бесплодной земли, между рекой и скалой. И это лишь укрепило мое стремление обогатить его за счет других средств: торговли с Индией, речных перевозок, искусного изящества греческой архитектуры. Нет на земле места, которое я меньше хотел бы повидать еще раз; мало найдется на земле мест, в которые я вложил бы больше забот. Он — одна непрерывная колоннада. Я переписываюсь с Фидом Аквилой, правителем этого гороыфда, по поводу пропилеев

городского храма, по поводу статуй его арки; я выбрал имена для его кварталов и демов — явные и тайные символы, наиболее полный каталог моих воспоминаний. Я сам набросал план коринфских колоннад, которые тянутся вдоль берегов, перекликаясь с правильными рядами пальм. Тысячи раз я мысленно обходил этот геометрически почти безукоризненный четырехугольник, разделенный параллельными улицами и разрезанный надвое триумфальным проспектом, идущим от греческого театра к гробнице.

Мы устали от статуй, мы пресыщены рисованными и лепными украшениями, но изобилие это мнимое; мы неустанно воспроизводим несколько десятков одних и тех же шедевров, изобрести которые заново было бы нам сейчас не под силу. Я тоже приказал изготовить для Виллы копии Гермафродита и Кентавра, Ниобеи и Венеры. Я стремился, насколько возможно, жить в окружении этих мелодично-плавных форм. Я поощрял эксперименты с прошлым, умелую архаизацию, которая позволяет ощутить замысел старых художников, их давно утраченную технику. Я перебирал различные варианты, пытаясь воплотить в красном мраморе Марсия с содранной

кожей[127], в оригинале изваянного в мраморе белом, и тем самым перевести его в мир живописных образов, или старался передать в паросских тонах черную зернистость египетских статуй, превращая идола в призрак. Наше искусство совершенно, или, говоря другими словами, законченно, но его совершенство предполагает модуляции, столь же разнообразные, как модуляции чистого голоса; нам предстоит заняться хитроумной игрой, которая состоит в том, чтобы постоянно то приближаться к этому раз и навсегда найденному решению, то отступать от него, доводя до предела строгую скупость или безоглядную щедрость выразительных средств и включая в эту прекрасную сферу все новые и новые построения. Наше преимущество в том, что позади у нас тысячи возможностей для сравнения, что мы можем по собственной прихоти умно продолжать Скопаса или с наслаждением опровергать

[127] КОММЕНТАРИЙ: 127

В греческой мифологии сатир, в совершенстве овладевший игрой на флейте и вызвавший на состязание Аполлона, игравшего на кифаре. Величавые, спокойно-гармоничные звуки кифары оказались настолько совершеннее исступленно разнузданной, варварской мелодии флейты, что победа Аполлона стала совершенно очевидной, и он, дабы покарать сатира за дерзость, содрал с него кожу.

Праксителя[128]. Знакомство с искусством варваров позволяет мне считать, что каждый народ ограничивает себя несколькими сюжетами и несколькими приемами из великого множества возможных сюжетов и приемов; каждая эпоха производит в свою очередь дополнительный отбор тех возможностей, которыми располагает каждый народ. Я видел в Египте скульптуры гигантских богов и царей; я обнаружил на запястьях сарматских пленников браслеты, на которых до бесконечности повторяется один и тот же мотив — летящие галопом кони или пожирающие друг друга змеи. Наше же искусство (я говорю об искусстве греков) остановило свой выбор на человеке. Лишь мы одни смогли выразить силу и ловкость, таящуюся в неподвижном теле; лишь мы одни, изваяв гладкий лоб, дали ощутить мудрость мысли, которую он скрывает. Подобно нашим скульпторам, я довольствуюсь человеческим образом и нахожу в нем все, вплоть до вечности. Лес, который я так люблю, воплощается для меня в образе кентавра; дыхание бури, на мой взгляд, ничто не выразит лучше, чем раздуваемое ветром покрывало морской богини. Предметы

[128] КОММЕНТАРИЙ: 128

Скопас и Пракситель — знаменитые греческие скульпторы IV в. до н. э.

живой природы, священные символы обретают значение только тогда, когда они обогащены человеческими ассоциациями, — фаллическая или траурная сосновая шишка, чаша с голубями, навевающая образы послеполуденного отдыха возле бассейна, орел, уносящий возлюбленного в небеса.

Искусство портрета меня почти не интересовало. Наши римские портреты обладают ценностью хроник; это всего лишь копии, где старательно переданы морщины и бородавки, это слепки с моделей, с которыми мы равнодушно встречаемся в жизни и которых сразу же забываем, когда они умирают. Греки же, напротив, настолько ценили человеческое совершенство, что почти не обращали внимания на индивидуальные особенности в лицах людей. Я лишь мимоходом взглядывал на свое собственное изображение, на загорелое лицо, искаженное белизной мрамора, на широко раскрытые глаза, на плотно сжатые мясистые губы, которые, казалось, дрожали, когда я старался придать им нужное выражение. Но лицо другого занимало меня гораздо больше. С тех пор как он приобрел такое значение в моей жизни, искусство перестало быть для меня роскошью, оно сделалось моим прибежищем,

формой помощи и поддержки. Я оставил миру его образ — портретов этого ребенка существует теперь гораздо больше, чем изображений любого знаменитого человека, любой царицы. Поначалу я счел своим долгом последовательно запечатлеть в скульптуре красоту меняющегося облика; затем искусство стало своего рода магическим действом, способным воскресить в памяти утраченный образ. Гигантские статуи казались средством выразить те истинные пропорции, какие любовь придает живым существам; мне хотелось, чтобы эти изображения были огромными, как лицо, которое видишь совсем близко, высокими и торжественными, как фигуры, явившиеся тебе во сне, грузными и тяжелыми, каким осталось во мне это воспоминание. Я требовал безупречности отделки, законченности и совершенства, ибо для того, кто любил человека, умершего в двадцать лет, он становится богом, и при этом я требовал полного сходства, непринужденности выражения, передачи всех тех неправильных черт, которые были мне дороже самой красоты. Сколько споров было о том, как передать четкую линию бровей или чуть припухлую округлость губ… В отчаянии я возлагал надежду на долговечность камня

и надежность бронзы, чтобы продлить жизнь бренного, уже разрушенного тела, но я требовал также, чтобы мрамор, ежедневно натираемый смесью масла и кислот, обрел гладкость и почти бархатистость юной плоти. Это единственное в мире лицо виделось мне везде, я соединял воедино всевозможные божества, извечные атрибуты полов — суровую Диану-охотницу и задумчивого Вакха, мощного Гермеса палестр и двуполого бога, что спит, прелестно разметавшись и уткнувшись головой в руку. Я отчетливо видел, до какой степени молодой человек в минуту раздумья похож на мужественную Афину. Мои скульпторы от этого немного терялись; самые недалекие впадали в умильность или в напыщенность; и, однако, все они в той или иной мере участвовали в моих мечтах. Есть статуи и картины, рисующие юношу в разные моменты его жизни, отражающие тот бескрайний и переменчивый путь, который пролегает между пятнадцатью и двадцатью годами, — серьезный профиль послушного ребенка; есть статуя, в которой один коринфский скульптор рискнул передать небрежную позу подростка, стоящего слегка выпятив живот, опустив плечи и упершись рукою в бедро, словно он наблюдает на углу улицы за игрой в бабки. А

Папий Афродизийский изваял из мрамора тело даже не просто обнаженное — тело безоружное, дышащее хрупкой свежестью нарцисса. Аристей, следуя моим указаниям, вырезал из шероховатого камня маленькую головку, повелительную и гордую… Существуют портреты посмертные, портреты, по которым прошла смерть, большие лица с мудрыми губами, таящие секреты, которые уже не принадлежат мне, ибо они уже не принадлежат жизни. Есть барельеф, где Кариен Антониан наделил элисийской[129] грацией одетого в шелк сборщика винограда и дружелюбную морду собаки, прижавшейся к его обнаженной ноге. И эта почти невыносимая маска — творение одного киренского скульптора, — где радость и боль скользят и сталкиваются на одном и том же лице, как две волны, бьющие в одну и ту же скалу. И эти грошовые глиняные статуэтки, которые служили для пропаганды имперских идей, — Tellus stabilita, гений умиротворенной Земли в обличье юноши, лежащего с плодами и цветами в руках.

Trahit sua quemque voluptas (каждого влечет свое удовольствие). У каждого своя склонность

---

[129] КОММЕНТАРИЙ: 129
От слова «Элизиум» — страна блаженных, рай.

— а также и своя цель, свое, можно сказать, честолюбие, свои тайные вкусы и свой светлый идеал. Мой идеал был заключен в слове «красота», чье значение так трудно определить, несмотря на очевидные свидетельства наших чувств и наших глаз. Я ощущал себя ответственным за красоту мира. Я хотел, чтобы города были прекрасны, овеваемы свежим воздухом, орошены прозрачными водами, населены человеческими существами, чьи тела не обезображены печатью рабства и нищеты или грубым высокомерием роскоши; я хотел, чтобы ученики звучными голосами заучивали свои уроки, свободные от школярских нелепостей; чтобы в движениях женщин, хлопочущих у семейного очага, ощущалось материнское достоинство и исполненный мощи покой; чтобы гимнасии посещались молодыми людьми, понимающими толк в искусствах и играх; чтобы в садах произрастали прекрасные плоды, а поля приносили щедрые урожаи. Я хотел, чтобы необъятное величие Римской империи осеняло без исключения всех, присутствуя всюду неощутимо и непреложно, как небесная музыка; чтобы самый смиренный странник мог переезжать из страны в страну, с континента на континент без стеснительных формальностей, не

подвергаясь опасностям, уверенный в том, что он всюду встретит необходимый минимум законности и культуры; чтобы солдаты продолжали свою вечную пиррихийскую пляску у наших границ; чтобы все действовало без помех — и мастерские, и храмы; чтобы море бороздили великолепные корабли, а по дорогам одна за другою бежали упряжки; чтобы в мире, подчиненном стройному порядку, нашлось место и философам, и танцорам. Этот довольно скромный идеал был бы легко достижим, если бы люди употребили для его воплощения часть той энергии, которую они тратят на дела нелепые или жестокие; счастливая случайность позволила мне в какой-то мере осуществить его на протяжении последней четверти века. Арриан Никомедийский[130], один из самых светлых умов нашего времени, любит напоминать мне прекрасные стихи, которыми старый Терпандр[131] в трех словах определил спартанский идеал, тот совершенный образ

[130] КОММЕНТАРИЙ: 130

Грек по происхождению, ставший римским сенатором и консулом и известный как писатель — автор «Диатриб», представляющих собой записи бесед Эпиктета, и «Анабасиса», рассказывающего о походах Александра Македонского. Жил с 95 по 175 г.

[131] КОММЕНТАРИЙ: 131

Греческий музыкант (VII в. до н. э.), происходивший с о. Лесбос, но принятый в число граждан Спарты и ставший создателем спартанской школы музыки.

жизни, о котором мечтал Лакедемон, так и не сумевший его достичь: Сила, Справедливость, Музы. Основой всего является Сила — строгость, без которой нет красоты, твердость, без которой нет справедливости. Справедливость определяет равновесие частей, совокупность гармоничных пропорций, которые не должна нарушать никакая крайность. Но Сила и Справедливость — лишь хорошо настроенный инструмент в руках Муз. Всякую нищету и страдания, всякое насилие следовало бы запретить как наносящие оскорбление прекрасному телу человечества. Всякое беззаконие стало бы тогда фальшивой нотой, которой не место в гармонии сфер.

Строительство или обновление фортификаций и лагерей, прокладка новых и приведение в порядок старых дорог держали меня в Германии почти год; новые форты, воздвигнутые на протяжении семидесяти миль, укрепили наши границы вдоль Рейна. Эта страна виноградников и бурных потоков не открыла мне ничего нового; я нашел там следы молодого трибуна, который нес Траяну весть о передаче ему императорской власти. За нашим последним, сложенным из еловых бревен фортом я увидел все тот же однообразный темный горизонт и тот же мир, закрытый для нас

после того, как Август опрометчиво направил туда свои легионы[132], тот же зеленый разлив лесов, ту же массу белокожих и светловолосых людей. Завершив переоборудование укреплений, я спустился, через белгские и батавские равнины, к устью Рейна. Унылые дюны, поросшие свистящими на ветру травами, составляли этот северный пейзаж; в порту Новиомага[133] возведенные на сваях дома соседствовали с кораблями, причаленными у их порогов; на кровлях сидели морские птицы. Мне нравились эти печальные места, которые казались безобразными моим приближенным, это хмурое небо и мутные реки, бегущие по унылой земле, которой не касалась рука бога.

Плоскодонное судно доставило меня на остров Британию. Несколько раз ветер отгонял нас обратно к берегу, от которого мы отчалили; это трудное плавание подарило мне часы странной праздности. Гигантские тучи рождались из

---

[132] КОММЕНТАРИЙ: 132

Имеется в виду сокрушительное поражение римлян в 9 г. н. э. в Тевтобургском лесу в северозападной Германии, когда германцы под предводительством Арминия уничтожили три римских легиона. С тех пор, хотя войска империи неоднократно проникали во внутренние земли германцев, границей ее в этих краях навсегда остался Рейн.

[133] КОММЕНТАРИЙ: 133

Ныне Нимеген — город в Нидерландах на Нижнем Рейне.

тяжелого моря, перемешанного с песком, беспрестанно вздымавшимся со дна. Как некогда у даков и у сарматов, я благоговейно созерцал Землю; здесь впервые я видел Нептуна в более хаотичном обличье, чем у нас, видел бесконечный текучий мир. Я прочитал у Плутарха привезенную мореплавателями легенду оо острове, расположенном в этих краях вблизи Сумрачного моря, куда в незапамятные времена олимпийские боги повергли побежденных титанов. Эти великие пленники скалы и волны, от века терзаемые не знающим отдыха океаном, лишенные возможности уснуть, но постоянно грезящие наяву, будут всегда противопоставлять олимпийскому порядку свое буйство, свою тревогу, свой непокорный, но вновь и вновь усмиряемый нрав. Я находил в этом мифе, отнесенном на самый край света, отголоски той философии, которая давно уже стала моею: каждый человек должен на протяжении всей своей краткой жизни постоянно выбирать между неутомимой надеждой и мудрым отказом от всякой надежды, между радостями необузданной раскованности и радостями устойчивости и постоянства, между титаном и олимпийским богом — всегда выбирать между ними, а если удастся, то в один прекрасный день и примирить

их друг с другом.

Гражданские реформы, осуществленные в Британии, являются частью проделанной мною административной работы, о которой я уже говорил раньше. Здесь я хочу лишь отметить, что был первым императором, который мирно поселился на этом острове, расположенном на границах известного нам мира, где один только Клавдий решился в бытность свою главнокомандующим провести несколько дней [134]. По моему выбору Лондиний на всю зиму сделался тем фактическим центром мира, каким в свое время стала Антиохия в связи с парфянской войной. Так каждое путешествие перемещало центр тяжести власти то на берега Рейна, то на берега Темзы, позволяя мне наилучшим образом оценивать слабые и сильные стороны каждого из подобных мест в качестве императорской резиденции. Пребывание в Британии привело меня к мысли о возможности создать государство с центром на Западе, к мысли об атлантическом мире. Эта игра ума лишена практического смысла, но она перестает быть абсурдной, если человек, занимающийся такими расчетами, мысленно подарит

[134] КОММЕНТАРИЙ: 134

Британский поход Клавдия — в 43 г.; Клавдий провел на острове 16 дней.

себе для осуществления своих планов достаточно большой кусок будущего.

За три месяца до моего прибытия Шестой Победоносный легион был переведен на территорию Британии. Он заменил здесь злополучный Девятый легион, полностью уничтоженный каледонцами во время беспорядков, которыми столь ужасно отозвался в Британии наш поход на парфян. Во избежание повтора подобных катастроф необходимо было принять две меры. Наши войска были усилены за счет вспомогательных когорт, набранных из местного населения; в Эбораке[135], с вершины зеленого холма, я наблюдал первые маневры этой только что сформированной британской армии. В то же время возведенная нами стена, разделившая остров на две части в самом его узком месте, послужила защите более развитых и плодородных южных областей от набегов северных племен. Я лично следил за тем, как велось большинство из этих работ, начатых одновременно на линии протяженностью в восемьдесят миль; я использовал также возможность испытать на этом ограниченном пространстве — от одного берега до другого

[135] КОММЕНТАРИЙ: 135

Город на востоке Средней Англии, центр могущественного племенного союза бригантов, во времена Адриана еще не до конца замиренного.

— систему обороны, которая впоследствии могла бы применяться повсеместно. Но даже это, казалось бы, чисто военное мероприятие способствовало миру и содействовало процветанию этой части Британии; на острове вырастали селения; к нашим границам притекали свежие силы. На земляных работах вместе с легионерами были заняты воины вспомогательных когорт; возведение стены было для большинства этих горцев, еще вчера непокорных, первым непреложным свидетельством благотворного могущества Рима, а солдатское жалованье — первыми римскими монетами, которые они держали в руках. Укрепленный вал стал символом моего отказа от политики завоеваний; у подножия передового форта я повелел воздвигнуть храм бога Термина[136].

Все восхищало меня в этих сумрачных краях — опаловые полосы тумана по склонам холмов, озера, посвященные нимфам, еще более своенравным, чем наши, задумчивые сероглазые люди. Моим проводником был молодой трибун

---

[136] КОММЕНТАРИЙ: 136

«Система обороны», о которой здесь говорит М. Юрсенар, носила название Адрианова вала. Он пересекал остров по 56 параллели, отделяя Северную Шотландию от Южной. Термин — бог рубежа и межи, бывший как бы гарантом неприкосновенности границы между разными владениями, Термин был сыном Януса — бога концов и начал.

вспомогательной британской когорты; этот светловолосый бог выучился латыни, с грехом пополам болтал по-гречески и робко пробовал сочинять любовные стихи на этом языке. Однажды холодной осенней ночью он стал моим переводчиком при встрече с местной сивиллой. Сидя в продымленном шалаше кельтского угольщика, грея ноги, закоченевшие, несмотря на толстые штаны грубой шерсти, мы увидели, что к нам подползает древняя старуха, мокрая от дождя, растерзанная ветром, дикая и настороженная, как лесной зверь. Она с жадностью набросилась на овсяные лепешки, которые пеклись в очаге. Моему проводнику удалось задобрить пророчицу, и та согласилась предсказать мне судьбу, вглядываясь в завитки дыма, летучие искры и хрупкую архитектуру хвороста и золы. Она увидела воздвигаемые города, радостные толпы, но также и города, уничтоженные огнем, и горестные вереницы побежденных, опровергавшие мои мечты о мире; увидела молодой нежный лик, который она приняла за женский, чему я отказывался поверить; явилось ей и некое белое привидение, которое, возможно, было всего лишь статуей, предметом еще более необъяснимым, чем призрак, для этой обитательницы пустошей

и лесов. И на расстоянии неопределенного числа лет разглядела она и мою смерть, о которой, впрочем, я знал и без нее.

Цветущая Галлия, изобильная Испания удерживали меня в своих пределах не так долго, как Британия. В Нарбоннской Галлии[137] я снова встретился с Грецией, шагнувшей и в эти края, встретился с ее прекрасными школами красноречия, с ее великолепными портиками под безоблачным небом. Я задержался в Ниме, чтобы набросать проект базилики, посвященной Плотине и предназначенной стать впоследствии ее храмом. Семейные воспоминания привязывали императрицу к этому городу, что делало для меня еще более дорогим позлащенный солнцем пейзаж.

Однако мятеж в Мавритании еще не угас. Я сократил мою поездку по Испании и по дороге от Кордовы к морю даже не остановился в Италике, городе моего детства и моих предков. В Кадиксе я сел на корабль, отплывающий в Африку.

---

[137] КОММЕНТАРИЙ: 137

Ряд городов Нарбоннской провинции был основан греками задолго до покорения края римлянами в 122 г. до н. э. Таковы были Массилия (Марсель), Никея (Ницца), Антиполис (Антиб) и др. Они и под римским владычеством сохраняли многие черты эллинской цивилизации. Плиний Старший называл, например, жителей Массилии трехъязыкими, «ибо они и по-латински говорят, и по-гречески, и по-галльски».

Покрытые татуировкой красавцы воины с Атласских гор все еще тревожили своими набегами прибрежные африканские города. За недолгие дни своего пребывания в Нумидии я вновь пережил, нечто сходное с перипетиями сарматской войны; я снова увидел, как одно за другим сдаются нам кочевые племена, увидел покорность горделивых вождей, простершихся ниц посреди пустыни, в окружении женщин, тюков и опустившихся на колени животных. Только вместо снега здесь были пески.

Мне было приятно встретить весну в Риме, снова увидеть строящуюся Виллу; здесь меня, как и прежде, ждали капризная приветливость Луция и дружба Плотины. Но мое пребывание в столице было почти сразу же прервано тревожным гулом войны. Не прошло еще и трех лет после заключения мира с парфянами, а на Евфрате уже опять начались серьезные стычки. Я незамедлительно отправился на Восток.

Я решил уладить эти пограничные инциденты средствами менее тривиальными, чем введение в бой легионов. Была достигнута договоренность о личной встрече с Хосровом. Я повез с собой на Восток дочь императора, которую взяли в плен чуть ли не в колыбели, еще в ту пору, когда Тра-

ян занял Вавилон, и все это время держали как заложницу в Риме. Это была тоненькая девушка с большими глазами. Присутствие принцессы и ее служанок несколько затруднило мое путешествие, которое я спешил завершить как можно быстрее. Эти закутанные в покрывала существа были перевезены через сирийскую пустыню на спинах верблюдов, в паланкинах с неизменно опущенными занавесками. Вечерами, во время привалов, я посылал своих людей узнать, не испытывает ли принцесса в чем-либо нужды.

Я остановился на час в Ликии, чтобы уговорить купца Опрамоаса, уже проявившего свои способности искусного посредника в переговорах, сопровождать меня в парфянские земли. Недостаток времени помешал Опрамоасу принять меня со свойственной ему пышностью. Этот изнеженный, привыкший к роскоши человек был тем не менее в дороге замечательным спутником, которого не смущали любые неожиданности пустыни.

Место встречи было назначено на левом берегу Евфрата, недалеко от Дуры. Мы переплыли реку на плоту. Солдаты парфянской императорской гвардии, в золотых доспехах, верхом на конях, убранных столь же роскошно, как и всадники, вы-

тянулись вдоль реки ослепительно сверкающей линией. Мой неразлучный Флегонт был бледен как смерть. Даже сопровождавшие меня трибуны испытывали беспокойство: эта встреча могла оказаться ловушкой. Опрамоас, привыкший к восточным нравам, держался спокойно; судя по всему, его нисколько не тревожила эта причудливая смесь грохота и тишины, неподвижности и внезапного галопа, все это великолепие, брошенное на пустыню, точно ковер на песок. Что до меня, я странным образом не ощущал никакой тревоги: подобно Цезарю, доверившемуся лодке, я вверил свою судьбу дощатому плоту[138]. Я подтвердил свою добрую волю, сразу передав парфянскую принцессу отцу, вместо того чтобы держать ее в расположении наших войск, пока я не вернусь. Я обещал ему также возвратить золотой трон Аршакидов, увезенный в свое время Траяном; он был нам совершенно не нужен, тогда как по восточным поверьям он обладает великой ценностью.

Пышное великолепие моих свиданий с Хосро-

[138] КОММЕНТАРИЙ: 138

В ходе гражданской войны 50–48 гг. до н. э. Цезарь в лодке с одним лишь гребцом переправился в бурю через Адриатическое море из Греции в Италию и тотчас же таким же образом вернулся обратно. (См. описание этого эпизода в поэме Лукана «Фарсалия», V, 374–677.)

вом было лишь внешним. По существу они ничем не отличались от переговоров между двумя соседями, которые стараются полюбовно разрешить спор о меже. Я имел дело с варваром, но при этом с человеком утонченным, говорящим по-гречески, вовсе не глупым, ненамного более вероломным, чем я, и довольно нерешительным, словно бы даже неуверенным в себе. Мои познания в области человеческой психики помогали мне уловить его ускользающую мысль; сидя напротив парфянского императора, я старался предугадывать, а вскоре и направлять его ответы; я как бы входил в игру: представлял себя Хосровом, который торгуется с Адрианом. Мне ненавистны бесполезные споры, когда каждый заранее знает, что он все равно уступит — или, наоборот, ни за что не уступит партнеру; я люблю откровенную прямоту в деловых разговорах, потому что она позволяет максимально все упростить и быстро двинуться вперед. Парфяне боялись нас; мы опасались парфян; из этих двух страхов могла родиться война. Восточные сатрапы стремились к этой войне, исходя из своих личных интересов: я очень скоро подметил, что у Хосрова были свои Квиеты и свои Пальмы; Фарасман, самый неугомонный из этих полузависимых князьков, поставлен-

ных на границах, был для парфянской империи еще опаснее, чем для нас. Впоследствии мне вменялось в вину, что я с помощью денег нейтрализовал это зловредное и безвольное окружение; я же считаю, что выгодно поместил деньги. Я был настолько уверен в превосходстве наших сил, что мог пожертвовать мелким самолюбием; я готов был пойти лишь на те уступки, которые могли бы нанести ущерб моему престижу, но не больше. Самым трудным было убедить Хосрова, что я даю ему мало обещаний только потому, что собираюсь их выполнить. И все же он мне поверил — или сделал вид, что поверил. Наше соглашение, достигнутое в ходе этой встречи, до сих пор остается в силе; вот уже пятнадцать лет, как ни та ни другая сторона не нарушает мир на границах. Я рассчитываю на тебя и надеюсь, что ты позаботишься о том, чтобы так продолжалось и после моей смерти.

Однажды вечером, во время пиршества в императорском шатре, которое Хосров давал в мою честь, среди женщин и мальчиков с длинными ресницами я увидел нагого человека, изможденного, совершенно недвижного; его широко раскрытые глаза, казалось, не замечали всей этой сумятицы, акробатов, танцовщиц, наполненных

мясом блюд. Через переводчика я обратился к нему, но он не удостоил меня ответом. То был мудрец. Однако ученики его оказались более словоохотливыми; это были благочестивые пилигримы, которые пришли из Индии; их учитель принадлежал к могущественной касте браминов. Как я понял, медитации побудили его считать весь наш мир сочетанием иллюзий и заблуждений; самоистязание, отрешенность, смерть были для него единственным способом ускользнуть от той изменчивой волны вещей и явлений, на волю которой всецело отдавал себя наш Гераклит, и он надеялся, преодолев постигаемый чувствами мир, достичь той божественно чистой сферы, того твердого и пустого небосвода, о котором мечтал и Платон. При всей неуклюжести моих толмачей я уловил здесь идеи, которые не были чужды и некоторым нашим мудрецам, но индус выражал их более решительно и обнаженно. Этот брамин достиг того состояния, когда ничто, кроме собственного тела, не отделяло его больше от неосязаемого, лишенного сущности и формы божества, с которым он жаждал соединиться, — он решил сжечь себя заживо на следующий день. Хосров пригласил меня на это торжество. Был зажжен костер из ароматических дров; человек

бросился в него и без единого крика исчез. Ученики брамина не выказали никаких признаков скорби: для них это не было погребальной церемонией.

Я думал об этом всю следующую ночь. Я лежал на ковре из тонкой шерсти в шатре, увешанном тяжелыми яркими тканями. Мальчик массировал мне ступни. Снаружи временами доносились звуки азиатской ночи: шепот рабов позади моей двери, легкое шуршание пальмы, храп Опрамоаса за занавеской, удары копыт стреноженной лошади, порою, в той стороне, где жили женщины, слышалась грустно воркующая песня. Брамин всем этим пренебрег. Этот человек, опьяненный своей идеей отказа от жизни, предал себя пламени — так страстный любовник устремляется к ложу. Он отстранил от себя предметы, людей и, наконец, себя самого, отстранил, отбросил, словно одежду, ибо все это скрывало от него ту единственную реальность, ту невидимую и ничего за собой не таящую точку, которую он предпочел всему остальному.

Я ощущал себя иным человеком, готовым к другим решениям. Самоистязание, отрицание, отрешенность были отчасти не чужды и мне — я вкусил и от них, как это нередко случается с че-

ловеком в двадцать лет. Тогда, в Риме, мне было даже меньше двадцати, когда я с моим другом посетил старого Эпиктета в его трущобе в Субуре, незадолго до того, как он был изгнан Домицианом. Бывший раб, которому жестокий хозяин перебил в свое время ногу, не вырвав из его уст даже стона, высохший старик, терпеливо переносящий нескончаемые муки почечных колик, он показался мне обладателем чуть ли не божественной свободы. Я с восхищением разглядывал костыли, соломенную подстилку, светильник из терракоты, деревянную ложку в глиняной миске — простые орудия чистой жизни. Эпиктет отказывался от излишка вещей, и я скоро понял, что для меня не было ничего легче, как пойти на подобный отказ, в чем и заключалась основная опасность. Индус был более логичен — он отверг самое жизнь. Мне было чему научиться у этих двух фанатиков, но при условии, что я решительно изменю смысл урока, который они мне преподали. Эти мудрецы стремились обрести своего бога по ту сторону бесконечного множества форм, свести божество к единственной, неосязаемой, бестелесной сущности, которую само оно отвергло в тот день, когда пожелало стать вселенной. Мне же мои отношения с богом

рисовались совсем по-другому. Я полагал себя его соратником, содействующим ему в усилиях упорядочить мир, придать ему завершенность, развить и умножить разветвления и спирали этого мира, его извивы и повороты. Я был одним из сегментов колеса, одною из ипостасей этой единой силы, растворенной во всем многообразии вещей, был орлом и в то же время быком, человеком и лебедем, мозгом и фаллосом, был Протеем, который одновременно является Юпитером.

Примерно к этому времени я почувствовал себя богом. Пойми меня правильно, я по-прежнему и даже в большей степени, чем всегда, был все тем же человеком, вскормленным плодами земли, возвращающим почве остатки даруемой ею пищи, приносящим себя в жертву сну при каждом обороте светил, впадающим в беспокойство, доходящее до безумия, когда он надолго лишен жарких объятий любви. Моя сила, моя физическая и умственная живость поддерживались вполне человеческой гимнастикой. Но могу сказать лишь одно: все это переживалось мною как богом. Дерзким опытам юности наступил конец, наступил конец торопливой жажде поскорей насладиться дарами быстротекущего времени. В сорок четыре года я ощущал себя осво-

бодившимся от нетерпения, уверенным в себе, совершенным в той мере, в какой допускала это моя природа, ощущал себя вечным. Постарайся понять, что речь идет пока о чисто умственной концепции; вдохновение и восторг, если можно применить здесь эти слова, пришли позже. Я был богом потому, что был человеком. Божественные звания, которых потом удостоила меня Греция, лишь выразили во всеуслышание то, что я давно уже определил сам. Думаю, я мог бы чувствовать себя богом в тюрьмах Домициана или в рудничных шахтах. Я потому столь смело говорю об этом, что это чувство не кажется мне каким-то необыкновенным, присущим лишь мне одному. Его испытали или испытают в будущем многие другие.

Как я сказал, мои звания мало что добавляли к этой удивительной уверенности; но она всякий раз подтверждалась самыми простыми и повседневными заботами моего императорского ремесла. Если Юпитер — мозг мира, то человек, занимающийся устройством и упорядочением людских дел, может с полным основанием считать себя частью этого мозга, который руководит всем сущим. Правы люди или заблуждаются, но они почти всегда видят в боге провидение; мои

обязанности требовали от меня быть для части рода человеческого именно этим провидением во плоти. Чем дальше развивается государство, стискивая людей своими бесстрастными холодными кольцами, тем больше стремится человеческая вера поместить на другом конце этой цепи гигантскую фигуру обожаемого защитника и покровителя. Хотел я того или нет, восточное население империи видело во мне бога. Даже на Западе, даже в Риме, где нас провозглашают богами лишь после смерти, темному религиозному простонародью больше нравилось обожествлять нас при жизни. Вскоре признательные парфяне воздвигли храмы в честь римского императора, который восстановил и поддержал мир; мое святилище появилось в Вологезии — в глубине этого обширного и чуждого мне мира. Далекий от того, чтобы усматривать в этих знаках обожания грозящую мне опасность стать безумцем или тираном, я обнаружил в них некоторую узду, обязательство равняться на некую вечную модель и прибавлять к человеческому могуществу толику высшей мудрости. Быть богом обязываете конечном счете к большим доблестям, нежели быть императором.

Полтора года спустя я повелел приобщить меня

к Элевсинским таинствам. Визитом к Хосрову был в определенном смысле отмечен поворот в моей жизни. Вместо того чтобы вернуться в Рим, я решил отдать несколько лет греческим и восточным провинциям империи: Афины все больше становились моей родиной, моим очагом. Мне хотелось понравиться грекам, хотелось возможно больше эллинизироваться и самому, но это посвящение в таинства, частично вызванное политическими соображениями, стало для меня религиозным переживанием, не имеющим себе равных. Великие обряды обычно символизируют события человеческой жизни, однако символ глубже любого поступка, он объясняет каждое из наших движений в категориях вечной механики. Откровение, полученное в Элевсине, должно оставаться тайным; впрочем, его и невозможно разгласить, ибо по природе своей оно неизреченно[139]. Будучи сформулировано, оно бы свелось

[139] КОММЕНТАРИЙ: 139

Элевсин — поселение неподалеку от Афин, где с глубокой древности проводились празднества в честь сельскохозяйственных богов — Деметры, ее дочери Персефоны и Иакха (бога из круга Диониса). Нисхождение Персефоны осенью в царство смерти и возрождение ее к жизни весной изначально символизировали сельскохозяйственный цикл, но постепенно приобрели характер мистических событий, которые отмечались соответственно как Великие и Малые Элевсинии и к которым допускались только посвященные, разыгрывавшие мистическую драму возрождения от смерти к жизни. (Ср. интерес Адриана к культу Митры, также воплощавшего диалектику жизни и смерти.)

к банальности; в этом и коренится его глубина. Самые высокие степени истины, которые были открыты мне впоследствии в ходе личных бесед с верховным жрецом, почти ничего не прибавили к тому первому потрясению, какое наверняка испытывает самый невежественный из паломников, принимающих участие в ритуальных омовениях и пьющих воду из священного источника. Я услышал, как диссонансы разрешаются гармоничным созвучием; мне стала на мгновение опорой какая-то иная сфера, я созерцал издалека и в то же время видел вблизи шествие людей и богов, в котором и я занимал свое место; я видел мир, в котором еще существует страдание, но больше нет заблуждений. Человеческая участь, этот смутный набросок, в котором даже самый неопытный глаз обнаруживает множество ошибок, мерцала передо мной, словно начертанная на небесах.

Именно здесь уместно, пожалуй, упомянуть о том пристрастии, которое всю жизнь влекло меня на дороги хоть и не столь сокровенные, как пути Элевсина, но в конечном счете параллельные им: я говорю об изучении звезд. Я всегда был другом астрономов и клиентом астрологов. Наука этих последних является зыбкой, ложной

в деталях, но, быть может, истинной в целом: поскольку человеком, этой частицей Вселенной, управляют те же законы, какие ведают небом, не будет нелепостью искать там, в вышине, главные линии наших жизней, те лишенные эмоций пристрастия, которые перемешиваются с нашими успехами и ошибками. Не было ни одного осеннего вечера, чтобы я не взглянул на юг и не приветствовал Водолея, небесного Виночерпия, Раздатчика благ, под знаком которого я рожден. Я не забывал отыскать, при каждом их прохождении, Юпитера и Венеру, что руководят моей жизнью, а также определить меру влияния злокозненного Сатурна. Но если преломлению наших человеческих судеб на звездном своде я нередко посвящал долгие часы ночных бдений, еще больший интерес испытывал я к небесной математике, к тем умозрительным построениям, на какие наталкивают нас эти огромные пылающие тела. Подобно самым дерзким из наших мудрецов, я был склонен считать, что Земля тоже участвует в этом ночном и дневном движении, человеческим подобием которого являются священные шествия Элевсина. В мире, где все представляет собой лишь круговорот сил, пляску атомов, где все пребывает одновременно

вверху и внизу, на периферии и в центре, я плохо представлял себе существование неподвижного шара, намертво прикрепленной к своему месту точки, которая не была бы при этом в движении. Иногда вычисления прецессии равноденствий, установленной некогда Гиппархом Александрийским[140], заполняли мои бессонные ночи: я обретал в них, уже не в форме притчи или символа, а в виде непреложных доказательств, все ту же элевсинскую тайну ухода и возвращения. Ныне Колоса Девы нет больше на карте звездного неба в том месте, где его отметил Гиппарх, но колебание это есть свершенье какого-то цикла, и само изменение светил подтверждает гипотезы астронома. Постепенно, неотвратимо наш небосвод станет снова таким же, каким он был во времена Гиппарха; он станет опять и таким, каков он сейчас, во времена Адриана. Беспорядок включался в порядок, изменение было составной частью того плана, который астроном сумел предвидеть заранее; человеческий ум обнаруживал здесь свою сопричастность Вселенной благодаря точным теоремам, так же как в Элевсине — бла-

[140] КОММЕНТАРИЙ: 140

Знаменитый древнегреческий астроном и математик, расцвет деятельности которого, протекавшей на о. Родос и в Александрии, приходится на 160–125 гг. до н. э.

годаря ритуальным кликам и пляскам. Человек, наблюдающий светила, и светила, наблюдаемые человеком, неизбежно катились к своему концу, который определен был на небесах. Но каждый миг этого падения был временем остановки, вехой, отрезком некоей кривой, столь же прочной, как прочна золотая цепь. Каждое перемещение приводило нас к точке, которая в силу того, что мы случайно в ней оказались, представлялась нам центром.

С ночей моего детства, когда поднятая рука Маруллина указывала мне на созвездия, интерес к небесным явлениям не покидал меня. Во время вынужденных бодрствований на лагерных стоянках я созерцал луну, которая скользила сквозь тучи в небесах над землями варваров; позже, ясными аттическими ночами, я слушал, как астроном Терон Родосский объяснял мне свою систему мироустройства; растянувшись на палубе корабля, плывшего по Эгейскому морю, я смотрел, как медленно движется среди звезд бледное свечение мачты, перемещаясь от красного глаза Тельца к текучим, как слезы, Плеядам, от Пегаса к Лебедю, и отвечал, как умел, на наивные и серьезные вопросы юноши, созерцавшего вместе со мною эти же небеса. Здесь, на Вилле, я

распорядился выстроить обсерваторию, и только болезнь не дает мне теперь подняться по ее ступеням. А однажды я принес в жертву созвездиям целую ночь. Это случилось после моего визита к Хосрову, во время перехода через сирийскую пустыню. Лежа на спине с широко открытыми глазами, на несколько часов отрешившись от всех и всяких земных забот, я с вечера и до восхода пребывал в этом пламенном и хрустальном мире. То было самое прекрасное из моих путешествий. Большая звезда созвездия Лиры — Полярная звезда людей, которые будут жить через десятки тысяч лет после того, как нас не станет на свете, — сверкала над моей головой. Близнецы слабо мерцали в последних отсветах заката; впереди Стрельца плыл Змееносец; Орел поднимался к зениту, широко распластав свои крылья, а под ним горело созвездие, еще никак не обозначенное астрономами, которому позже я дал самое дорогое мне имя. Ночь, никогда не бывающая абсолютно темной, какой она кажется тем, кто привык жить и спать только в комнатах, поначалу стала темнеть, затем посветлела. Костры, оставленные для того, чтобы отгонять шакалов, погасли; эти кучки раскаленных углей напомнили мне моего деда, стоящего в своем

винограднике, и его пророчества, которые ныне исполнились, а потом тоже канут в вечность. Неоднократно и самыми разными способами я пытался слиться с божественным; я познал различные формы вдохновения и восторга; встречались меж них и жестокие, и волнующе-нежные. Восторг, пережитый мною в сирийской пустыне, был на удивление ясным. Он запечатлел во мне ход небесных светил с такой точностью, какой не могли дать никакие отдельные наблюдения. Сейчас, когда я пишу тебе, я с полной определенностью знаю, какие звезды проходят здесь, в Тибуре, над этим потолком, украшенным гипсовой лепниной и прекраснейшей живописью, и там, вдалеке, над дорогой мне могилой. Через несколько лет предметом моего постоянного созерцания сделалась смерть, и мыслям о ней я отдавал те силы моего духа, которые не поглощались государственными заботами. Тот, кто говорит о смерти, говорит о таинственном мире, доступ к которому, быть может, лежит через смерть. После стольких раздумий и опытов, порою предосудительных, я все еще не знаю, что происходит за этой черной завесой. Но сирийская ночь — это моя доля бессмертия.

SAECULUM AUREUM
ЗОЛОТОЙ ВЕК

Лето, последовавшее за моей встречей с Хосровом, прошло в Малой Азии; я сделал остановку в Вифинии, чтобы самому проследить, как ведутся работы по рубке государственных лесов. В Никомедии, городе чистом, ухоженном и ученом, я остановился у прокуратора провинции, Гнея Помпея Прокула, в древней резиденции царя Никомеда, где все сладостно напоминало о юных годах Юлия Цезаря[141]. Ветерки, долетавшие с Пропонтиды, овевали эти прохладные и темные залы. Прокул, человек тонкого вкуса, устраивал для меня литературные собрания. Заезжие софисты, группы учеников и любителей изящной словесности собирались в садах, возле источника, посвященного Пану. Время от времени слуга

[141] КОММЕНТАРИЙ: 141

Никомеды — цари созданного ими на северо-западе Малой Азии Вифинского царства, из которых Никомед I в середине III в. до н. э. основал на берегу Пропонтиды (ныне Мраморное море) столицу края Никомедию, а последний, Никомед Филопатор, в 75 г. до н. э. по завещанию передал свое царство римлянам, превратившим его в провинцию. У Никомеда Филопатора в 84–83 гг. довольно долго прожил Юлий Цезарь, в ту пору семнадцатилетний юноша, что и породило сопровождавшую его всю жизнь молву о его противоестественных отношениях с царем.

погружал в него огромный кувшин необожженной глины; самые прозрачные стихи казались замутненными рядом с этой чистой водой.

В тот вечер читалась довольно малопонятная вещь Ликофрона[142], которая нравится мне буйными столкновениями звуков, дерзкими образами и намеками, сложной системой созвучий и отголосков. Какой-то мальчик, примостившись в сторонке, слушал эти трудные для восприятия строфы с видом рассеянным и задумчивым; мне сразу пришел на ум пастух в лесной чаще, лениво внимающий неясному птичьему крику. Мальчик не принес с собой ни стиля, ни дощечек. Сидя на краю бассейна, он время от времени касался пальцами сверкающей глади. Я узнал, что отец мальчика занимал скромную должность в управлении императорскими поместьями; оставшись совсем еще малолетним на попечении дряхлого деда, он был послан к одному из патронов его родителей — судовладельцу в Никомедии, который в глазах этой бедной семьи был богачом.

Я задержал его после ухода гостей. Мальчик

---

[142] КОММЕНТАРИЙ: 142

Ликофрон (род. ок. 330 г. до н. э.) — поэт, живший в Александрии и занимавшийся каталогизацией рукописей в ее библиотеке, известен поэмой «Александра», которая написана нарочито усложненным языком, перегружена мифологическими образами, но не лишена подлинных поэтических красот.

оказался не очень грамотным, почти невежественным, но весьма смышленым и доверчивым. Я бывал в Клавдиополе[143], его родном городе; мне удалось вызвать его на откровенность, и он рассказал мне о родительском доме в краю сосновых лесов, снабжающих мачтами наши суда, о возвышавшемся на холме храме Аттиса[144], чьи пронзительные мелодии он так любил, о прекрасных конях своей страны и ее странных богах. Голос у него был чуть глуховатый, и греческие слова он произносил с восточным выговором. Внезапно, осознав, что его внимательно слушают и за ним наблюдают, он смутился, покраснел и замкнулся в упрямом молчании — манера, к которой я вскоре привык. С той поры мальчик сопровождал меня во всех путешествиях; начались сказочные годы.

Антиной был грек; бродя по дорогам воспоминаний этой древней, неясного происхождения семьи, я добрался до первых аркадских колони-

---

[143] КОММЕНТАРИЙ: 143

Город во внутренней Вифинии, основанный римлянами в I в. н. э.

[144] КОММЕНТАРИЙ: 144

Сын Наны, дочери местного речного бога Сангария, жрец и возлюбленный Великой Матери — богини Кибелы, чей культ был особенно распространен на северо-западе Малой Азии. Аттис погиб, изувечив и оскопив себя, и посвященный ему культ сопровождался дикими проявлениями скорби, самоистязаниями и экстатической музыкой.

стов, поселившихся на берегах Пропонтиды. Но Азия добавила в эту кровь каплю меда, которая замутняет чистое вино и придает ему аромат. Я обнаруживал в нем суеверия учеников Аполлония[145] и монархический фанатизм восточных подданных Великого Царя[146]. Его отличала поразительная молчаливость; он следовал за мной как прирученное животное, как добрый дух. Мальчик был, как щенок, то игрив, то вял, то диковат, то доверчив. Этот великолепный пес, ждущий ласк и приказаний, привольно расположился в моей жизни. Я восхищался тем граничившим с надменностью безразличием, с каким он относился ко всему, что не входило в сферу его удовольствий или предметов его культа; оно заменяло ему и бескорыстие, и совестливость — все высокие добродетели. Я восторгался суровой нежностью, сумрачной преданностью, целиком поглощавшими это существо. И, однако, его покорность вовсе не была слепой; веки, столь часто

---

[145] КОММЕНТАРИЙ: 145

Аполлоний Тианский — странствующий философ неопифагорейского направления, живший в I в. н. э. На пути к совершенству он прошел множество искусов и запретов (искус молчанием, запрет мясной пищи, отказ от ношения шерстяной одежды и т. д.) и требовал того же от своих учеников.

[146] КОММЕНТАРИЙ: 146

Официальный титул царя парфян.

опущенные, выражая согласие или погруженность в мечту, вдруг поднимались, и тогда самые внимательные в мире глаза смотрели мне прямо в лицо; я чувствовал, что меня оценивают и судят. Но оценивал он меня и судил, как верующий оценивает и судит своего бога: моя суровость, мои приступы подозрительности (ибо позднее они у меня случались) принимались терпеливо, с неизменной серьезностью. Единовластным господином и повелителем я был всего лишь раз в жизни и над однимединственным существом.

Если я до сих пор ничего еще не сказал о его бросающейся в глаза красоте, не следует усматривать в этом сдержанность человека, покоренного ею. Зачастую образы, которые мы ищем, безнадежно ускользают от нас и лишь на мгновение возникают вдруг перед нами… Я снова вижу склоненную голову в шапке всклокоченных после сна волос, вижу глаза с удлиненными веками и от этого будто немного косящие, вижу юное, широкоскулое, словно бы нагнувшееся ко мне лицо. Нежное тело непрестанно менялось наподобие растения, и в этом было повинно время. Ребенок становился другим, он мужал. Чтобы изнежить его, достаточно было недели сонливой апатии; однако полдня охоты возвращали ему упругость движений и

атлетическую ловкость. Какой-нибудь час, проведенный на солнце, делал жасминово-белую кожу медовой. Ноги, прежде полноватые, точно у жеребенка, удлинились; щеки утратили детскую округлость, под выступающими скулами обозначились впадины; широкая грудь юного бегуна и шея обрели плавные линии, напоминающие вакханку. В капризной гримасе губ угадывалась горечь, какая-то печальная пресыщенность. Поистине лицо это менялось так, словно я день и ночь его ваял.

Когда я обращаюсь к этим годам, мне кажется, то был Золотой век. Все было легко: то, что прежде требовало усилий, я делал теперь с непринужденностью, достойной бога. Путешествие было игрой — хорошо продуманным удовольствием, которое я умело использовал для дел. Работа становилась некоей формой сладострастия. Моя жизнь, в которой все — и власть, и даже счастье — приходило с опозданием, обретала великолепие ослепительного полудня, превращалась в солнечное забытье послеобеденного отдыха, когда все тонет в золотистой дымке — и вещи в комнате, и человеческое тело, распростертое рядом. Любая страсть по-своему целомудренна, и это целомудрие так же хрупко и непрочно, как

и всякое другое; человеческая красота переходит в разряд зрелищ, перестает быть добычей, которую обычно преследуешь, словно охотник. Это приключение, начавшееся столь банально, обогатило новыми красками мою жизнь, но также и упростило ее: будущее утратило всякую ценность, я перестал задавать вопросы оракулам, звезды были теперь для меня всего лишь восхитительными узорами на своде небес. Никогда прежде я с такой радостью не воспринимал бледную зарю над горизонтом среди островов, прохладу пещер, посвященных нимфам и ставших приютом для перелетных птиц, тяжелый полет перепелов в густеющих сумерках. Я перечитывал поэтов; иные показались мне лучше, чем прежде, но большинство — хуже. Я сам писал стихи, и они представлялись мне менее слабыми, чем обычно.

Я помню море деревьев — леса пробкового дуба и сосняка в Вифинии; охотничий домик с решетчатой галереей, где юноша, вновь обретая беспечность своей родной стороны, наугад пускал стрелы и, швырнув куда попало кинжал и золотой пояс, затевал на кожаном ложе шумную возню с собаками. Долины, казалось, впитали в себя тепло долгого лета; белый пар поднимался

над лугами на берегу Сангария, где носились табуны необъезженных лошадей; на рассвете мы сбегали купаться к реке, раздвигая высокие травы, мокрые от ночной росы, а с неба свисал узкий полумесяц — стародавняя эмблема Вифинии. Я осыпал своими милостями этот край; он даже принял мое имя.

Зима настигла нас в Синопе[147]; там в пору почти скифских морозов я торжественно открыл работы по расширению порта, начатые по моему приказу нашими мореплавателями. По дороге в Византий[148], при въездах в деревни, власти приказали сложить огромные костры, у которых грелась моя стража. Переправа через Босфор в снежный буран была прекрасна; прекрасно было все — поездки верхом по фракийским лесам, колючий ветер, забиравшийся в складки плащей, стук бесчисленных капель дождя по листве и по кровле шатра, и наша остановка в лагере работников, которые должны были возводить Андринополь, и восторженная встреча, устро-

[147] КОММЕНТАРИЙ: 147

Портовый город на Черноморском побережье Малой Азии, сохраняющийся до наших дней на том же месте (Синоп в Турции).

[148] КОММЕНТАРИЙ: 148

Византий — греческий город на европейском побережье Пропонтиды, со II в. до н. э. вступивший в союз с римлянами и с тех пор всегда бывший проводником их влияния в регионе.

енная мне ветеранами дакийской кампании, и мягкая земля, на которой вскоре предстояло подняться стенам и башням. Поездка по дунайским гарнизонам привела меня весной в процветающее поселение, каким стала Сармизегетуза; вифинский мальчик носил тогда на запястье браслет царя Децебала. Мы возвращались в Грецию северным путем; я надолго задержался в орошаемой родниковыми водами Темпейской долине[149]; лучившейся пламенем розового вина Аттике предшествовала золотистая Эвбея. Мы бросили лишь беглый взгляд на Афины; во время моего посвящения в таинства Мистерий я провел три дня и три ночи в Элевсине, смешавшись с толпою паломников, которые прибыли туда одновременно с нами, и единственной принятой мной предосторожностью было запрещение мужчинам носить при себе ножи.

Я повез Антиноя в Аркадию его предков; леса там были так же непроходимы, как и в те времена, когда в них обитали древние охотники на волков. Порою ударом хлыста всадник вспугивал

---

[149] КОММЕНТАРИЙ: 149

См. прим. 24.

24 КОММЕНТАРИЙ: 24

Узкая живописная долина между горами Олимп и Осса в Фессалии — в Северной Греции.

змею; над каменистыми вершинами, словно в разгар лета, пылало солнце; привалившись спиною к скале и свесив голову на грудь, юноша дремал, и ветер тихонько шевелил его волосы — он был словно Эндимион, выбравшийся на солнечный свет из пещеры[150]. Единственным огорчением этих безоблачных дней было то, что заяц, которого мой юный охотник с большим трудом приручил, был разорван собаками. Жители Мантинеи с удивлением обнаружили свое родство с семьей вифинских колонистов, дотоле им неведомое[151]; этот город, где впоследствии мальчику были посвящены храмы, я одарил богатством и щедро украсил. Лежавшее в развалинах святилище Нептуна, находившееся здесь с незапамятных времен, было столь почитаемо, что всякий доступ в него был под строжайшим запретом; таинства более древние, чем сам че-

[150] КОММЕНТАРИЙ: 150

Эндимион — персонаж греческой мифологии, возлюбленный богини луны Селены. Он был охотником или пастухом, погруженным в вечный сон в гроте у горы Латма в Карий на юго-западе Малой Азии, куда к нему каждую ночь спускалась богиня.

[151] КОММЕНТАРИЙ: 151

Фраза не лишена иронии. Смысл ее в том, что под давлением Адриана семья безвестных вифинских колонистов получила почтенную генеалогию — была признана без всяких оснований происходящей от граждан Мантинеи, одного из самых древних и славных городов Греции, упоминаемого уже у Гомера (Илиада, II, 607).

ловеческий род, по-прежнему вершились за его постоянно замкнутыми дверями. Я возвел новый храм, гораздо более обширный, внутри которого старое сооружение покоится отныне словно косточка в сердцевине плода. На дороге, неподалеку от Мантинеи, я приказал обновить гробницу, в которой Эпаминонд, павший в сражении, похоронен рядом со своим юным соратником, убитым в том же бою; колонна, на которой высечены стихи, высится как память той далекой эпохи, в которую, если смотреть на нее из дали времен, все было исполнено простоты и благородства — нежность, слава, смерть. Пелопоннесские игры прошли в Ахайе с такой пышностью, какой люди не видывали с древнейших времен; возрождая эти великие празднества, я надеялся возвратить Греции ее былое единство. Охотничий азарт увлек нас в долину Геликона, позлащенную последними красками осени; мы остановились на привал у Нарциссова ключа, невдалеке от алтаря Амура, и здесь принесли в дар самому мудрому из богов[152] наш трофей — шкуру молодого медведя, прибив ее к стене храма золотыми гвоздями.

Наконец судно, которое купец Эраст из Эфеса

[152] КОММЕНТАРИЙ: 152

Подразумевается Аполлон, излюбленным местом обитания которого был Геликон — горный кряж в Беотии (Северная Греция).

предоставил в мое распоряжение для плаванья вдоль архипелага, стало на якорь в Фалерской бухте[153]; я поселился в Афинах, как человек, вернувшийся к родному очагу. Я позволил себе прикоснуться к этой красоте, отважился на попытку сделать этот замечательный город городом совершенным. После долгого периода упадка Афины вновь заселялись, вновь начинали расти; я вдвое расширил занятое ими пространство; я наметил возвести вдоль Илиса новые Афины — город Адриана рядом с городом Тесея[154]. Предстояло все заново определить и разметить, все выстроить. Шесть веков назад работы по возведению огромного храма, посвященного Зевсу Олимпийскому, едва успев начаться, были прекращены. Мои рабочие принялись за дело; Афины снова познали радость энергичной деятельности и оживления, которой они не вкушали со времен Перикла. Я завершал то, что оказалось не по плечу Селевкидам; я восстанавливал то, что было

[153] КОММЕНТАРИЙ: 153

Фалер — одна из гаваней Афин.

[154] КОММЕНТАРИЙ: 154

Буквальное воспроизведение одной из надписей, связанных со строительной деятельностью Адриана в Афинах.

разграблено Суллой[155]. Необходимость надзора за работами вынуждала меня ежедневно сновать взад и вперед по лабиринтам хитроумных приспособлений среди машин и блоков, среди недостроенных колонн и белых каменных глыб, сложенных одна на другую под синими небесами. Многое напоминало здесь атмосферу всеобщего возбуждения, царящую при сооружении морских судов; поднятый со дна моря корабль отправлялся в будущее. По вечерам архитектура уступала место музыке — этим совсем иным, не видимым глазу конструкциям. Я испробовал свои силы почти во всех видах искусств, однако искусство звуков — единственное, в котором я достиг определенного мастерства. В Риме мне приходилось скрывать свое пристрастие к музыке; в Афинах же я мог, соблюдая разумную меру, наконец ей предаться. Музыканты собирались в окруженном кипарисами дворе, у подножия статуи Гермеса. Нас было не больше шести-семи человек; оркестр составляли флейты и лиры, к которым иногда присоединялась и цитра. Сам я чаще всего брал

---

[155] КОММЕНТАРИЙ: 155

Селевкиды — царская династия потомков Селевка, одного из диадохов. Сулла (138-78 гг. до н. э.) — римский консул (88 г.) и диктатор (82–79 гг.), в ходе гражданской войны с другим римским консулом и полководцем, Гаем Мари ем, в 87 г. взял Афины и допустил разграбление города, уничтожение его памятников и священных рощ.

в руки поперечную флейту. Мы играли старинные, ныне почти забытые мелодии, а также новые пьесы, специально сочиненные для меня. Мне нравилась мужественная суровость дорийских напевов, но мне не претили и страстные, надрывные перебои ритма, которых люди глубокомысленные, чья добродетель заключается в том, чтобы всего опасаться, избегают как слишком рискованных для слуха и сердца. Сквозь струны я видел профиль моего юного спутника, старательно исполнявшего свою партию в ансамбле, видел его пальцы, проворно бегающие вдоль туго натянутых жил.

Эта прекрасная зима была щедра на дружеские знакомства и встречи; богач Аттик, чей банк, не без выгоды для его владельца, финансировал мои градостроительные работы, пригласил ‘меня в кефиссийские сады, где он жил в окружении целой свиты импровизаторов и модных писателей; его сын, молодой Герод, был истинным острословом, ярким и умным; он сделался постоянным участником моих афинских трапез. Он совершенно избавился от своей прежней робости, которая лишила его дара речи в тот день, когда афинские эфебы прислали его ко мне на сарматскую границу, чтобы поздравить с при-

нятием императорской власти; но непомерное тщеславие Герода казалось мне смешным. Ритор Полемон, влиятельный деятель из Лаодикеи, который состязался с Геродом в красноречии, а еще больше в богатстве, восхищал меня своим азиатским стилем, своим размахом, безбрежным и блистающим, точно воды Пактола[156]; этот искусный укладчик слов и говорил, и жил великолепно. Но всего дороже была для меня встреча с Аррианом Никомедийским, ставшим моим лучшим другом. Моложе меня лет на двенадцать, он уже тогда начал свою прекрасную политическую и военную карьеру, в которой он преуспевает и ныне, честно служа отечеству. Его опытность в государственных делах, его знание лошадей, собак и гимнастических упражнений ставили его неизмеримо выше всех краснобаев. В молодости он стал жертвой одной из тех странных прихотей ума, без которых, быть может, нет ни подлинной мудрости, ни подлинного величия: два года провел он в Никополе Эпирском, в крохотной,

[156] КОММЕНТАРИЙ: 156

Полемон (97(?)-153 (?) гг.) — оратор и наставник красноречия, живший и учивший в Смирне (Малая Азия). Сохранившиеся его речи выдержаны в так называемой азианийской манере — яркой, нервной, цветистой и темпераментной, близкой к поэтическому стилю и призванной воздействовать на эмоции слушателей больше, чем на логику и разум. Пактол — речка в Малой Азии, которая в древности была обильна золотоносным песком.

холодной и пустой комнате, в которой умирал Эпиктет; Арриан поставил себе целью собрать по крупицам и записать последние речи старого больного философа. Эти годы юношеского энтузиазма наложили на него свою печать; он вынес из них замечательные нравственные правила, суровую чистоту души. Он втайне подвергал себя истязаниям, о которых никто не подозревал. Однако и после долголетнего приобщения к стоическому режиму жизни он не закоснел в тенетах ложной мудрости: Арриан был слишком умен, чтобы не видеть, что в добродетели, как и в любви, существуют свои крайности, ценность которых именно в том, что они редки и каждая из них является единственным в своем роде примером совершенства — прекрасного излишества. Он взял себе за образец ясный ум и безукоризненную честность Ксенофонта. Он писал историю своей страны, Вифинии. Я взял под свою личную юрисдикцию эту провинцию, долгое время из рук вон плохо управлявшуюся проконсулами; он помогал мне советами в моих планах преобразований. Этому усердному читателю сократовских диалогов были ведомы все сокровища героизма, преданности и даже мудрости, которыми Греция сумела облагородить дружескую привязанность

одного человека к другому; он относился к моему юному любимцу с ласковой почтительностью. Оба вифинца говорили на том мягком ионийском диалекте, с почти гомеровскими окончаниями слов, который я потом уговорил Арриана использовать в своих произведениях.

В Афинах был в ту пору философ, провозглашавший умеренность и воздержание: Демонакт вел в своей хижине, в деревне Колон, примерную и полную радостей жизнь. Это был отнюдь не Сократ; в нем не было ни сократовской проницательности, ни его задора, а главное — сократовского насмешливого добродушия. Комический актер Аристомен, вдохновенно исполнявший старую аттическую комедию, также принадлежал к числу моих искренних друзей. Я называл его своей греческой куропаткой; толстенький коротышка, жизнерадостный, точно ребенок или птица, он как никто знал обряды, поэзию и кухню старых времен. Он долгое время развлекал и обучал меня своим искусствам. Антиной привязался в ту пору к философу Хабрию, платонику, затронутому орфизмом, самому наивному человеку на свете; он относился к мальчику с преданностью сторожевого пса, которую позже перенес и на меня. Одиннадцать лет придворной жизни нисколько

не изменили это простодушное, благочестивое, целомудренно погруженное в свои мечтания существо; он был слеп к интригам и глух к сплетням. Порой он наводит на меня скуку, но я не расстанусь с ним до конца своих дней.

Мои отношения с философом-стоиком Евфратом оказались не столь продолжительными. Он удалился в Афины после шумного успеха в Риме. Я взял его к себе чтецом, но страдания, которые с давних пор причиняла ему больная печень, и явившееся следствием этого ослабление организма привели его к убеждению, что жизнь не принесет ему больше утех, ради которых стоило бы продолжать свои дни. Он попросил у меня дозволения оставить службу и покончить жизнь самоубийством. Я никогда не был врагом добровольного ухода; я и сам подумывал об этом как о возможном конце в те трудные дни, которые предшествовали смерти Траяна. Эта мысль тогда преследовала меня; самоубийство представлялось мне самым легким исходом. Евфрат получил разрешение, которого он просил; я передал его через моего юного вифинца, быть может потому, что мне самому было бы по душе получить этот последний ответ из уст подобного вестника. В тот же вечер философ явился во дворец для непри-

нужденной беседы, которая ничем не отличалась от всех других наших бесед; на следующий день он покончил с собой. В беседах с Антиноем мы снова и снова возвращались к этому случаю; в течение нескольких дней мальчик был очень расстроен. Это прелестное чувственное существо с ужасом относилось к смерти; однако я не замечал, чтобы Антиной всерьез задумывался о ней. Что касается меня, в те дни я с трудом понимал, как можно добровольно покинуть мир, казавшийся мне прекрасным, как можно не использовать до конца, невзирая на все несчастья и беды, последнюю возможность мыслить, осязать и просто созерцать вокруг себя жизнь. Я сильно переменился с тех пор.

Даты перемешиваются у меня в голове, память развертывает передо мной целую фреску, на которой громоздятся события и поездки разных лет. Судно, с превеликой пышностью оборудованное купцом Эрастом из Эфеса, обратило свой нос на восток, затем на юг и наконец к Италии, которая становилась для меня Западом. Мы дважды заходили на Родос; ослепляющий своей белизной Делос мы посетили сначала апрельским утром, а потом в лунную ночь летнего солнцестояния; плохая погода у побережья Эпира позволила мне

продлить свой визит в Додону. В Сицилии мы задержались на несколько дней в Сиракузах, чтобы проникнуть в тайну источников Аретузы, Цианеи, прекрасных голубых нимф… Я вспомнил Лициния Суру, государственного деятеля, который посвящал свои досуги изучению водных чудес. Я слышал о том поразительном зрелище, какое представляет собой восход солнца над Ионическим морем, если смотреть на него с вершины Этны. Я решил предпринять восхождение на эту гору. Мы прошли через зону виноградников, потом через зону лавы и добрались до зоны снегов. Мальчик, словно танцуя, взбегал по обрывистым склонам; сопровождавшие меня ученые поднимались в гору верхом на мулах. На вершине был устроен приют, где мы должны были дождаться зари. И вот она наступила; огромное покрывало Ириды распахнулось из края в край горизонта; причудливые огни засверкали на льдах; взору открылось земное и морское пространство вплоть до Африки, которую мы видели отчетливо, и Греции, которая лишь смутно угадывалась вдали. То была одна из вершин моей жизни. Здесь было решительно все — и золотистая бахрома по краю облака, и орлы, и виночерпий бессмертия.

Альционские дни и недели[157], солнцестояние моей жизни… Я не собираюсь сверх меры расписывать свое далекое счастье; напротив, мне надо бороться за то, чтобы образ его не показался чрезмерно слащавым; теперь даже память о нем нелегка для меня. Будучи гораздо более искренним, чем большинство людей, я без обиняков признаю тайные причины тогдашнего моего блаженства: душевный покой, столь благотворный для трудов человека, для его духовных свершений, представляется мне одним из самых прекрасных плодов любви. И меня удивляет, что эти радости такие непрочные и, под каким бы обличьем они к нам ни являлись, так редко на протяжении человеческой жизни вкушаемые сполна, рассматриваются с великой подозрительностью мнимыми мудрецами, которые больше всего страшатся привычности этих радостей или их избытка, вместо того чтоб страшиться их

---

[157] КОММЕНТАРИЙ: 157

Древнегреческий миф об Альционе и ее муже Кеике состоял в том, что, обуянные любовью и гордыней, супруги назвали друг друга богами, она его — Зевсом, он ее — Герой, за что Зевс превратил их в птиц, его — в зимородка, ее — в чайку. Ежегодно Кеик гибнет в море и труп его волны выносят на берег; тогда жена его превращается из чайки в зимородка и ровно неделю высиживает своих птенцов в зимнее время на море. В это время здесь царит полная тишина, потому что отец Альцимоны, бог ветров Эол, удерживает на эти дни любое дуновение. Один из вариантов мифа подробно рассказан в «Метаморфозах» Овидия, XI, 410–748.

отсутствия или утраты; они расходуют время на то, чтобы извращать их смысл, вместо того чтобы постараться облагородить ими свою душу. Неизменную чуткость, с какой я привык относиться к мельчайшим оттенкам своих поступков, я обратил в ту пору на то, чтобы укреплять свое счастье, полнее вкушать его, как можно вернее его оценивать; да и что, в конце концов, представляет собой наслаждение, как не страстную нашу чуткость? Счастье — всегда высокое произведение искусства: малейшая оплошность искажает его, малейшая нерешительность губит, малейшая неловкость уродует, малейший вздор оглупляет. Мое счастье не повинно ни в одном из тех моих промахов, которые впоследствии разбили его; до тех пор, пока я действовал в согласии с его духом, я поступал мудро. Я думаю, что человек более мудрый, чем я, мог бы быть счастлив до конца своей жизни.

Несколько позже, во Фригии, на том рубеже, где Греция сливается с Азией, мне предстал самый полный и самый светлый образ этого счастья. Мы стояли лагерем в том месте, пустынном и диком, где находится могила Алкивиада, который пал жертвой козней сатрапов. Я велел поставить на этой могиле, веками пребывавшей в небрежении,

статую из парасского мрамора — изображение одного из тех людей, которых Греция любила более всего. Я распорядился также, чтобы там ежегодно производились поминальные обряды; жители соседней деревни присоединились к людям моей свиты для свершения первой из этих церемоний; в жертву был принесен молодой бычок; часть мяса оставили для вечернего пиршества. На равнине состоялись импровизированные конные состязания, потом были пляски, в которых с пылкой грацией участвовал молодой вифинец; а вечером, у последнего костра, он запел, откинув назад свою прекрасную сильную шею. Я люблю вытянуться на земле рядом с умершими, чтобы соразмерить с их жизнью свою собственную; в тот вечер я сравнивал ее с жизнью великого искателя наслаждений, который на склоне лет был пронзен здесь стрелами, защищаемый юным другом и оплаканный афинской куртизанкой. Моя молодость не могла соперничать с очарованием молодости Алкивиада, но моя многогранность не уступала его многогранности и даже превзошла ее. Я испытал не меньше, чем он, наслаждений, я больше, чем он, размышлял, и потрудился я много больше; мне, как и ему, выпало на долю странное счастье быть любимым. Алкивиад обо-

льстил всех и вся, даже Историю, и все же оставил после себя груду мертвых афинян на ристалищах Сиракуз, слабо держащееся на ногах отечество и нелепо изувеченных богов на перекрестках дорог. Я управлял миром неизмеримо более обширным, чем тот, некотором жил этот афинянин; я изгнал из этого мира войны; я оснастил его, как прекрасный корабль, уходящий в плавание, которое будет длиться века; я как мог боролся за то, чтобы поддержать в человеке божественное начало, не жертвуя началом человеческим. И мое счастье было мне платой за это.

Потом был Рим. Но на этот раз ничто не вынуждало меня осторожничать, кого-то ободрять, кому-то нравиться. Дела принципата поглощали меня целиком; двери в храме Януса, которые обычно распахивают во время войны, оставались плотно закрытыми; мои замыслы приносили плоды; процветание провинций благотворно сказывалось на метрополии. Я больше не отвергал звание Отца Отечества, которое было даровано мне еще в пору принятия императорской власти.

Не было уже в живых Плотины. Во время своего предыдущего приезда в город я в последний раз видел эту женщину с немного усталой улыбкой, в

официальных документах именовавшуюся моей матерью; но она была больше чем матерью — она была в моей жизни единственной женщиной-другом. На этот раз меня ждала лишь маленькая урна, установленная под колонной Траяна. По моему настоянию была проведена церемония посмертных почестей; вопреки обычаям империи я учредил девятидневный траур. Но смерть мало что изменила в нашей близости, которая годами могла обходиться без личного общения; императрица остается для меня тем же, чем она была всегда: духом, мыслью, обрученной с моей собственною мыслью.

Завершались некоторые из моих больших строительных работ: восстановленный Колизей, очистившийся от воспоминаний о Нероне, все еще осквернявших эти места, был вместо статуи этого императора украшен громадным изображением Солнца, Царя Гелиоса, в чем содержался намек на мое родовое имя — Элий. Заканчивалась отделка храма Венеры и Ромы, возведенного на месте скандального Золотого дома, где отличавшийся отсутствием вкуса Нерон выставлял напоказ свою добытую нечестными путями роскошь. Кота, Атог… — божество Вечного города впервые отождествлялось с Матерью Любви,

вдохновительницей человеческой радости. Это была одна из главных идей моей жизни. Римское могущество обретало тем самым характер космический и священный, ту миролюбивую покровительственную форму, которую мне всегда хотелось ему придать. Временами я мысленно уподоблял покойную императрицу мудрой Венере, этой божественной советчице.

Боги все больше рисовались мне таинственно слившимися в единое Божество, представлялись бесконечно многообразными эманациями и равноправными проявлениями одной и той же силы; их противоречивость была лишь формой их общности. Сооружение храма Всех Богов — строительство Пантеона — стало моей неодолимой потребностью. Я избрал для этого место на развалинах бывших общественных терм, дарованных некогда римскому плебсу Агриппой, зятем Августа. От прежнего здания остались лишь портик да мраморная доска с посвящением римскому народу; она была бережно перенесена на фронтон нового храма. Меня мало трогал тот факт, что на этом монументе, воплотившем в себе мой замысел, значилось мое имя, однако радовало то, что древняя, более чем столетняя, надпись связывала его с началом империи, с

мирным правлением Августа. Даже там, где я вводил новшества, мне нравилось ощущать себя прежде всего продолжателем чужих деяний. Кроме Траяна и Нервы, официально ставших моими отцом и дедом, сам я связывал себя с двенадцатью цезарями, к которым был так суров Светоний; ясный ум Тиберия, но без его жестокости, эрудиция Клавдия, но без его слабости, склонность к искусствам Нерона, но лишенная его тупого тщеславия, доброта Тита, но без его дурного вкуса, бережливость Веспасиана, если отбросить его смехотворную скаредность, давали мне достаточно примеров для подражания. Эти властители сыграли свою роль в человеческих делах, и мне теперь предстояло выбрать из их деяний те, что я хотел бы продолжить, предстояло упрочить все лучшее из сделанного ими и исправить все худшее, чтобы впоследствии другие люди, в разной степени способные к этому, но в равной мере ответственные, взяли на себя задачу сделать то же с моими начинаниями.

Освящение храма Венеры и Ромы явилось своего рода триумфом, который сопровождался состязанием колесниц, публичными зрелищами, раздачей пряностей и благовоний. Двадцать четыре слона, на которых были доставлены к месту

строительства огромные блоки — что значительно облегчило каторжный труд рабов, — живыми монолитами влились в общую процессию. Датой проведения празднеств был избран день рождения Рима, восьмой день вслед за апрельскими идами восемьсот восемьдесят второго года от основания Города. Римская весна никогда еще не была столь ласковой, столь буйной, столь голубой. В тот же день, с более суровой и словно бы приглушенной торжественностью, состоялась церемония освящения в самом Пантеоне. Я собственной рукою исправил слишком робкие проекты архитектора Аполлодора. Использовав греческие мотивы лишь в орнаментальных целях, для придания храму большей пышности, я в самой структуре его вернулся к давним, легендарным временам Рима, к круглым храмам древней Этрурии. Я пожелал, чтобы это святилище Всех Богов воспроизводило форму земного шара и звездной сферы — шара, в котором заключены истоки вечного огня, и вогнутой сферы, которая объемлет все сущее. То была также и форма первобытных хижин, откуда дым древнейших человеческих очагов выходил через проделанную в кровле дыру. Купол, сооруженный из прочной и легкой лавы, которая, казалось, еще продолжала

кипеть в восходящем потоке пламени, сообщался с небом через большое отверстие, синее днем и черное ночью. Этот храм, со всех сторон открытый и вместе с тем сокровенный, был задуман как солнечные часы. Время будет вращаться по кругу над этими ларцами, которые так заботливо отполировали греческие мастера; диск дневного света будет висеть над ними как золотой щит; дождь оставит на каменных плитах лужицы чистой воды; молитва уйдет, точно дым, в пустоту, которую мы заселили богами. Этот праздник явился для меня одним из тех мгновений, к которым, словно к одной-единственной точке, сбегаются все линии жизни. Я стоял на дне этого дневного колодца, и рядом со мною были люди моего царствования — материал, из которого складывалась моя судьба, уже более чем наполовину завершенная судьба человека на склоне лет. Вот Марций Турбон, верный, преданный слуга, с его суровой энергией; вот Сервиан, с его брюзгливым достоинством и с его критическими суждениями, которые произносились от раза к разу все более тихим шепотом и уже не достигали моего слуха; вот отличающийся царственным изяществом Луций Цейоний; и, немного поодаль, в светлом сумраке, который приличествует явлению богов,

виднелось мечтательное лицо юного грека, ставшего для меня воплощением судьбы. Моя жена, тоже присутствовавшая на церемонии, только что удостоилась звания Августы.

Я издавна любил легенды о любовных похождениях богов и об их распрях, предпочитая их тяжеловесным пересудам философов о божественной сущности; я согласился бы стать земным отражением Юпитера, ибо он представлялся мне тем более богом, что был живым человеком, держителем вселенной, воплощением правосудия, порядка вещей, любовником Ганимедов и Европ, небрежительным супругом горестной Юноны. Мой ум, в тот день настроенный все видеть в ясном, лишенном теней свете, сравнивал мою жену с этой богиней, которой во время моего недавнего посещения Аргоса я пожертвовал золотого павлина, украшенного драгоценными камнями. Я мог бы избавиться от этой нелюбимой женщины, разведясь с нею; будь я частным лицом, я сделал бы это без малейших колебаний. Но она меня почти не стесняла, и ничто в ее поведении не давало мне повода публично ее оскорбить. Будучи молодою женой, она возмущалась моими уклонениями от обязанностей супруга, но ее более всего, почти так же, как и ее дядю, раздражали

мои долги. Как и большинству тех женщин, что мало чувствительны к любви, ей было недоступно понимание власти, которой обладает любовь; это неведение исключало в ее отношении ко мне как снисходительность, так и ревность. Она стала бы тревожиться лишь в том случае, если ее почетные звания или безопасность оказались бы под угрозой, но я не давал для этого повода. В ней уже не осталось и следа той девичьей грации, которая когда-то ненадолго меня привлекла; эта до срока состарившаяся испанка стала с возрастом неповоротливой и угрюмой. Меня радовало, что холодность помешала ей завести любовника, и было приятно, что она с достоинством носит покровы матроны, которые выглядели почти как покровы вдовы. Мне даже нравилось, что профиль моей супруги изображен на римских монетах, с надписями на обороте, прославлявшими то ее Целомудрие, то ее Спокойствие. Невольно вспоминался тот фиктивный брак, что был заключен в вечер Элевсинских празднеств между великой жрицей и гиерофантом, брак, который не был ни союзом, ни даже просто условным общением, но был ритуалом и по этой причине — актом священным.

Ночью, последовавшей за этим торжеством,

я смотрел с высокой террасы, как пылал Рим. Эти ликующие огни не уступали тем пожарам, которые зажег Нерон; они были почти так же грозны. Передо мной лежал Рим — горнило, печь, но также и кипящий металл; молот, но также и наковальня — наглядное свидетельство того, что в истории вечно переплетаются концы и начала; одно из тех мест, где жизнь человеческая проявляется наиболее бурно. Трагический пожар Трои, из которого ускользнул беглец, забрав с собою дряхлого отца, юного сына и ларов, завершался в тот вечер праздничными огнями[158]. Со священным ужасом я представлял себе грандиозные пожары грядущего. Миллионы жизней, прошлых, настоящих и будущих, сооружения, недавно рожденные от древних сооружений и предшествующие тем, которым еще только предстоит родиться, проходили перед моим мысленным взором как волны; по чистой случайности этот великий прибой разбивался в ту ночь у моих ног. Не буду останавливаться на тех мгновениях восторга, когда императорская

[158] КОММЕНТАРИЙ: 158

Имеется в виду троянец Эней, который в ночь взятия Трои греками бежал вместе с отцом своим Анхизом и сыном Иулом, унося изображения домашних богов — ларов. Конечным итогом их странствий стало основание Рима. Этот сюжет изложен во второй песне «Энеиды» Вергилия.

багряница, священное одеянье, которое я так редко соглашался носить, была наброшена на плечи создания, обещавшего стать моим гением; мне не только хотелось оттенить эту пурпуровую густоту золотым свеченьем волос, но, самое главное, заставить свое Счастье, свою Фортуну, существа зыбкие и неверные, воплотиться в земную форму, обрести теплоту и успокоительную тяжесть плоти. Прочные стены Палатинского дворца, в котором я так мало жил, но который я недавно перестроил, светились, точно борта корабля; драпировки, раздвинутые для того, чтобы впустить римскую ночь, были полотнищами балдахина на корабельной корме; крики толпы — шумом ветра в снастях. Огромный подводный риф, маячивший в туманной дали, — гигантские опоры моей гробницы, которую начинали уже возводить на берегах Тибра, — не вызывал во мне ни ужаса, ни сожаления, ни суетных мыслей о быстротечности жизни.

Понемногу все высвечивалось иным светом. Уже более двух лет ход времени отмечался поступательным движением юности, которая формировалась, зрела, восходила в зенит: мужал голос, привыкавший покрикивать на лоцманов и егерей; длинней становился шаг бегуна;

ноги всадника увереннее подчиняли себе коня; школьник, который в Клавдиополе зубрил на память большие отрывки из Гомера, приохотился к поэзии причудливой и сладостной, увлекался пассажами из Платона. Мой юный пастух становился молодым принцем. Это уже не был услужливый мальчик, который спешил на привалах спрыгнуть с коня, чтобы принести мне в ладонях ключевой воды; даритель знал теперь цену своим дарам. Во время охот, устраивавшихся во владениях Луция в Этрурии, я получал удовольствие, любуясь этим прекрасным лицом рядом с тяжеловесными и озабоченными физиономиями сановников, рядом с заостренными чертами сынов Востока и толстыми рожами охотников-варваров; я приучал своего любимца к трудной роли друга. В Риме вокруг Антиноя плелись низкие интриги, кое-кто пытался обратить его влияние себе на пользу или занять его место. Углубленный в собственные мысли, этот восемнадцатилетний юноша отличался равнодушием — достоинством, какого не хватает порой мудрецам: он умел пренебрегать всей этой возней или просто не замечать ее. Но в уголках его красивых губ обозначилась горькая складка, что было отмечено скульпторами.

Здесь я даю моралистам возможность легко меня уязвить. Мои критики готовы представить мое несчастье как следствие ошибки, как результат злоупотребления; мне трудно их опровергнуть, ибо я плохо понимаю, в чем состоит эта ошибка и в чем заключается злоупотребление. Я пытаюсь свести свой проступок, если это вообще можно считать проступком, к его истинному значению: я говорю себе, что самоубийство — случай не столь уж редкий и что в двадцать лет умирает довольно много людей. Смерть Антиноя — трагедия и катастрофа лишь для меня одного. Не исключено, что это несчастье было непосредственно связано с той избыточной радостью и с тем накопившимся опытом, в которых я никогда бы не хотел отказать ни себе самому, ни моему товарищу по опасности. Даже мои угрызения совести сделались постепенно горькой формой собственничества, способом уверить себя, что я до конца был печальным хозяином его судьбы. Но я знаю также, что нужно считаться с волею того прекрасного незнакомца, каким, несмотря ни на что, всегда остается для нас близкое существо. Принимая всю вину на себя, я низвожу молодого человека до роли восковой статуэтки, которую я сперва вылепил, а потом сам же и смял в своих

пальцах. Я не имею права умалять значение того странного и с подлинным мастерством исполненного акта, каким явился его уход; я должен признать за этим мальчиком заслугу собственной смерти.

Мне не надо было ждать появления в моей жизни Антиноя, чтобы ощутить себя богом. Однако сопутствовавшая мне удача вскружила мне голову; казалось, сами времена года соревновались с поэтами и музыкантами моей свиты, превращая нашу жизнь в сплошной олимпийский праздник. В день моего прибытия в Карфаген кончилась пятилетняя засуха; обезумевшая от радости толпа, стоя под ливнем, бурно приветствовала меня как дарителя божественных благ; теперь предстояло, пользуясь небесными щедротами, продолжить великие работы в Африке. Незадолго до этого, во время короткой остановки в Сардинии, гроза заставила нас искать убежища в крестьянской хижине; Антиной помогал нашему хозяину поворачивать запекавшиеся над огнем куски тунца; я ощущал себя Зевсом, который в компании с Гермесом посетил Филемона. Юноша, сидевший, подобрав ноги, на кровати, казался мне Гермесом, развязывающим сандалии; виноградная гроздь была сорвана Вакхом, он же протягивал мне

чашу розового вина; его пальцы, загрубевшие от тетивы лука, были пальцами Эрота. Среди всех этих преображений, за очарованием всех этих славных имен, я порой забывал, что передо мной был самый обыкновенный человек, мальчик, который безуспешно пытался овладеть латынью и просил инженера Декриана давать ему уроки математики, но потом сам от них отказался и который в ответ на малейший упрек убегал на нос корабля и, сердито насупившись, глядел в море.

Поездка по Африке завершилась в только что выстроенных, залитых жарким июльским солнцем кварталах Ламбезы; мой спутник с детским восторгом надел военные латы и тунику; я же стал на несколько дней Марсом — с обнаженным торсом и в каске, я принимал участие в военных упражнениях, я ощущал себя атлетом Гераклом, опьяненным собственной — молодой — силой. Несмотря на жару и на тяжелые земляные работы, законченные к моему приезду, армия действовала с чудесной слаженностью; приказать какому-нибудь бегуну преодолеть лишнее препятствие, заставить какого-нибудь всадника выполнить лишнее упражнение означало бы повредить маневрам, нарушить точное равновесие сил, составляющее красоту учений.

Я смог указать командирам лишь на одну-единственную, незначительную ошибку, когда кони были оставлены без прикрытия во время учебной атаки в открытом поле; я был доволен префектом Корнелианом. Разумный порядок чувствовался в движении этих людских масс, тягловых животных и представительниц варварских племен, которые, в окружении пышущих здоровьем детей, подходили к лагерю, чтобы поцеловать мне руки. В этой покорности не было раболепия; я видел в ней поддержку своей программы безопасности границ; сейчас нельзя было останавливаться перед затратами, нельзя было ничего упустить. Я поручил Арриану написать трактат по тактике, выверенный и точный.

Освящение храма Зевса Олимпийского в Афинах послужило поводом для празднеств, которые очень напоминали римские торжества; но то, что в Риме происходило на земле, здесь было перенесено в небеса. Золотым осенним днем я занял место под портиком, который соответствовал гигантским размерам Зевса; этот мраморный храм, возведенный на холме, откуда Девкалион увидел, как кончается потоп, утратил, казалось, свой вес и парил в вышине, словно большое белое облако; мои ритуальные одежды перекли-

кались с красками заката, пылавшего над совсем близким Гиметтом[159]. Я поручил Полемону произнести торжественную речь. Тогда-то Греция и пожаловала мне те божественные имена, в которых я вижу одновременно основу своего престижа и сокровеннейшую цель всех моих трудов: Благодетель, Олимпиец, Лучезарный, Владыка мира. И наконец, самые прекрасные из почетных званий, те, что труднее всего было заслужить: Ионийский, Почитатель Греции. В Полемоне было что-то актерское, но в игре большого актера всегда выражаются чувства, разделяемые толпою — всеми его современниками. Прежде чем начать свою речь, он обратил глаза к небесам, словно собираясь с силами и впитывая в себя неповторимость этих мгновений. Мои труды проходили в содружестве с долгими веками, с самой греческой жизнью; величайший авторитет, заслуженный мною, проистекал не столько от моей власти, сколько от некоего таинственного могущества, которое недоступно человеку, но проявляется во всей полноте лишь в деяниях человеческой личности; брак Рима с Афинами свершился; минувшее вновь обретает облик грядущего; Греция

[159] КОММЕНТАРИЙ: 159

Горный кряж в Аттике неподалеку от Афин на восток от города. Гиметт славился душистым медом.

вновь отправляется в путь, словно корабль, задержанный долгим безветрием в гавани, но теперь ощутивший, как его паруса опять наполняются ветром. Мое сердце пронзила печаль; я подумал о том, что слова, говорящие о законченности и совершенстве, имеют еще и значение финала и что, быть может, труды мои — не более чем добыча всепожирающего Времени.

Затем мы вошли в храм, откуда еще не ушли скульпторы; колоссальная статуя Зевса, выполненная из золота и слоновой кости, смутно мерцала в полумраке; у подножия строительных лесов огромный питон, которого я велел доставить из Индии, чтобы принести его в жертву в этом греческом святилище, лежал в своей ажурной корзине — божественное животное, ползучий символ духа Земли, неразлучный спутник обнаженного юноши, олицетворяющего Гений императора. Антиной, все более входя в роль, подал чудовищу его пищу — синиц с обрезанными крыльями. Затем, воздев руки, начал молиться. Я знал, что эта молитва была обращена лишь ко мне одному, но я не был настолько богом, чтобы угадать ее смысл и чтобы заранее знать, будет ли она когда-либо исполнена. Каким облегчением было выйти наконец из этого безмолвия, из этого

голубоватого полумрака и вновь оказаться на афинских улицах, где загорались светильники, где царило непринужденное веселье и звучали в пыльном вечернем воздухе громкие возгласы. Молодое лицо, которому вскоре предстояло украсить собою монеты греческого мира, становилось для толпы знаком дружеского расположения, становилось символом.

Я любил его не меньше, чем прежде; я любил еще больше. Но груз привязанности, точно тяжесть руки, ласково положенной тебе на грудь, становилось все труднее нести. Опять в моей жизни стали появляться статисты; помню молодого человека, резкого и остроумного, который сопровождал меня во время моего пребывания в Милете и от услуг которого я потом отказался. Вспоминается также вечер в Сардах, где поэт Стратон в окружении каких-то сомнительных личностей водил нас по злачным местам. Этот Стратон, который предпочел моему двору подозрительную свободу восточных таверн, был человек изысканный и насмешливый, стремившийся доказать тщету всего, что не является наслаждением, быть может надеясь таким образом оправдаться перед самим собой, ибо ради наслаждений он пожертвовал в жизни всем

остальным. Была еще и ночь в Смирне, когда я заставил любимое существо терпеть присутствие куртизанки. Отношение Антиноя к любви было требовательным и суровым; брезгливость доводила его до тошноты. Однако со временем он привык. Мои выходки можно было принять за распутство; но здесь примешивалась и надежда найти какую-то новую форму близости; было здесь также и стремление просветить Антиноя, заставить его неискушенность пройти через те же испытания, через какие в молодости прошел я сам; и еще, возможно, тайное желание низвести мои отношения с ним на уровень самых обычных, ни к чему не обязывающих совместных удовольствий.

Был какой-то привкус тревоги в одолевавшей меня потребности оборвать эту пугливую нежность, которая грозила затопить мою жизнь. Во время поездки в Троаду мы посетили долину Скамандра, лежавшую под зеленым небом беды: наводнение, разрушительные последствия которого я захотел увидеть сам, превратило в островки курганы древних гробниц. Я выкроил несколько минут, чтобы в благоговейном раздумье постоять у могилы Гектора; Антиной же направился к могиле Патрокла. Я не увидел в

сопровождавшем меня молодом олененке соперника другу Ахилла и поднял на смех этот пример беззаветной верности, которая встречается теперь лишь в книгах; юноша, оскорбленный в своих лучших чувствах, густо покраснел. Искренность все больше становилась единственной добродетелью, к которой я себя принуждал; я уже давно заметил, что героический ореол, которым Греция окружила привязанность зрелого человека к своему более юному сотоварищу, в наше время является лишь лицемерием. Зараженный римскими предрассудками больше, нежели мне это представлялось, я напоминал себе, что предрассудки эти не исключают удовольствий, но в любви видят постыдную причуду; мне безумно захотелось избавиться от всякой зависимости от кого бы то ни было. Я бесился при виде тех странностей, которые обычно сопутствуют молодости и в силу этого неизбежны; в этой страсти, столь непохожей на остальные, я опять находил все то, что когда-то раздражало меня у римских матрон; благовония, помады, холодная роскошь нарядов снова заняли прежнее место в моей жизни. Однако я видел, что беспочвенные страхи начали заползать в это угрюмое сердце; юношу тревожило то, что скоро ему исполнится девятнадцать.

Опасные капризы, гневные вспышки, свиваясь над этим упрямым челом в кольца Медузы, сменялись приступами тоски, погружавшей его в оцепенение, и нежностью, которая все чаще сама собой обрывалась. Мне случалось ударить его — никогда не забуду его испуганных глаз. Но идол, даже поверженный, все равно остается идолом, и тогда начинаются искупительные жертвы.

Восточные таинства лишь усиливали этот хаос чувств своей пронзительной музыкой. Времена Элевсина прошли. Приобщение к культам запретным и странным, обряды скорее допустимые, нежели разрешенные, на которые сидевший во мне законодатель взирал с недоверием, совпали с тем периодом моей жизни, когда танец переходит в головокружение, а пение завершается воплем. На острове Самофракии я был приобщен к таинствам кабиров, божеств древних и непристойных, священных, как плоть и кровь; змеи, откормленные молоком в пещере Трофония, обвивали мои лодыжки; фракийские празднества в честь Орфея использовались как повод для диких обрядов братания. Государственный деятель, который под страхом самых суровых кар запретил нанесение человеку каких бы то ни было увечий, согласился присутствовать на

оргиях сирийской богини; я увидел ужасающий круговорот кровавых плясок; мой юный спутник, загипнотизированный, точно козленок, брошенный в клетку змеи, с ужасом смотрел на этих мужчин, которые на требования возраста и пола давали ответ такой же решительный и бесповоротный, как сама смерть, и даже, пожалуй, еще более жестокий. Но ужас достиг своего апогея во время нашего пребывания в Пальмире, где арабский купец Мелес Агриппа принимал нас на протяжении трех недель с ослепительной варварской пышностью. Однажды, после того как мы выпили вина, этот самый Мелес, священнослужитель митраического культа, который не очень серьезно относился к своему жреческому долгу, предложил Антиною принять участие в закланнии быка. Молодой человек знал, что я тоже был некогда подвергнут церемонии подобного рода, и с радостью согласился. Я не счел нужным противиться этой прихоти, для исполнения которой требовалось довольно малое число очищений и воздержаний. Я решился взять на себя, вместе с Марком Ульпием Кастором, писарем, знающим арабский язык, роль человека, произносящего ответные слова. В назначенный час мы спустились в тайное подземелье; вифинец лег на дно ямы для

окропления кровью. Но когда я увидел его внезапно возникшее из ямы, исполосованное красными струями тело, его облепленные липкой грязью волосы, лицо, испещренное пятнами, которые невозможно смыть, так что пройдет немало времени, пока они не сойдут сами, — к моему горлу подступила тошнота, и я почувствовал отвращение ко всем этим нечистым тайным обрядам. Несколько дней спустя я запретил расквартированным в Эмезе войскам даже приближаться к мрачному святилищу Митры.

У меня появились дурные предчувствия; подобно Марку Антонию перед его последним сражением, я слышал, как удаляется и тает в ночи неясная музыка — то уходили покровительствовавшие мне боги… Я слышал, но не остерегся. Моя уверенность в собственной безопасности была уверенностью всадника, владеющего талисманом, который уберегает его от падения. В Самосате под моим председательством состоялся совет восточных владык; Абгар, царь Осроэны, обучал меня в горах искусству соколиной охоты; во время облав, обставленных точно спектакль на театре, целые стада антилоп загонялись в пурпурные сети; Антиной, напрягая все силы, с трудом удерживал за массивные золотые ошейники

двух крупных пантер. Переговоры, проходившие среди всей этой роскоши, завершились для меня, как всегда, благоприятно; я по-прежнему был удачливым игроком, который неизменно выигрывает при каждом броске костей. Зиму я провел в Антиохии, в том самом дворце, где некогда просил колдунов заглянуть в мое будущее. Но теперь будущее больше ничего не сулило мне — во всяком случае, ничего, что я мог бы счесть подарком судьбы. Мой урожай винограда был уже собран; сусло жизни заполнило чан до краев. Но, хотя я и перестал управлять собственной судьбой, все же нравственные правила, тщательно выработанные мною в прежние годы, не представлялись мне только ступенькой на пути к истинному призванию — они были подобны цепям, которые танцовщик заставляет себя носить постоянно, чтобы потом, сбросив их, прыгать легче и выше. В некоторых делах я был суров к себе так же, как прежде; я запрещал подавать мне вино до второй ночной стражи: еще не изгладилось в памяти, как на этих деревянных полированных столах лежала дрожащая рука Траяна. Впрочем, существуют же и другие способы опьянения… Ни малейшая тень не омрачала моих дней — ни смерть, ни разгром, ни тот более изощренный

урон, который человек наносит себе сам, ни даже возраст, все больше дававший о себе знать. И все-таки я спешил, будто каждый из этих часов был самым прекрасным и в то же время самым последним в моей жизни.

Частые посещения Малой Азии сблизили меня с группой ученых, занимавшихся магией. У каждого века свои дерзания; лучшие умы нашей эпохи, уставшие от философии, которая все больше становится повторением заученных фраз, приблизились к рубежам, запретным для человека. В Тире Филон Библосский открыл мне некоторые секреты старинной финикийской магии; он отправился вместе со мной в Антиохию. Истолкование, которое Нумений давал мифам Платона о природе души, было достаточно робким, но могло далеко завести ум более отважный, чем его собственный. Его ученики вызывали демонов — игра не лучше и не хуже всякой другой. Диковинные фигуры, казалось порожденные сокровенной сущностью моих сновидений, возникали передо мной в благовонном стираксовом дыме, дрожали и таяли, оставляя ощущение сходства с кем-то живым и знакомым. Возможно, все это было проделками фокусника, но в таком случае надо признать, что фокусник

знал свое дело. Я снова взялся за изучение анатомии, которой занимался еще в юности, но теперь она понадобилась мне не для того, чтобы понять, как устроено человеческое тело. Любопытство влекло меня к тем пограничным областям, где душа сливается с плотью, где мечта совпадает с действительностью, а временами и опережает ее и где жизнь и смерть меняются своими свойствами и личинами. Мой врач Гермоген не одобрял этих опытов, но тем не менее познакомил меня с несколькими практикующими врачами, работавшими над этими же проблемами. Я пытался вместе с ними определить место, где расположена душа, найти связи, с помощью которых она сообщается с телом, измерить время, необходимое ей для того, чтобы от него отделиться. Несколько животных было принесено в жертву этим исследованиям. Хирург Сатир приводил меня в свою клинику, где я не раз наблюдал агонию. Не является ли душа наивысшей ступенью тела, хрупким воплощением тягот и радостей человеческого существования? — размышляли мы вслух. Или, быть может, наоборот, она древнее, чем тело, которое вылеплено по ее подобию и, худо ли, хорошо ли, какое-то время служит ей инструментом? Можно ли снова призвать ее

обратно, снова установить между душою и телом тесный союз, возобновить то горение, которое мы называем жизнью? Если души обладают своей самостоятельной сущностью, могут ли они меняться между собою местами, способны ли они переходить от одного существа к другому, подобно кусочку плода или глотку вина, которыми из уст в уста обмениваются влюбленные? У каждого мудреца по двадцать раз в год меняются взгляды на эти вопросы; скептицизм боролся во мне с горячей жаждой знания, энтузиазм — с иронией. Но я был убежден, что наш разум позволяет просочиться в нас лишь очень скудному числу фактов; и меня все больше и больше притягивал к себе смутный мир ощущений, непроглядная тьма, в которой вспыхивают и вращаются ослепительные солнца. Примерно тогда же Флегонт, который коллекционировал истории о привидениях, рассказал нам однажды вечером случай с «Коринфской невестой», за подлинность которого он ручался. Это приключение, в котором любовь возвращает душу на землю и на какое-то время снова дает ей тело, взволновало всех нас, но каждого по-своему. Многим захотелось повторить подобный опыт; Сатир пытался вызвать душу своего учителя Аспазия, когда-то заключившего

с ним один из тех никогда не выполняющихся договоров, согласно которым тот, кто умрет первым, обещает поделиться с оставшимся в живых сведениями о загробной жизни. Антиной тоже дал мне такое обещание, но я отнесся к нему легкомысленно, поскольку у меня не было никаких оснований предполагать, что этот ребенок умрет раньше, чем я. Филон пытался вызвать свою умершую жену. Я согласился на то, чтобы были названы имена моего отца и моей матери, но что-то похожее на стыдливость помешало мне вызвать Плотину. Ни одна из этих попыток не увенчалась успехом. И все-таки двери в неведомое приоткрылись.

За несколько дней до отъезда из Антиохии я, по обыкновению, решил совершить жертвоприношение на вершине Касия. Восхождение состоялось ночью; как и при восхождении на Этну, я взял с собою лишь нескольких физически крепких мужчин, моих друзей. Я решил не только исполнить искупительный обряд в этом наиболее священном из всех наших храмов, я хотел еще раз увидеть сверху начало рассвета, то каждодневное чудо, которое я всякий раз созерцал с тайным ликованием в душе. С этих высот видишь, как солнце заставляет сверкать медные

украшения храма, как улыбаются озаренные ярким светом лица, а равнины Азии и гладь моря еще погружены во мрак; на несколько мгновений человек, который молится на вершине, оказывается единственным в целом мире существом, вкушающим радость утра. Все было приготовлено для жертвоприношения; мы поднимались сначала верхом на лошадях, а затем пешком по крутым и опасным тропинкам, окаймленным дроком и мастиковыми деревьями, которые легко было узнать даже в темноте по их запаху. Было душно; эта весна полыхала жаром, точно лето. Впервые в жизни у меня при подъеме в гору перехватило дыхание; я вынужден был на миг прислониться к плечу моего любимца. Гроза, которую уже давно предвещал Гермоген, немного занимавшийся метеорологией, разразилась, когда мы были в сотне шагов от вершины. В сверкании молний навстречу нам вышли жрецы; кучка промокших до нитки людей сгрудилась вокруг алтаря, предназначенного для жертвоприношения. Мы уже приступили к обряду, как вдруг вспыхнувшая над нами молния поразила одним ударом и человека, и жертву. Когда первые мгновения ужаса прошли, Гермоген, как любознательный врач, наклонился над сраженными телами; Хабрий и

верховный жрец не смогли сдержать возгласов восхищения: человек и молодой олень, оба принесенные в жертву взмахом божественного меча, соединились с бессмертием моего Гения; эти две жизни, подставленные в замену моей, продолжили ее. Вцепившийся в мою руку Антиной дрожал — не от страха, как мне тогда показалось, но от внезапно озарившей его мысли, которая стала мне понятна лишь впоследствии. Юное существо, безумно боящееся старения, наверно, давно уже решило умереть при первом же признаке собственной слабости или, может быть, даже не дожидаясь его. Ныне я склонен думать, что обещание это, которое многие из нас дают самим себе, но обычно не выполняют, восходит у него еще ко времени Никомедии, к той нашей встрече у ключа. Этим, возможно, и объясняется его вялость и жажда наслаждений, его грусть и полное безразличие к будущему. Молния на вершине Касия указала ему выход: смерть могла стать для него последней формой служения, его последним даром — последним и единственным мне даром, остающимся навеки. Краски зари показались мне бледными рядом с улыбкой, которая вспыхнула на этом потрясенном лице. Несколько дней спустя я снова увидел ту же

улыбку, только слегка пригашенную и немного двусмысленную: за ужином Полемон, занимавшийся хиромантией, пожелал рассмотреть руку юноши — ладонь, на которой меня поражала странная линия жизни. Антиной отвел свою руку и сжал ее в кулак мягким, почти стыдливым движением. Ему хотелось сохранить тайну своей игры, тайну своей смерти.

Мы сделали остановку в Иерусалиме. Я изучил план нового города, который я наметил построить на том месте, где прежде располагались разрушенные Титом еврейские кварталы[160]. Для твердого управления Иудеей, для развития торговли с Востоком было необходимо разместить на этом перекрестке путей крупный центр. Мне виделся обычный римский город: в Элии Капитолине должны были быть свои храмы и рынки, свои общественные термы, свой храм римской Венеры. Недавно появившаяся у меня склонность к культам, прославляющим нежность и страсть, заставила меня выбрать на горе Мориахе пещеру, удобную для празднования адоний. Мои проекты вызвали негодование еврейской общины:

[160] КОММЕНТАРИЙ: 160

Иерусалим был разрушен будущим римским императором Титом в 70 г. н. э., восстановлен (в меньших размерах) в 136 г. Адрианом — под именем Элия Капитолина.

эти несчастные предпочитали свои развалины большому городу, сулившему им богатство, знания и удовольствия. Рабочие, приступившие к разборке разрушенных стен, подверглись нападению толпы, однако я не придал этому значения; я отказывался верить, что здесь, на этой куче обломков, может махровым цветом расцвести ненависть. Фид Аквила, которому предстояло вскоре применить свой организаторский талант при сооружении Антинополя, взялся за дело в Иерусалиме. Уже через месяц мы были в Пелузе. Я позаботился о том, чтобы восстановить там могилу Помпея[161]. Чем больше я занимался делами Востока, тем больше восхищал меня политический гений этого деятеля, который вошел в историю с несмываемым клеймом человека, потерпевшего поражение от великого Юлия. Помпеи, прилагавший все силы к тому, чтобы

[161] КОММЕНТАРИЙ: 161

Пелуза (точнее, Пелузий) — город в Нижнем Египте на правом рукаве дельты Нила, прикрывавший вход в страну с востока и потому всегда сильно укрепленный, — своего рода крепость-застава. Здесь в сентябре 48 г. до н. э. находился царь Египта Птолемей XII во главе войска, приготовленного им для войны против своей сестры Клеопатры, когда к городу подошли суда Помпея, потерпевшего поражение от Цезаря при Фарсале и рассчитывавшего найти прибежище в Египте. Спустившийся с корабля в лодку, чтобы по мелководью добраться до Пелузия, Помпеи был убит людьми Птолемея. Во время описываемого посещения Адриан реставрировал гробницу Помпея и обновил надпись, ему посвященную.

навести порядок в этом неустойчивом азиатском мире, порой представлялся мне принесшим Риму больше пользы, чем сам Цезарь. Эти восстановительные работы были моей последней данью именитым покойникам; вскоре мне предстояло заняться другими могилами.

Наш приезд в Александрию был обставлен скромно. Торжества были отложены до прибытия Сабины. Мне удалось убедить жену, не имевшую склонности к путешествиям, провести зиму в Египте, где климат значительно мягче; Луцию, которому никак не удавалось избавиться от затяжного кашля, тоже предстояло испробовать это лекарство. Отрядили целую флотилию кораблей для плавания по Нилу; нам предстояла серия официальных инспекторских смотров, празднеств, торжественных обедов, обещавших быть такими же утомительными, как и прошедший сезон в Палатинском дворце. Я сам обо всем позаботился: роскошь императорского двора обретала немаловажное политическое значение в этих древних странах, привыкших к царственной пышности.

Несколько дней, которые оставались до прибытия гостей, мне захотелось посвятить охоте. В Пальмире Мелес Агриппа устроил для нас поездку в пустыню; нам не пришлось углубляться осо-

бенно далеко, чтобы встретить львов[162]. Двумя годами раньше я уже имел возможность поохотиться на крупного зверя в Африке; Антиною, в ту пору еще слишком юному и неопытному, не было дозволено участвовать в этой охоте наравне с другими. Ради его безопасности я пошел тогда на уловки, о которых я бы не помышлял, если б речь шла о ком-либо другом. Теперь же я был не в состоянии ему отказать и уступил его просьбам, пообещав главную роль в охоте на льва. Больше нельзя было обращаться с ним как с ребенком, и я гордился его возмужалостью.

Мы отправились в оазис Аммона, находившийся в нескольких днях пути от Александрии; здесь некогда Александр узнал от жрецов тайну своего божественного происхождения[163]. Местные жители сообщили нам, что в окрестностях

---

[162] КОММЕНТАРИЙ: 162

Охота в Пальмире была задолго до описываемых событий. Здесь Адриан лишь вспоминает о ней (как и об охоте в Африке двумя годами раньше).

[163] КОММЕНТАРИЙ: 163

Оазис, о котором здесь идет речь, располагался посреди Ливийской пустыни и славился находившимся в нем храмом бога Аммона, которого в эпоху эллинизма (IV–II вв. до н. э.) стали отождествлять с Зевсом. В храме пребывал знаменитый в древности оракул, который давал ответы только знаками и который открыл Александру Македонскому, когда тот посетил храм, тайну его рождения. Она состояла в том, что он сын не отца своего, македонского царя Филиппа, а Аммона-Зевса, посещавшего по ночам его мать Олимпиаду в виде огромного змея.

бродит свирепый хищник, нередко нападающий на человека. Вечером, у лагерного костра, мы весело обсуждали предстоящую охоту и сравнивали свои подвиги с подвигами Геракла. Однако первые дни принесли нам лишь нескольких газелей. Тогда мы решили устроить вдвоем засаду возле маленького, заросшего камышом озерка, почти занесенного песками. Лев приходил сюда в сумерки на водопой. Негры должны были гнать зверя на нас, пугая его громкими криками, звуком раковин и кимвал; наша свита осталась в отдалении. Влажный воздух был так неподвижен, что нельзя было даже определить направление ветра. Было, должно быть, немногим более девяти часов, ибо Антиной обратил мое внимание на то, что красные лилии на озере еще не закрылись. Внезапно с шелестом раздвинулись камыши, и перед нами появился царственный зверь, повернувший к нам свою прекрасную и страшную голову — один из самых божественных ликов, воплощающих опасность. Я находился немного позади и не успел удержать мальчика, когда тот, забыв об осторожности, тронул коня и метнул во льва сначала пику, а потом и оба своих копья; он проделал все это с большим искусством, но оказался слишком близко от зверя. Лев, раненный в

шею, упал, взметая песок ударами хвоста; в этом песчаном вихре мы ничего не могли разглядеть, кроме бесформенной и ревущей темной массы; наконец лев снова поднялся на ноги и, собрав последние силы, был уже готов броситься на лошадь и на безоружного всадника. Я это предвидел. По счастью, верховой конь Антиноя не шелохнулся: они у нас были отлично вышколены для охоты. Я быстро двинул свою лошадь вперед, подставив ее правым боком ко льву, — такие маневры были для меня привычны; тут уж мне не составило особого труда прикончить смертельно раненного зверя. Лев рухнул снова, уткнувшись мордой в ил; воду окрасила струйка темной крови. Гигантская кошка цвета песков пустыни, меда и солнца испустила дух с величием, недоступным для человека. Антиной спрыгнул со своего покрытого пеной и все еще дрожавшего коня. Спутники присоединились к нам; негры поволокли нашу добычу в лагерь.

Тут же состоялось импровизированное пиршество; растянувшись на животе возле медного блюда, юноша раздавал куски баранины, испеченной в золе. Мы выпили в честь победителя пальмового вина. Ликование его вздымалось к небу как песня. Пожалуй, Антиной преувели-

чивал значение помощи, которую я ему оказал; он, должно быть, не думал о том, что я поступил бы точно так же, если б в опасности оказался кто-то другой; но мы чувствовали себя возвратившимися в героический мир, где любящие умирают один ради другого. Его переполнял восторг; благодарность и гордость сменяли друг друга, как строфы оды. Негры свершили чудо: к ночи львиная шкура, повешенная на двух шестах, раскачивалась под звездами перед входом в мою палатку. Несмотря на разлитые вокруг благовония, нас всю ночь преследовал тяжелый звериный запах. Наутро, позавтракав фруктами, мы покинули лагерь; уезжая, мы заметили в яме окровавленный скелет, покрытый тучами мух, — все, что осталось от царственной добычи нашей вчерашней охоты.

Через несколько дней мы вернулись в Александрию. Поэт Панкрат устроил в мою честь празднество в Музее; в музыкальном зале была собрана целая коллекция драгоценнейших инструментов: старинные дорийские лиры, более тяжелые и менее сложные по устройству, чем наши, соседствовали с круто выгнутыми кифарами из Персии и Египта, с фригийскими свирелями, пронзительными, как голос евнуха, и нежными

индийскими флейтами, названий которых я не знаю. Эфиоп долго стучал по африканским калебасам. На треугольной арфе, звучавшей тихо и грустно, играла женщина, чья холодноватая красота меня непременно бы покорила, если б я не принял решения упростить свою жизнь, сведя ее полностью к тому, что стало теперь для меня самым важным. Месомед с Крита, мой самый любимый музыкант, аккомпанируя себе на водяном органе, декламировал свою поэму «Гора Сфинкса», тревожную, причудливую, ускользающую, как песок на ветру. Музыкальный зал выходил во внутренний двор; на глади бассейна в яростном свете закатного августовского солнца распростерлись водяные лилии. Когда музыканты умолкли, Панкрат захотел показать нам вблизи цветы этого очень редко встречающегося растения — красные, как кровь, и раскрывающиеся только в конце лета. Мы тотчас узнали наши алые лилии из оазиса Аммона, и Панкрат загорелся идеей воспеть в поэзии раненого зверя, умирающего среди цветов. Он вызвался описать этот охотничий эпизод в стихах, где львиная кровь окрашивала бы прекрасную лилию вод. Тема была не нова, но я все же согласился и заказал ему эти стихи. Панкрат, обладавший всеми качествами, необхо-

димыми для придворного поэта, тут же сочинил в честь Антиноя несколько весьма мелодичных строк, где роза, гиацинт, чистотел благоговейно склонялись перед пурпурными лепестками лилий, которые отныне будут называться именем моего любимца. Одному из рабов было приказано спуститься в бассейн и собрать там охапку цветов. Молодой человек, привыкший к знакам почитания, с невозмутимой важностью принял эти восковые венчики на мягких змеящихся стеблях; с наступлением темноты лепестки сомкнулись, точно веки.

Вскоре приехала моя супруга. Длительное путешествие по морю утомило ее; она стала очень слаба, однако не утратила обычной своей жесткости. Ее политические знакомства больше не доставляли мне неприятностей, как было в ту пору, когда она так нелепо поддерживала Светония; теперь ее окружение состояло из женщин, занимавшихся литературным творчеством, довольно безобидных. Ее наперсница, некая Юлия Бальбилла, вполне сносно сочиняла греческие стихи. Сабина расположилась со своей свитой в Ликее, откуда они редко выходили. Луций, напротив, был, как всегда, жаден до всяческих удовольствий, включая удовольствия для ума и глаз.

В двадцать шесть лет он почти не утратил своей удивительной красоты, которая заставляла римскую молодежь приветствовать его на улицах восторженными кликами. Он был все таким же задорным, ироничным, веселым. Его прежние капризы с годами перешли в разряд странностей: он никуда не ездил без своего личного повара; его садовники даже на корабле составляли для него великолепные цветники из редчайших растений; он повсюду возил с собой свое ложе, изготовленное по его собственным чертежам и состоявшее из четырех тюфяков, набитых какими-то особыми ароматическими травами; на нем он возлежал, окруженный множеством юных любовниц и столь же впечатляющим количеством подушек. Эфебы, напомаженные, напудренные и разодетые, словно зефиры и амуры, изо всех сил потакали его причудам, порою весьма жестоким; однажды мне пришлось даже вмешаться, чтобы не дать умереть от голода маленькому Борею, приводившему Луция в восторг своей худобой. Теперь меня все это скорее раздражало, чем забавляло. Мы посетили все то, что принято посещать в Александрии: Маяк, мавзолей Александра, усыпальницу Марка Антония, где Клеопатра

навеки восторжествовала над Октавией[164]; не были забыты ни храмы, ни мастерские, ни общественные работы, ни даже квартал, где жили бальзамировщики. У одного хорошего скульптора я купил целую партию Венер, Диан и Гермесов для Италики, моего родного города, который я намеревался заново отстроить и украсить. Жрец храма Сераписа преподнес мне сервиз опалового стекла; я отправил его Сервиану, с которым из уважения к моей сестре Паулине старался сохранять приличные отношения. За время этих достаточно скучных поездок я обдумал далеко идущие планы преобразований.

Верования в Александрии не менее многообразны, чем торговля, с тою лишь разницей, что товары, предлагаемые религиями, более сомнительного качества. У здешних христиан я обнаружил необъяснимое обилие сект. Два шарлатана, Валентин и Басилид, строили друг

---

[164] КОММЕНТАРИЙ: 164

Полководец и душеприказчик Юлия Цезаря Марк Антоний был женат на Октавии Младшей, сводной сестре Октавиана Августа, которая воплощала все традиционные добродетели римской матроны и в этом смысле была полной противоположностью возлюбленной своего мужа, коварной и распутной царице Египта Клеопатре. Потерпев в 31 г. до н. э. поражение в решающем морском сражении при Акупуме от своего соперника Октавиана, Антоний вернулся в Александрию и вскоре, поверив ложному слуху о самоубийстве Клеопатры, попытался покончить с собой. Узнав, что Клеопатра жива, он велел отнести себя к ней и умер у нее на руках.

другу козни под усиленным надзором римской стражи. Местное отребье готово было использовать любой обряд, чтобы кинуться с дубинами на чужеземцев; смерть быка Аписа способна вызвать в Александрии больше шума и страстей, чем смена императоров в Риме. Люди, которые следуют моде, меняют тут богов столь же часто, как в других странах меняют врачей, и в такой же степени неудачно. Но единственный их кумир — золото; я нигде не видал просителей более наглых, чем здесь. Торжественные надписи чуть ли не на каждом углу превозносили совершенные мною благодеяния, но, стоило мне отказаться освободить жителей от подати, которую они вполне в состоянии были уплатить, против меня тут же возмутился весь этот сброд. Оба юноши, сопровождавшие меня, не раз подвергались оскорблениям; в упрек Луцию ставили его любовь к роскоши, впрочем, она и вправду была чрезмерной; в упрек Антиною — безвестное происхождение, по поводу которого ходили самые невероятные слухи; и обоих упрекали в том, что они будто бы оказывали на меня влияние. Это последнее утверждение было смехотворно: Луций, рассуждавший о государственных делах с поразительной проницательностью, не имел

почти никакого политического веса; Антиной же и не пытался его приобрести. Молодой патриций, знающий свет, только посмеялся бы над всеми этими измышлениями. Но Антиной страдал.

Евреи, подстрекаемые своими единоверцами из Иудеи, делали все для того, чтобы заставить бродить это и без того уже хорошо заквашенное тесто. Иерусалимская синагога направила ко мне самого высокочтимого из своих членов; Акиба, девяностолетний старец, не знавший греческого языка, поставил своей целью принудить меня отказаться от планов насчет Иерусалима, к осуществлению которых я уже приступил. Я попытался поговорить с ним, прибегнув к помощи переводчиков, но он тут же превратил нашу беседу в нескончаемый монолог. Не прошло и часа, как я ощутил, что могу совершенно четко определить его позицию, хотя и не принимаю ее; он же не делал никаких усилий, чтобы понять мою. Этот фанатик даже не подозревал, что можно рассуждать, исходя из каких-то иных предпосылок, нежели его собственные; я предлагал этому отверженному народу занять место в римском сообществе рядом с другими народами; Иерусалим же в лице Акибы выражал свою волю до конца оставаться оплотом одного только

племени и одного только бога, изолированных от остального человечества. Эта безумная мысль излагалась Акибой с утомительной витиеватостью; он выстраивал бесконечную цепочку доводов, искусно выводимых один из другого и утверждающих превосходство евреев. По прошествии недели переговоров мой партнер, при всей своей несгибаемости, все же заметил, что идет по ложному пути; он заявил, что уезжает. Мне ненавистно любое поражение, даже поражение других; и особенно возмущает оно меня, если побежденным оказывается старик. Невежество Акибы, его упорное нежелание принимать что бы то ни было, кроме своих священных книг и своего народа, придавали ему какую-то жалкую наивность. И все же, глядя на этого фанатика, трудно было смягчиться. Преклонный возраст, казалось, лишил его свойственной человеку гибкости; это изможденное тело, этот сухой ум были наделены жестким упрямством кузнечика. Он умер потом как герой — за дело своего народа, или, скорее, за свою веру; каждый приносит себя в жертву своим собственным богам.

Развлечения, которые могла нам предоставить Александрия, начинали иссякать. Флегонт, всегда и все знавший о местных достоприме-

чательностях, обо всех сводниях и знаменитых гермафродитах, предложил отвести нас к колдунье. Эта посредница между нашим и невидимым миром жила в Канопе. Мы отправились туда ночью на судне, по каналу, где стояла тяжелая, недвижная вода. Путь был скучным. Между двумя молодыми людьми, как всегда, царила глухая враждебность; как ни старался я их сблизить, это лишь увеличивало их взаимную неприязнь. Луций прятал ее за своей иронической снисходительностью; мой молодой грек замкнулся в очередном приступе угрюмого молчания. Сам я чувствовал себя разбитым; несколькими днями раньше, когда я под жарким солнцем возвращался домой с прогулки, у меня случился короткий обморок, единственными свидетелями которого были Антиной и мой чернокожий слуга Эвфорион. Оба перепугались; но я приказал им никому про это не говорить.

Канопа оказалась лишь обманчивой декорацией: дом волшебницы был расположен в самом гнусном квартале этого города наслаждений. Мы причалили и высадились прямо возле ветхой террасы. Колдунья поджидала нас в доме, вооружившись сомнительными орудиями своего ремесла. Она выглядела вполне сведущей в этих

делах; в ней не было театральности, присущей завзятым некроманткам; она даже не была старой.

Ее предсказания были зловещими. С недавнего времени, куда бы я ни приехал, оракулы непременно предвещали мне всяческие беды: политические смуты, дворцовые интриги, тяжелые болезни. Я полагаю, что эти уста мрака вещали под воздействием чисто человеческих влияний: в одних случаях — чтобы меня предостеречь, в других — чтобы запугать. Истинное положение дел в одной из областей Востока отражалось в этих предсказаниях гораздо более точно, чем в отчетах наших проконсулов. Я воспринимал эти так называемые откровения вполне спокойно, ибо мое уважение к миру неведомого не заходило так далеко, чтобы я доверял всякому вздору; десять лет назад, вскоре после того, как я был провозглашен императором, я велел закрыть близ Антиохии оракул Дафны, предсказавший мне власть: я боялся, что он предскажет ее и любому другому пришедшему сюда претенденту. И все же мне неприятно слышать печальные вещи.

Изрядно растревожив нас, вещунья предложила свои услуги: одной из тех магических жертв, в которых египетские прорицательницы издавна понаторели, будет достаточно, чтобы полюбовно

уладить наши отношения с судьбой. Мое краткое знакомство с финикийской магией позволило мне давно уже понять, что ужас, внушаемый запретными обрядами, держится не столько на том, что нам показывают, сколько на том, что от нас скрывают; если бы моя ненависть к человеческим жертвам не была так известна, мне, должно быть, посоветовали бы отдать на закланье раба. В данном же случае колдунья удовлетворилась прирученным животным.

По мере возможности жертвенное существо должно было принадлежать лично мне; нельзя было использовать для этой цели собаку — животное, которое, согласно египетским суевериям, считается нечистым; тут вполне подошла бы птица, но я не беру с собой в путешествия клеток с пернатыми. Мой молодой друг предложил мне своего сокола. Итак, все условия были соблюдены: эту прекрасную птицу подарил ему я, получив ее в свое время от царя Осроэны. Мальчик кормил ее из своих рук; сокол был одним из немногих существ, к которым он был привязан. Сначала я отказался; Антиной настаивал; я понял, что он придает своему дару особое значение, и, не желая его огорчать, согласился. Вооруженный подробнейшими инструкциями, мой гонец Менекрат

отправился за птицей в наши апартаменты в Серапеуме. Даже если бы он скакал галопом, все равно путь занял бы более двух часов. Нельзя же было сидеть все это время в грязной трущобе кудесницы, а Луций жаловался, что в лодке для него слишком сыро. Выход предложил Флегонт: мы разместились у одной сводни, после того как дом очистили от его обитателей; Луций решил поспать; я же использовал это время, чтобы продиктовать несколько депеш; Антиной улегся у моих ног. Чуть поскрипывала тростниковая палочка Флегонта, писавшего при свете лампы. Близилась третья ночная стража, когда Менекрат привез птицу, предусмотрительно захватив перчатку, капюшон и цепь.

Мы вернулись к прорицательнице. Антиной снял со своего сокола капюшон, несколько раз погладил маленькую сонную головку и передал птицу колдунье, которая сделала над ней несколько магических пассов. Загипнотизированная птица снова закрыла глаза. Было важно, чтобы жертва не билась и чтобы смерть ее выглядела добровольной. Обмазанная, согласно ритуалу, медом и розовым маслом, неподвижная птица была помещена на дно сосуда, наполненного нильской водой; утопленный сокол уподобился Осирису,

унесенному течением реки; земные годы птицы прибавились к моим; крохотная сияющая душа соединилась с Гением человека, которому ее посвятили; этот невидимый Гений мог отныне являться мне и служить мне в этом обличье. Последовавшие затем долгие манипуляции были уже не более интересны, чем кухонные приготовления. Луций зевал. Дальнейшая церемония полностью имитировала похороны человека — окуривания и песнопения продолжались до рассвета. Птица была положена в умащенный благовониями гроб, и колдунья предала его земле на заброшенном кладбище у канала. После чего она уселась под деревом и пересчитала золотые монеты, которые Флегонт выдал ей за труды.

Мы опять поднялись на корабль. Дул на редкость холодный ветер. Луций, сидевший подле меня, поправлял кончиками тонких пальцев вышитые покрывала; мы продолжали из вежливости обмениваться бессвязными замечаниями по поводу римских дел. Антиной, лежа на дне судна, приник головой к моим коленям: он притворился спящим, чтобы не участвовать в разговоре, который был ему неинтересен. Моя рука скользила по его волосам. В самые неудачные и самые унылые мгновения жизни это помогало

мне сохранить ощущение своего единения с великими силами природы: с густыми лесами, с гибкими мускулистыми пантерами, с размеренным пульсом родников. Но ни одна ласка не способна достичь души. Солнце сверкало, когда мы прибыли в Серапеум; продавцы арбузов расхваливали на улицах свой товар. Я спал до самого заседания совета, на котором мне надо было присутствовать. Впоследствии я узнал, что, воспользовавшись моей отлучкой, Антиной уговорил Хабрия вернуться с ним в Канопу. И там он еще раз посетил прорицательницу.

Первый день месяца Атира, второй год двести двадцать шестой Олимпиады[165]... Это день Смерти Осириса, бога агоний: пронзительные стенания раздавались уже три дня во всех селениях вдоль реки. Мои римские гости, менее, чем я, привыкшие к таинствам Востока, выказывали любопытство к обрядам народа, столь непохожего на наш. Меня же, наоборот, выводили из себя эти вопли. Я приказал пришвартовать мое судно к берегу на некотором расстоянии от остальных, подальше от населенных мест; и все же оказалось, что поблизости от берега возвышается наполови-

[165] КОММЕНТАРИЙ: 165

Странная (намеренная?) ошибка: второй год 226 Олимпиады приходится на 126 г. н. э.; смерть Антиноя — в 130 г.

ну заброшенный храм времен фараонов; при нем еще сохранилась коллегия жрецов; так что мне и тут не удалось избежать рыданий и жалоб.

Накануне вечером Луций пригласил меня ужинать на его корабль. Я отправился туда на закате солнца. Антиной отказался меня сопровождать. Я оставил его лежащим на корме, он растянулся на львиной шкуре возле моей двери и играл с Хабрием в кости. Но уже через полчаса, когда стало совсем темно, он передумал и велел вызвать лодку. Взяв с собой только одного лодочника, он преодолел против течения довольно значительный отрезок реки, отделявший нас от других судов. Его появление под навесом, где был накрыт ужин, прервало аплодисменты, которыми гости приветствовали кривлянье танцовщицы. Он нарядился в длинное сирийское платье, тонкое, словно кожица плода, и расшитое химерами и цветами. Чтобы было удобней грести, он спустил одежду с правого плеча; на гладкой груди блестели капельки пота. Луций кинул ему гирлянду, которую Антиной поймал на лету; веселость, подогретая одной-единственной чашей греческого вина, ни на миг не покидала его. Мы вернулись вместе в моей лодке с шестью гребцами, провожаемые язвительным голосом Луция, пожелавшего

нам доброй ночи. Странное возбуждение у Антиноя не проходило. Утром я случайно притронулся к мокрому от слез лицу. Я раздраженно спросил, почему он плачет; Антиной смиренно ответил, что всему виною усталость. Удовлетворившись этой ложью, я снова уснул. Его истинная агония была уже тогда рядом со мной.

Прибыли письма из Рима; день прошел за их чтением и составлением ответов. Антиной, как обычно, молча ходил взад и вперед по комнате; даже не знаю, в какой именно миг это прекрасное существо ушло из моей жизни. В двенадцатом часу вошел взволнованный Хабрий. Вопреки всяким правилам молодой человек покинул судно, никому ничего не сказав; со времени его исчезновения прошло не меньше двух часов. Хабрий вспомнил странные фразы, произнесенные Антиноем накануне, сделанное утром указание, касавшееся меня. Тревога Хабрия передалась мне. Мы поспешно спустились на берег. Старый учитель, повинуясь инстинкту, направился к стоявшей на берегу молельне, небольшому одинокому строению, которое являлось частью примыкавших к храму пристроек; они недавно посетили его вдвоем. На алтаре еще не остыла зола принесенной жертвы. Хабрий погрузил в

нее пальцы и извлек почти нетронутую прядь срезанных волос.

Нам не оставалось ничего другого, как обследовать берег. Целая цепочка водоемов, когда-то, должно быть, служивших для свершения священных обрядов, сообщалась с речной бухтой; в быстро надвигавшихся сумерках Хабрий заметил на берегу последнего водоема сложенную одежду, сандалии. Я спустился по скользким ступеням — Антиной лежал на дне, уже слегка занесенный илом. С помощью Хабрия мне удалось приподнять тело, успевшее стать тяжелым, как камень. Хабрий кликнул лодочников, и те соорудили парусиновые носилки. Вызванный спешно Гермоген мог лишь констатировать смерть. Тело юноши отказывалось согреться, ожить. Мы перенесли его на судно. Все рухнуло разом, все погасло в одно мгновенье. Зевс Олимпийский, Владыка Вселенной, Спаситель Мира больше не существовали — остался лишь седой человек, рыдавший на палубе корабля.

Спустя два дня Гермоген напомнил мне о похоронах. Избранные самим Антиноем жертвенные обряды, которыми он предварил свою смерть, указали нам путь; не случайно час и день этой кончины совпали с датой сошествия Осириса

в могилу. Я отправился на другой берег, в Гермополис, к бальзамировщикам. Я видел, как их собратья работали в Александрии, и знал, на какие надругательства мне предстоит обречь это тело. Но огонь, который сжигает и превращает в золу тело дорогого существа, и земля, в которой гниют мертвецы, — это тоже ужасно. Переправа была недолгой; сидя на корточках в углу каюты, Эвфорион вполголоса напевал африканскую погребальную песню; мне казалось, что эту приглушенную гортанную жалобу изливаю я сам. Мы перенесли покойного в зал, тщательно вымытый и напоминавший мне клинику Сатира; я помог формовщику смазать лицо покойного маслом, прежде чем он наложит на него воск. Все метафоры вновь обрели первоначальный свой смысл: я держал в руках его сердце. Это пустое тело, которое я покинул, было теперь для бальзамировщика лишь заготовкой, первой ступенью в создании произведения жестокого и прекрасного, драгоценнейшим веществом, обработанным солью и миртовой мазью, к которому никогда больше не прикоснутся ни воздух, ни солнце.

Вернувшись, я посетил храм, возле которого Антиной принес свою последнюю жертву; я беседовал со жрецами. Их восстановленное

святилище вновь станет местом паломничества для всего Египта; их коллегия, расширенная и щедро мною одаренная, отныне посвятит себя служению моему божеству. Никогда, даже в минуты полнейшего притупления мыслей и чувств, я не сомневался в божественности этого юного существа. Греция и Азия будут почитать его на наш манер — игры и пляски, ритуальные возложения даров к ногам белой нагой статуи. Египет, который стал свидетелем его агонии, внесет в этот культ божества свою долю — самую мрачную, самую сокровенную и самую тяжкую долю: отныне эта страна будет играть роль его вечного бальзамировщика. Многие века жрецы с обритыми головами будут читать литании, в которых будет звучать имя, не имеющее для них никакой ценности, а для меня вмещающее в себя весь мир. Каждый год священная барка будет провозить по реке этот образ; в первый день месяца Атира плакальщики будут проходить по берегу, по которому шел я. У каждого часа человеческой жизни — свой неотложный долг, свой наказ, свой завет, возвышающийся над всеми другими; задачей этого часа было защитить от смерти то немногое, что у меня еще оставалось. По моему приказу Флегонт собрал на берегу архитекторов

и инженеров из моего окружения; охваченный каким-то странным и светлым опьянением, я повел их вдоль каменистых холмов; я объяснил им свой план — возведения опоясывающей город стены, длиною в сорок пять стадиев; я отметил на песке место, где должна выситься триумфальная арка, отметил место могилы. Здесь должен был родиться Антинополь — сам факт возведения на этой печальной земле большого греческого города, бастиона, который будет держать в повиновении кочевников Эритреи, нового рынка на индийской дороге, уже был победой над смертью. Александр сопроводил смерть Гефестиона опустошениями и массовыми убийствами; я считал более достойным подарить своему любимцу город, где его культ сольется с движением толп на общественной площади, где его имя будет вплетаться в непринужденные вечерние беседы, где юноши будут перебрасываться венками во время торжественных пиршеств. И в одном лишь вопросе я колебался. Мне казалось немыслимым оставлять это тело в чужой земле. Подобно тому как человек, не слишком уверенный в завтрашнем дне, готовит себе ночлег сразу в нескольких гостиницах, я решил построить ему памятник в Риме на берегах Тибра, рядом

с моей усыпальницей; но я вспомнил также и про египетские молельни, которые я из прихоти давно уже приказал построить на Вилле и которые так трагически вдруг оказались полезными. Был определен день похорон; они должны были состояться по истечении двух месяцев, которые требовались бальзамировщикам. Я поручил Месомеду сочинить погребальные хоралы. Была уже поздняя ночь, когда я вернулся на судно; Гермоген приготовил мне микстуру, чтобы я мог уснуть.

Мы продолжали подниматься вверх по реке, но я плыл по Стиксу[166]. Некогда на берегах Дуная, в лагерях, где держали пленников, я видел несчастных, которые, лежа у стены, безостановочно бились в нее лбом, бились дико, безумно и упорно, непрерывно твердя одно и то же имя. В подземельях Колизея мне показали львов, которые чахли и гибли, потому что у них отняли собаку, с которой они привыкли делить свою клетку. Я пытался собраться с мыслями. Антиной умер. Ребенком я выл над телом Маруллина, которое растерзали вороны, но так воет ночами и животное, лишенное разума. Умер мой отец, но двенадцатилетнему сироте запомнился лишь

[166] КОММЕНТАРИЙ: 166

Т. е. чувствовал себя как в аду. Стикс в греческой мифологии — река, опоясывающая подземное царство (по другой версии мифа — болото).

беспорядок в доме, слезы матери да собственный ужас; он ничего не знал о тяжких муках умирающего. Моя мать скончалась много позже, во время моей службы в Паннонии; я не мог с точностью припомнить, когда именно это случилось. Траян был для меня только больным, которого надо было заставить написать завещание. Я не видел, как умирала Плотина. Умер Аттиан, но он был старик. Во время дакийских войн я терял товарищей, которых как будто любил; но мы были тогда молоды, жизнь и смерть казались нам одинаково пьянящими и легкими. Антиной умер.

Амур, наимудрейший из богов… Но любовь не была повинна в моем небрежении, в моей суровости, в моем равнодушии, смешанном с обожанием, как песок смешан с золотом, уносимым рекой; любовь не была повинна в грубом ослеплении чересчур счастливого человека, который уже начал стареть. Неужто я был так самодоволен и туп? Антиной умер. Далекий от того, чтобы любить его чрезмерно, как, должно быть, в эти мгновения в Риме утверждал Сервиан, я не любил его в достаточной степени, чтобы заставить мальчика жить. Хабрий, который в силу своих орфических взглядов считал, что самоубийство преступно, настаивал на жерт-

венности этой кончины; я сам испытывал нечто похожее на чудовищную радость, когда говорил себе, что эта смерть была принесена мне в дар. Но только один я был способен измерить, сколько едкой отравы таится в глубинах нежности, какое отчаяние скрыто в самопожертвовании, сколько ненависти примешивается к любви. Оскорбленное существо бросило в лицо мне свидетельство своей преданности; ребенок, боявшийся все утратить, нашел способ привязать меня к себе навсегда. Надеясь благодаря этой жертве защитить меня от ударов судьбы, он, должно быть, считал себя очень мало любимым, если не понял, что не было для меня на свете беды страшнее, чем потерять его.

Я больше не плакал; являвшимся ко мне сановникам больше не приходилось отводить свой взгляд, словно в моей скорби они усматривали что-то непристойное. Возобновились мои посещения показательных ферм и оросительных каналов; мне было безразлично, как убивать время. Сотни нелепых слухов о постигшей меня беде уже разнеслись повсюду; даже на кораблях, которые сопровождали меня, передавались из уст в уста, к стыду моему, ужасные истории; я не пресекал этих слухов, поскольку правда была

не из тех, чтобы кричать о ней на каждом углу. Самые лживые версии по-своему были верны; меня обвиняли в том, что я принес его в жертву, но ведь в каком-то смысле именно это я и сделал. Гермоген, неукоснительно доносивший до меня отклики внешнего мира, передал мне несколько посланий от Сабины; она соблюдала все правила приличия; люди почти всегда поступают так перед лицом смерти. Ее сострадание покоилось на недоразумении: она согласна была меня пожалеть, но лишь при условии, что я быстро утешусь. Сам я считал, что почти спокоен; мне от этого было даже как-то неловко. Я не знал, что у боли есть странные лабиринты и что я по-прежнему блуждаю по ним.

Меня пытались развлечь. Через несколько дней после прибытия в Фивы я узнал, что моя супруга со своей свитой дважды приходила к подножию колосса Мемнона в надежде услышать таинственный звук, издаваемый на рассвете камнем, — феномен, присутствовать при котором мечтают все путешественники. Однако чуда не произошло; суеверные женщины предположили, что оно произойдет в моем присутствии. На другой день я согласился сопровождать их к колоссу; все средства хороши, если они помогают

сократить нескончаемо долгие осенние ночи. В то утро Эвфорион вошел ко мне в одиннадцатом часу, чтобы подлить в лампу масла и помочь мне одеться. Я вышел на палубу; небо, еще совсем черное, было и вправду бронзовым небом гомеровских поэм, равнодушным к радостям и бедам людей. Прошло более двадцати дней с тех пор, как это случилось. Я занял место в лодке; короткое путешествие не обошлось без испуганных женских криков.

Нас высадили неподалеку от колосса. На востоке протянулась бледно-розовая полоса; начинался еще один день. Таинственный звук раздался три раза; он походил на звон лопнувшей тетивы. Неистощимая Юлия Бальбилла мгновенно произвела на свет стихи. Женщины решили посетить храмы; некоторое время я шел рядом с ними вдоль длинных стен, испещренных однообразными иероглифами. Меня выводили из терпения эти колоссальные фигуры царей, неотличимо похожие одна на другую, сидящие бок о бок, выставив вперед свои длинные плоские ступни, раздражали эти инертные глыбы, которые совершенно не выражали того, в чем заключается для нас жизнь, — ни боли, ни неги, ни расковывающего нас движения, ни разду-

мья, создающего целый мир вокруг опущенной головы. Жрецам, которые меня вели, об этих канувших в вечность жизнях было, должжно быть, известно не больше, чем мне; порою они принимались яростно спорить по поводу того или иного имени. Они знали, что каждый из этих монархов унаследовал трон, управлял своим народом, родил преемника; ничего больше история не сохранила. Эти затерянные в веках династии восходили к временам более давним, чем Рим, чем Афины, чем день, когда Ахилл погиб под стенами Трои, более давним, чем астрономический цикл в пять тысяч лет, вычисленный Меноном для Юлия Цезаря. Почувствовав себя усталым, я отпустил жрецов; прежде чем вернуться на судно, я немного отдохнул в тени колосса. Его ноги были до самых колен покрыты греческими надписями, которые оставили путешественники, — имена, даты, молитвы, некий Сервий Суавис, некий Евмен, стоявший на этом месте за шесть веков до меня, некий Панион, посетивший Фивы полгода назад… Полгода назад… Мне в голову пришла вдруг фантастическая идея: впервые с тех пор, когда ребенком мне случалось вырезать свое имя на коре каштановых деревьев в испанской усадьбе, император, который не разрешал выбивать

свое имя и почетные звания на воздвигнутых им монументах, взял кинжал и нацарапал на твердом камне несколько греческих букв — сокращенную форму своего имени: ADRIANO. Это было моим противодействием натиску времени: человек, затерявшийся в нескончаемой вереница столетий, оставлял свое имя, подводил итог жизни, бесчисленные элементы которой не поддаются учету, оставлял свою мету. И внезапно я вспомнил: начинается двадцать седьмой день месяца Атира, через пять дней у нас наступят декабрьские календы. Это был день рождения Антиноя; если б мальчик был жив, сегодня ему бы исполнилось двадцать.

Я вернулся на борт судна; рана, затянувшаяся слишком быстро, снова открылась; я кричал, уткнувшись лицом в подушку, которую подложил мне под голову Эвфорион. Нас обоих — тело умершего и меня — несло по течению, два потока времени уносили нас в противоположные стороны. Пять дней оставалось до декабрьских календ… первый день месяца Атира… каждый уходивший миг все глубже погружал это тело в небытие, все больше окутывал его смерть непроницаемой завесой. Я вспять поднимался по скользкому склону; я ногтями вырывал из

земли этот мертвый день. Флегонт сидел лицом к порогу; бесконечная ходьба взад и вперед по каюте помнилась ему только как яркая полоса света, бившая ему в глаза всякий раз, когда рука юноши, сновавшего по каюте, толкала створку дверей. Подобно человеку, обвиненному в преступлении, я пытался припомнить, чем был занят на протяжении этого дня; я диктовал, я отвечал эфесскому Сенату; с какими моими словами совпала его агония? Я восстанавливал в памяти все: мостки, прогибавшиеся под торопливыми шагами, крутой выжженный берег, плиточный пол; нож, перепиливающий прядь волос у виска; наклонившееся вперед тело; нога, которая сгибается, чтобы можно было развязать сандалию; неповторимая манера раздвигать губы, закрывая глаза. Хорошему пловцу нужна была отчаянная решимость, чтобы захлебнуться в этой черной воде. Я мысленно пытался дойти до этой черты, которую рано или поздно мы все переступим — оттого ли, что остановится сердце, или откажет мозг, или легкие перестанут дышать. Мне тоже придется испытать нечто подобное; однажды я тоже умру. Но все агонии разные; мои усилия представить себе, как он умирал, были бесплодны: он умирал один.

Я сопротивлялся как мог; я сражался с болью, как с гангреной. Я вспоминал его упрямство, его ложь; я говорил себе, что ему предстояло перемениться, обрюзгнуть, постареть. Все было напрасно: как ремесленник тщится, изнемогая, скопировать образец высокого искусства, так я в неистовстве требовал от своей памяти быть скрупулезно точной; я пытался воссоздать эту грудь, высокую и выпуклую, как щит. Временами образ сам возникал вдруг перед моими глазами; меня подхватывала волна нежности, я снова видел сад в Тибуре, видел эфеба, собирающего осенние плоды в свою подвернутую тунику, точно в корзину. Пустота наступила для меня во всем: мне не хватало товарища по веселым ночным гуляньям, молодого человека, который, присев на корточки, помогал Эвфориону поправить складки моей тоги. Если верить жрецам, тень тоже страдает и оплакивает теплый приют, каким для нее являлось тело, и со стоном навещает родные места, — тень далекая и в то же время близкая и такая вдруг слабая, что ей не под силу дать мне знак о том, что она рядом. Если все это правда, то моя глухота хуже, чем смерть. Но разве в то утро я понял его, живого, когда он рыдал подле меня? Однажды вечером меня позвал Хабрий, чтобы

показать мне в созвездии Орла звездочку; до сих пор она была едва различима, но вдруг засверкала, как драгоценный камень, и стала мерцать и биться, точно сердце. Ее я счел его звездой, его знаком. Каждую ночь, изнуряя себя, я наблюдал ее путь, и мне виделись странные фигуры в этой части неба. Меня считали безумным. Но это мало меня заботило.

Смерть отвратительна, но и жизнь — ничуть не меньше. Все вокруг было сплошное кривляние. Закладка Антинополя — всего лишь смехотворная игра, еще один город, который станет прибежищем для купцов с их мошенничеством, для чиновников с их лихоимством, для проституции, для распутства, для ничтожных людишек, которые оплакивают своих мертвецов, чтобы тут же навеки забыть их. Не нужны были и эти посмертные почести, эти торжества, проводимые столь широко и публично; они служили только тому, чтобы сделать из смерти мальчика предлог для подозрительных намеков и иронических усмешек, сделать его самого объектом низменных страстей или скандальных слухов, одной из тех подгнивших легенд, которыми и без того забиты закоулки истории. Моя скорбь была для всех лишь свидетельством распущенности, без-

нравственности; я был в их глазах человеком, который из всего извлекает выгоду или наслаждение, все обращает в эксперимент: юноша, которого я любил, подарил мне свою смерть. Обманутый человек оплакивал самого себя. Мысли поворачивались со скрипом; слова вращались в пустоте; голоса звучали, как треск саранчи в пустыне или жужжание мух над кучей отбросов; наши суда с раздутыми, как голубиная грудь, парусами везли груз лжи и интриг; на лбу у каждого человека была написана глупость. Смерть сквозила во всем, на все налагая печать упадка и разложения — пятно на перезрелом плоде, едва заметная дырка на драпировке, падаль на берегу, гнойные язвы на лице, след бича на спине лодочника. Даже собственные руки все время казались мне нечистыми. Принимая ванну и протягивая рабам ногу, чтобы они выщипали на ней волоски, я с отвращением смотрел на свое крепкое тело, на этот почти не поддающийся разрушению механизм, который переваривал пищу, двигался, спал, предавался любви. Я был в состоянии переносить присутствие лишь нескольких слуг — тех, кто помнил покойного, кто по-своему его любил. Мое горе находило отклик в простодушной скорби массажиста или старого негра, зажигавшего

лампы. Но их печаль не мешала им потихоньку смеяться, когда они выходили глотнуть свежего воздуха на берегу и оставались наедине. Как-то утром, облокотившись о поручень, я увидел в отведенной для поваров каюте раба: он потрошил цыпленка, одного из тех, которые в Египте вылупливаются из яиц в тысячах печей; схватив двумя руками липкий ком внутренностей, он выбросил его в воду. Я едва успел отвернуться; меня стошнило. В Филее, во время празднеств, которые местный правитель давал в нашу честь, трехлетний ребенок, темно-бронзовый, сын привратника-нубийца, пробрался на галерею второго этажа, чтобы поглядеть на танцы, и свалился вниз. Было сделано все возможное, чтобы скрыть от всех этот инцидент; привратник сдерживал рыдания, чтобы не обеспокоить гостей своего господина; ему велели вынести труп ребенка через кухонные двери; на миг я увидел его плечи, которые судорожно вздрагивали, словно под ударами бича. У меня было ощущение, что я разделяю эту отцовскую боль, как некогда разделял боль Геракла, боль Александра, боль Платона, оплакивавших своих умерших друзей. Я велел отнести несчастному отцу несколько золотых монет — больше я ничего не мог для него сделать.

Через два дня я снова увидел его; он вычесывал у себя вшей, блаженно растянувшись поперек порога на солнце.

Ко мне приходили послания; Панкрат завершил наконец свою поэму; это было лишь посредственное подражание гомеровским гекзаметрам, но имя, которое повторялось чуть ли не в каждой строке, делало поэму для меня дороже всех на свете шедевров. Нумений прислал мне, как положено в таких случаях, «Утешение»; я читал его всю ночь напролет; ни одно общее место не было в нем упущено. Шаткая защита, воздвигаемая его автором против смерти, строилась по двум линиям. Первая состояла в том, чтобы представить смерть как неизбежное зло, чтобы напомнить, что ни красоте, ни молодости, ни любви не дано избежать тленья, и чтобы, наконец, доказать нам, что жизнь с ее длинной чередой бед и несчастий гораздо страшнее, чем смерть, и что лучше погибнуть, чем состариться и одряхлеть. Все эти истины приводились для того, чтобы склонить нас к смирению; но они скорее внушали отчаяние. Второй ряд аргументов противоречил первому, но наших философов такие мелочи не смущают; тут речь шла уже не о смирении перед смертью, но о полном ее

отрицании. В конце концов важна только душа; прежде чем взять на себя труд вообще доказать существование души, автор безапелляционно утверждал бессмертие этой достаточно зыбкой субстанции, отправлений которой вне тела никто никогда не видел. Я такой уверенности не разделял; если улыбка, взгляд, голос — эти невесомые реальности — исчезли, можно ли говорить о душе? Она вовсе не представлялась мне категорией менее материальной, чем теплота тела. Мы стремимся поскорей отстранить от себя телесную оболочку, когда она лишена души; но ведь эта оболочка — единственное, что у нас остается, единственное доказательство, свидетельствующее о том, что это живое создание действительно существовало. Бессмертие рода человеческого использовалось в трактате как утешение мыслью о том, что каждый человек смертен; но какое мне дело до того, что на берегах Сангария поколения вифинцев будут сменять друг друга до скончания времен? Говорилось в трактате и о славе; да, конечно, при упоминании о ней сердце наполняется гордостью, но между славой и бессмертием устанавливалась какая-то ложная связь — точно оставляемый человеком след ничем не отличается от его живого присутствия. Мне показывали

бога, чей образ должен был заменить умершего; но этого сияющего бога создал я сам и по-своему верил в него, однако почетный удел посмертного бытия в звездных сферах, как бы лучезарен он ни был, не мог возместить мне эту краткую жизнь на земле; бог не мог служить заменой утраченного. Меня возмущало упорство, с каким человек пренебрегает фактами ради гипотез, упорство, с каким он не хочет признать, что грезы — всего только грезы. Я иначе понимал свой долг — долг человека, продолжавшего жить. Эта смерть была бы напрасной, если бы у меня не хватило мужества взглянуть ей прямо в лицо, сердцем прильнуть к той реальности смертного холода, молчания, свернувшейся крови, оцепеневших членов, которую люди так торопятся прикрыть землей и притворством; я предпочитал идти в темноте на ощупь, обходясь без жалких светильников. Я чувствовал, что люди вокруг меня уже начинают раздражаться при виде такой нескончаемой скорби; сила наших страданий оскорбляет окружающих подчас даже больше, чем их причины. Если бы я позволил себе предаваться подобным стенаниям по умершему брату или сыну, меня и тут упрекали бы в том, что я слезлив точно женщина. Память большинства

людей — заброшенное кладбище, на котором без любви и без почестей лежат забытые мертвецы, и всякое горе, если оно неутешно, оскорбительно для этой забывчивости.

Суда доставили нас к тому месту, где уже началось сооружение Антинополя. Теперь, на обратном пути, кораблей у нас поубавилось: Луций, которого я редко видел после той ночи, отправился в Рим, где молодая жена родила ему сына. Его отъезд избавил меня от множества докучливых и любопытных людей. Начавшиеся работы меняли вид берегов; среди груд разрытой земли уже проступал облик будущего города; но я больше не узнавал того места, где была принесена жертва. Бальзамировщики закончили свою работу; узкий кедровый гроб был помещен внутрь мраморного саркофага, установленного в самом потаенном зале храма. С робостью приблизился я к покойнику. Казалось, его нарядили для какого-то действа: тяжелая египетская каска прикрывала его волосы; обвитые бинтами ноги были похожи на длинный белый сверток. Но его профиль молодого сокола не изменился; ресницы отбрасывали на подцвеченные румянами щеки знакомую тень. Прежде чем забинтовать руки, мне показали покрытые золотом ногти. Началось

чтение молитв; покойник устами жрецов объявлял себя неизменно правдивым, неизменно целомудренным, неизменно сострадательным и справедливым; он похвалялся добродетелями, которые, будь они и в самом деле такими, должны были бы навеки вознести его надо всеми прочими людьми. Зал наполнился горьковатым запахом ладана; я пытался сквозь сизую пелену представить себе, будто вижу его улыбку; недвижный прекрасный лик, казалось, еле заметно вздрагивал. Я присутствовал при магических пассах, с помощью которых жрецы заставляли душу покойного частично претвориться в статуи, что будут хранить его память, присутствовал и при многих других обрядах, еще более странных. Когда со всем этим было покончено, уложили на место золотую маску, отлитую по посмертному восковому слепку, и она плотно прилегла к лицу. Этой прекрасной нетленной поверхности отныне предстояло вобрать в себя всю способность умершего излучать свет и тепло; она будет вечно покоиться в этом наглухо закрытом ящике как символ бессмертия. На грудь Антиною положили букет акаций. Двенадцать мужчин опустили тяжелую крышку. Но я все еще колебался, не зная, где поместить саркофаг. Я вспомнил, что, прика-

зав провести повсюду посмертные чествования и погребальные действа, отчеканить монеты, воздвигнуть на общественных площадях статуи, я сделал исключение только для Рима; я боялся вызвать еще большую враждебность, которой и без того окружен любой фаворит-чужеземец. Я говорил себе, что не всегда буду в Риме и не всегда смогу защитить эту гробницу. Монумент, который я задумал возвести у ворот Антинополя, тоже будет чересчур на виду, а это в свою очередь не слишком надежно. Я послушался жрецов. Они указали мне на одном из склонов Аравийского хребта, примерно в трех милях от города, пещеру — одну из тех, что были когда-то выбраны царями Египта в качестве усыпальниц. Упряжка быков повлекла саркофаг на эту гору. С помощью веревок его пронесли подземными коридорами и установили у каменной стены. Сын Клавдиополя был опущен в могилу словно фараон, словно один из Птолемеев. Мы оставили его одного. Он вступил в те пределы, где уже не существует ни воздуха, ни света, ни времен года, ни конца, рядом с которыми всякая жизнь представляется мимолетной; он достиг неизменности и, быть может, спокойствия. Сотни тысяч столетий, таящихся пока в непроницаемых недрах времени,

пройдут над этой могилой, не возвратив ему жизни, но ничего не прибавив и к его смерти, не отменив того непреложного факта, что он жил на земле. Гермоген взял меня за руку, помогая выбраться на свежий воздух; было почти радостно очутиться опять на поверхности, вновь увидеть холодную синеву неба между двумя отвесами бурых скал. Остальная часть путешествия была краткой. В Александрии Сабина вновь взошла на корабль и отправилась в Рим.

DISCIPLINA AUGUSTA
СВЯЩЕННАЯ НАУКА ВЛАСТИ

В Грецию я возвращался сушей. Путешествие было долгим. У меня имелись все основания считать его моей последней официальной поездкой по Востоку; тем более хотелось увидеть все собственными глазами. Антиохия, в которой я остановился на несколько недель, предстала передо мной в новом свете; теперь меня уже меньше, чем прежде, трогала прелесть театральных представлений, всевозможные празднества, забавы в садах Дафны[167], шуршанье пестрой толпы. Мне скорее бросалось в глаза легкомыслие этого злоречивого и насмешливого народа, напоминавшего мне жителей Александрии, нелепость так называемых интеллектуальных упражнений, пошлость кичащихся своей роскошью богачей. Почти никто из этих знатных лиц не был способен в полном объеме понять составленную мной для Азии программу работ и реформ; все они ограничивались лишь тем,

---

[167] КОММЕНТАРИЙ: 167
Дафна — предместье Антиохии.

что использовали ее для нужд своих городов, а главным образом — для себя лично. Одно время я помышлял о том, чтобы в противовес чванливой сирийской столице поднять значение Смирны или Пергама; но пороки Антиохии присущи любой метрополии, и ни один из этих больших городов не смог бы их избежать. Отвращение к городской жизни заставило меня еще усердней заняться аграрным переустройством; я завершил долгую и сложную реорганизацию императорских угодий в Малой Азии; это пошло на пользу и земледельцам, и государству. Во Фракии я счел необходимым еще раз посетить Андринополь, куда увеличился приток ветеранов дакийских и сарматских кампаний, привлеченных раздачей земельных участков и снижением налогов. Тот же план я рассчитывал привести в действие и в Антинополе. Я уже давно предоставил такие же льготы учителям и врачам, в надежде способствовать укреплению и развитию среднего класса, где немало искусных и серьезных людей. Мне известны присущие этому классу недостатки, но государство держится только на нем.

Афины по-прежнему были излюбленным местом моих остановок; меня восхищало, что их красота так мало зависит от воспоминаний, как

моих собственных, так и исторических; каждое утро этот город казался новым. На сей раз я остановился у Арриана. Посвященный, как и я, в элевсинские таинства, он был в силу этого усыновлен семейством священнослужителей, одним из самых влиятельных в Аттике, — семейством Кериков, так же как я был в свое время усыновлен семьей Эвмолпидов. Он женился; женой его стала молодая афинянка, женщина изысканная и горделивая. Оба они окружили меня ненавязчивыми заботами. Их дом был расположен в нескольких шагах от новой библиотеки, которую я незадолго до того подарил Афинам и где все благоприятствовало размышлению или отдыху — удобные скамьи для сидения, отопление в зимнюю пору, нередко весьма холодную, пологие лестницы, ведущие на галереи, где хранились книги, алебастр и золото в спокойных и мягких сочетаниях. С особым вниманием отнесся я к выбору и размещению светильников. Я все больше ощущал потребность собирать и хранить древние тома и часто поручал старательным писцам снимать с них копии. Эта благородная задача представлялась мне столь же неотложной, как помощь ветеранам или денежные пособия многодетным и бедным семьям; я думал о том, что достаточно

нескольких войн и неизбежных упадка и нищеты, которые грядут вслед за войнами, или эпохи невежества и одичания, обычно наступающих с приходом скверного государя, — и будут безвозвратно утрачены мысли, что дошли до нас благодаря столь непрочным пергаменту и чернилам. Каждый более или менее состоятельный человек, способный содействовать этому вкладу в культуру, представлялся мне облеченным священным долгом перед человечеством.

В этот период я много читал. Я побудил Флегонта составить, под общим названием «Олимпиады», серию хроник, которые продолжили бы «Греческую историю» Ксенофонта и кончались моим царствованием, — план дерзкий, поскольку колоссальная история Рима представала здесь как простое продолжение истории Греции[168]. Стиль Флегонта раздражал своей сухостью, но собрать и уточнить факты было уже само по себе немалым делом. В связи с этим проектом мне захотелось перечитать старых историков; их труды, которые я осмыслял, опираясь на свой собственный опыт,

[168] КОММЕНТАРИЙ: 168

Это сочинение было написано; судя по сохранившимся отрывкам, оно состояло главным образом из списков имен исторических лиц и описания разного рода состязаний; ни в какое сравнение с «Греческой историей» Ксенофонта оно, разумеется, не идет.

наполнили меня мрачными мыслями; энергия и добрая воля каждого государственного деятеля выглядели ничтожными по сравнению со случайным и одновременно роковым ходом событий, со стечением обстоятельств, слишком неопределенных и смутных, чтобы их можно было заранее предвидеть, оценить или направить. Занялся я и поэтами; мне нравилось вызывать из далекого прошлого их чистые и звучные голоса. Моим другом стал Феогнид, аристократ, изгнанник, наблюдавший без иллюзий и без снисхождения человеческую жизнь, всегда готовый изобличить ошибки и заблуждения, которые мы именуем нашими бедами. Этот весьма здравомыслящий человек вкусил мучительнейших радостей любви; несмотря на подозрения, на ревность, на взаимные обиды, его связь с Кирном тянулась до старости одного и до зрелого возраста другого; бессмертие, которое он обещал юноше из Мегары, не было пустым звуком, поскольку память о них дошла до меня сквозь расстояние в шесть с лишним веков. Но среди древних поэтов более других меня привлекал Антимах; я ценил его сложный и лаконичный стиль, его пространные и вместе с тем до предела сжатые фразы — словно большие бронзовые чаши, наполненные тяжелым вином.

Его рассказ о кругосветном плавании Ясона я предпочитал исполненной более стремительного движения «Аргонавтике» Аполлония: Антимах глубже постиг тайну странствий и горизонтов и ту тень, которую отбрасывает на пейзаж вечности живущий всего лишь мгновение человек. Он горестно оплакал свою жену Лиду; он назвал ее именем длинную поэму, в которую вошли все легенды о муках и скорби людей. Эта Лида, которую я, при ее жизни, возможно, даже не заметил бы, стала для меня существом привычным, родным и более дорогим, чем многие женщины в моей собственной жизни. Эти поэмы, почти уже забытые, понемногу возвращали мне веру в бессмертие.

Пересмотрел я и свои собственные произведения — любовные строки, стихи, сочиненные на случай, оду памяти Плотины. Быть может, наступит день, когда кто-нибудь захочет все это прочитать. Несколько не вполне пристойных стихов заставили меня заколебаться; но в конце концов я их тоже включил в сборник. Даже самые порядочные из людей нередко пишут такое, для них это игра; я предпочел бы, чтобы мои стихи подобного плана представляли собой нечто иное, чтобы они были точным отражением ничем не прикрытой правды. Однако и здесь, как во всем

остальном, мы оказываемся рабами условностей; я начинал понимать, что недостаточно одной только смелости духа, чтобы от них избавиться, и что восторжествовать над косностью и вдохнуть в слова свежие мысли поэт может только благодаря усилиям столь же упорным и длительным, как моя деятельность императора. Я со своей стороны могу претендовать лишь на редкие любительские находки: будет неплохо, если во всем этом ворохе останется для потомства хотя бы два или три стиха. И все же я набрасывал в эту пору довольно честолюбивое сочинение — наполовину в стихах, наполовину в прозе, — которое виделось мне серьезным и в то же время ироничным; я намеревался собрать здесь забавные факты, подмеченные мною на протяжении жизни, свои размышления и некоторые свои мечты; весь этот разнообразный материал должен был быть скреплен совсем тоненькой сквозной ниткой; это было бы нечто в духе «Сатирикона», только более язвительное и резкое. Я изложил бы здесь ту философию, которую понемногу стал разделять, — Гераклитову идею изменения и возвращения. Но потом я отказался от этого слишком обширного замысла.

В тот год у меня состоялись со жрицей, которая

некогда приобщила меня к таинствам Элевсина и чье имя должно держать в секрете, многочисленные беседы, в ходе которых были один за другим уточнены все этапы культа Антиноя. Великие элевсинские символы продолжали оказывать на меня успокаивающее воздействие; вполне возможно, что бытие вообще не имеет смысла, но если какой-то смысл все-таки есть, то в Элевсине он выражен более благородно и мудро, чем в любом другом месте. Под влиянием этой женщины я задумал превратить административные части Антинополя, его демы[169], кварталы и улицы в своего рода отражение мира богов и одновременно моей собственной жизни. Здесь было все: Гестия и Вакх, боги домашнего очага и боги неистовых оргий, божества небесные и боги загробного царства. Я поместил сюда и своих предков — императоров Траяна и Нерву, ставших неотъемлемой частью этой системы символов. Была здесь и Плотина; добрая Матидия[170] была

[169] КОММЕНТАРИЙ: 169

Дем — совокупность полноправных граждан и их земельных владений на данной ограниченной территории; с конца VI в. основное гражданское и территориальное подразделение греческого народа, установленное демократическим реформатором Афинского государства Клисфеном.

[170] КОММЕНТАРИЙ: 170

Племянница Траяна и теща Адриана.

уподоблена Деметре; моя жена, с которой у меня в ту пору установились довольно теплые отношения, тоже присутствовала в этом собрании божеств. Через несколько месяцев я дал одному из кварталов Антинополя имя моей сестры Паулины. Вообще-то я поссорился с женой Сервиана, но после своей смерти она заняла в этом мемориале свое место как моя единственная сестра. Этот печальный город становился идеальным средоточием встреч и воспоминаний, Элисийскими полями одной человеческой жизни, местом, где все противоречия находят свое разрешение, где все в равной мере священно.

Стоя у окна в доме Арриана и всматриваясь в усеянную звездами ночь, я размышлял о той фразе, которую египетские жрецы приказали высечь на гробе Антиноя: «Он подчинился велению небес». Может ли быть, чтобы небеса посылали нам свои повеления и чтобы лучшие среди нас слышали их, в то время как для остальных небеса пребывают в гнетущем безмолвии? Элевсинская жрица и Хабрий склонны были думать именно так. Мне тоже хотелось в это верить. Мысленно я снова глядел на разглаженную смертью ладонь, которую я в последний раз видел в то утро, когда началось бальзамирование; линий, которые

когда-то встревожили меня, больше не было; все произошло так, как с восковыми дощечками, когда с них стирают уже выполненный приказ. Но эти возвышенные соображения, кое-что для нас проясняя, нас, однако, не греют, они — точно свет, идущий от звезд, и ночь, обступившая нас, становится еще непрогляднее. Если жертва, принесенная Антиноем, и покачнула в каких-то пространствах божественные весы в мою пользу, результаты этого ужасного дара еще никак не сказались; мне эти благодеяния не сулили ни жизни, ни бессмертия. Я даже не смел определить их имя. Изредка слабое мерцание холодно поблескивало на горизонте моих небес; оно не украшало ни мира, ни меня самого; я продолжал ощущать себя скорее сломленным, нежели спасенным.

К этому времени Квадрат, христианский епископ, направил мне послание, прославляющее его веру. Моим принципом было придерживаться в отношении этой секты абсолютной беспристрастности; такой же была и позиция Траяна в его лучшие дни; незадолго до этого я напомнил наместникам провинций, что законы охраняют всех без исключения граждан и что тех, кто подвергнет христиан поношению, следует сурово карать, если обвинения окажутся бездока-

зательными. Но всякая терпимость, проявленная к фанатикам, незамедлительно дает им основание считать, что к их верованиям относятся с симпатией; мне была неприятна мысль о том, что Квадрат надеялся сделать из меня христианина; во всяком случае, он хотел доказать мне превосходство своего учения и, главное, доказать его безвредность для государства. Я прочел его сочинение и даже оказался настолько любопытным, что поручил Флегонту собрать для меня сведения о жизни молодого пророка по имени Иисус, который основал эту секту и пал жертвой еврейской нетерпимости около ста лет назад. Говорят, этот юный мудрец оставил после себя заветы, похожие на заветы Орфея, с которым ученики Иисуса иногда сравнивают его. При всем том, что послание Квадрата было написано удивительно вяло, я все же сумел ощутить трогательную прелесть добродетелей, свойственных этим простым людям, их мягкость, наивность, их преданность друг другу; все это напоминало те братства, которые чуть ли не повсеместно учреждают во славу наших богов теснящиеся в городских предместьях рабы или бедняки: в недрах мира, который, несмотря на все наши усилия, остается жестоким и равнодушным к бедам и

чаяньям людей, эти небольшие общества взаимопомощи служат для несчастных поддержкой и утешением. Однако я не забывал и об опасностях. Прославление добродетелей, присущих детям и рабам, происходило в ущерб качествам более мужественным и более трезвым; я угадывал за этим затхлым и пресным простодушием жестокую прямолинейность сектанта по отношению к формам жизни и мысли, не совпадающим с его собственными, угадывал и необычайную гордыню, которая заставляет сектанта считать себя выше всех остальных людей и по собственной воле надевать на себя шоры. Меня довольно скоро утомили ложные доводы Квадрата и обрывки философских учений, которые он неуклюже надергал из книг наших мудрецов. Хабрий, вечно занятый тем, чтобы почести богам воздавались в полном соответсгвии с нашими традиционными правилами, был обеспокоен возраставшим влиянием подобных сект на простонародье больших городов; он опасался за наши древние религии, которые не навязывают человеку никакой догмы и пригодны для толкований стиль же многообразных, как и сама природа; они предоставляют суровым сердцам придумывать для себя, если они того пожелают, мораль более возвышенную, не

принуждая, однако, всех остальных подчиняться слишком строгим нравственным нормам, дабы не порождать в них скованности и притворства. Арриан разделял эти взгляды. Я провел в беседе с ним целый вечер, отвергая, как и он, предписание, требующее от человека любить своего ближнего как самого себя; оно слишком противоречит человеческой природе, чтобы его мог искренне принять человек заурядный, который всегда будет любить только себя, и совершенно не подходит для мудреца, который особой любви к себе самому не питает.

Впрочем, по многим пунктам и мысль наших философов представлялась мне не менее ограниченной, бесплодной и смутной. Три четверти наших интеллектуальных упражнений — это всего лишь узоры на пустом месте; я часто задавался вопросом, не свидетельствует ли эта растущая пустота о снижении умственного уровня или об упадке нравственности; как бы то ни было, но посредственность ума почти всегда сопровождается поразительной низостью души. Я поручил Героду Аттику надзор за строительством сети акведуков в Троаде; он воспользовался этим для того, чтобы беззастенчиво растратить общественные деньги; призванный к ответу, он дерзко заявил, что

достаточно богат и в состоянии покрыть недостачу; однако само его богатство было нажито скандальным путем. Его недавно скончавшийся отец устроил все так, чтобы негласно лишить его наследства, увеличив свои щедроты в пользу жителей Афин; Герод же просто-напросто отказался выплатить завещанные отцом суммы, следствием чего и стал судебный процесс, который тянется до сих пор. В Смирне Полемон, с которым мы еще недавно были на дружеской ноге, ничтоже сумняшеся выставил за дверь депутацию римских сенаторов, которые решили, что могут рассчитывать на его гостеприимство; твой отец Антонин, самый незлобивый на свете человек, вспылил; дело кончилось тем, что государственный деятель и софист перешли в рукопашную; этот кулачный бой, недостойный будущего императора, был еще более недостоин греческого философа. Фаворин, алчный карлик, которого я засыпал деньгами и почестями, напропалую острил на мой счет. Тридцать легионов, которыми я командовал, были, по его словам, единственным серьезным аргументом в философских спорах, в которых я, с присущим мне, как выясняется, самомнением, всегда считал себя победителем, тогда как именно он устраивал дело так, чтобы

последнее слово оставалось за императором. Таким образом, он обвинял меня в тщеславии и глупости и одновременно демонстрировал собственную подлость. Педантов обычно раздражает, если кто-нибудь не хуже, чем они сами, разбирается в их деле; тогда любой ваш поступок становится поводом для злобных речей; я велел включить в школьные программы незаслуженно забытые произведения Гесиода и Энния; глупцы тотчас приписали мне намерение развенчать Гомера, а также благородного Вергилия, невзирая на то, что я его бесконечно цитирую. С этими людишками ничего нельзя поделать.

Арриан был не такой. Я любил беседовать с ним о самых разных вещах. Он сохранил о вифинском юноше воспоминание глубокое и светлое; я был ему признателен за то, что он причислял любовь, свидетелем которой был он сам, к разряду великих взаимных привязанностей прошлого; мы время от времени говорили с ним об этом, но, хотя не бывало произнесено ни единого ложного слова, у меня иногда возникало впечатление, что в наших речах сквозит некая фальшь: за возвышенным и величественным исчезала правда. Почти так же обманул меня Хабрий; к Антиною он относился с той беззаветной преданностью,

какую старый раб нередко выказывает своему молодому господину, но теперь, поглощенный культом нового бога, он словно утратил память о нем живом. Мой черный Эвфорион по крайней мере видел вещи в более истинном свете. Арриан и Хабрий были мне дороги, и я ни в малейшей мере не ощущал своего превосходства над этими честными людьми, но временами мне казалось, что я единственный человек, который осмеливается глядеть на мир открытыми глазами.

Да, Афины были все так же прекрасны, и я ничуть не жалел, что посвятил свою жизнь греческим наукам и искусствам. Все, что в нас есть человечного, гармоничного, ясного, идет от них. Но иногда я говорил себе, что несколько тяжеловатая серьезность Рима, его чувство преемственности, его склонность к категориям конкретным были необходимы, чтобы претворить в реальность то, что в Греции было замечательным свойством рассудка, прекрасным порывом души. Платон написал «Государство» и прославил идею Справедливости, но ведь это мы, наученные своими собственными ошибками, прилагаем усилия для того, чтобы превратить государство в машину, способную служить людям без риска их перемолоть. «Филантроп» — греческое слово, но ведь это

мы, правовед Сальвий Юлиан и я, трудимся над тем, чтобы изменить бедственное положение раба. Усердие, прозорливость, внимание к деталям, вносящее поправки в дерзкую всеохватность взгляда, были качествами, которые я приобрел именно в Риме. В глубинах своей собственной души мне случалось найти отклик на величественные и грустные пейзажи Вергилия и его сумерки, застланные слезами; я погружался еще глубже и встречал жгучую печаль Испании и ее бесплодное буйство; я думал о каплях кельтской, иберийской, быть может, даже пунической крови, которые могли просочиться в жилы римских поселенцев в муниципии Италике; я вспоминал, что мой отец был прозван Африканцем. Греция помогла мне по достоинству оценить все эти негреческие элементы. Так же было и с Антиноем; он стал для меня воплощенным образом этой страны, преданной красоте; он будет, возможно, и ее последним богом. И однако утонченная Персия и дикая Фракия смешались в Вифинии с пастухами древней Аркадии; этот нежно очерченный профиль напоминал мне юношей из свиты Хосрова; это широкое лицо с выступающими скулами было лицом фракийских всадников, которые скачут по берегам Босфора и оглашают

вечера хриплыми и печальными песнопениями. Нет такой формулы, которая могла бы охватить все сполна.

В тот год я завершал пересмотр афинской конституции, начатый мною уже давно. Я старался вернуться по мере возможности к древним демократическим законам Клисфена[171]. Сокращение числа должностных лиц облегчало государственные расходы; я затруднил отдачу налогов на откуп, тем нанеся удар губительной системе, кое-где еще применяемой, к сожалению, местными властями. Поддержка мною научных исследований, относящаяся к той же эпохе, помогла Афинам вновь стать крупным учебным центром. Ценители красоты, которые до меня приезжали в этот город, восторгались лишь его памятниками, нимало не беспокоясь по поводу возраставшей нищеты его жителей. Я же сделал все для того, чтобы увеличить благосостояние этой бедной земли. Один из крупнейших проектов моего

[171] КОММЕНТАРИЙ: 171
См. прим. 169.

169 КОММЕНТАРИЙ: 169
Дем — совокупность полноправных граждан и их земельных владений на данной ограниченной территории; с конца VI в. основное гражданское и территориальное подразделение греческого народа, установленное демократическим реформатором Афинского государства Клисфеном.

царствования созрел незадолго до моего отъезда; учреждение ежегодных встреч представителей всех полисов Греции, через посредничество которых отныне должны были решаться в Афинах все дела и проблемы греческого мира, вернуло этому скромному и великолепному городу положение столицы. Однако план этот удалось осуществить лишь после весьма трудных переговоров с городами, которые завидовали возвышению Афин или таили против них застарелую злобу; но мало-помалу здравый смысл и энтузиазм взяли верх. Первая из этих ассамблей совпала с открытием храма Зевса Олимпийского для общественного отправления культа; этот храм все больше становился символом обновленной Греции.

По этому случаю в театре Диониса было дано несколько необычайно удавшихся спектаклей; я занимал на них место, чуть возвышавшееся над тем, где восседал гиерофант; жрец Антиноя тоже отныне получил свое место среди декурионов и жрецов[172]. По моему приказу была расширена сцена театра; ее украсили новые барельефы; на

[172] КОММЕНТАРИЙ: 172

Иерофант — высший жрец Элевсинского культа, в классическую эпоху всегда происходивший из царского рода Эвмолпидов. Декурионы — высшие должностные лица в провинциальных городах Римской империи.

одном из них мой молодой вифинец принимал от элевсинских богинь право вечного гражданства. На панафинском стадионе, превращенном на несколько часов в сказочный лес, я устроил охоту, в которой участвовало множество диких зверей; так возродился на время празднества первобытный город Ипполита, служителя Дианы, и Тесея, спутника Геракла. Несколько дней спустя я покинул Афины; С тех пор я ни разу больше там не бывал.

Управление Италией, с давних времен отданное на произвол преторов, никогда не было основано на строгих законах. «Постоянный эдикт», который регламентировал его раз и навсегда, относится к этому периоду моей жизни; на протяжении долгих лет я состоял в переписке с Сальвием Юлианом по поводу этих реформ; мое возвращение в Рим ускорило завершение всей этой работы. Речь шла отнюдь не о том, чтобы лишить италийские города их гражданских свобод; напротив, здесь, как и везде, мы окажемся лишь в выигрыше, если не станем силой навязывать им искусственное единообразие; меня даже удивляет, что муниципии, нередко более древние, чем Рим, с такой легкостью отказываются от своих, иной раз весьма мудрых, обычаев ради того,

чтобы во всем уподобиться столице. Моей целью было просто уменьшить число противоречий и несообразностей, которые в конечном счете превращают любую процедуру в дремучий лес, куда не рискуют соваться честные люди и где разбойники чувствуют себя как рыба в воде. Эти труды потребовали от меня довольно частых перемещений по территории полуострова. Многократно наезжал я в Байи; я жил там на бывшей вилле Цицерона, которую я приобрел в начале своего царствования; мне по душе была Кампанья, она напоминала мне Грецию. На берегу Адриатики, в небольшом городке Адрии, откуда мои предки четыре века назад перебрались в Испанию, я был удостоен высших муниципальных должностей; возле бурного моря, по имени которого меня назвали, в одном из разрушенных склепов я отыскал наши семейные урны. Я пытался представить себе своих предков, о которых я почти ничего не знал, хотя из этих корней я вышел и на мне этот род прекратится.

В Риме шли работы по расширению моего огромного мавзолея, проект которого искусно переделал Декриан; работы эти продолжаются и по сей день. Египет подал мне идею круговых галерей, пологих скатов, мягко переходящих в

подземные залы; по моему замыслу, это будет дворец смерти, но предназначенный не только для меня одного и не только для моих непосредственных преемников; здесь будут покоиться и грядущие императоры, отделенные от нас множеством столетий; государям, которым еще только предстоит родиться, уже отведено место в этом склепе. Я позаботился также украсить кенотаф, который воздвигнут на Марсовом поле в память Антиноя и для которого плоскодонное судно привезло из Александрии сфинксов и обелиски. Меня издавна занимал и до сих пор занимает еще один проект: Одеон — образцовая библиотека, оснащенная учебными и лекционными залами, которая являлась бы в Риме центром греческой культуры. Я не стал придавать ей ни того великолепия, каким отличается новая библиотека в Эфесе, построенная тремя или четырьмя годами раньше, ни того очаровательного изящества, какое присуще библиотеке в Афинах. Я надеюсь, что это учреждение если и не достигнет уровня александрийского Музея, то хотя бы сможет соперничать с ним; его последующее развитие — в твоих руках. Когда я работаю там, я часто думаю о прекрасной надписи, которую Плотина велела сделать над входом в библиотеку, учрежденную

ее стараниями посреди Форума Траяна: «Лечебница души».

К этому времени Вилла была уже достаточно отделана для того, чтобы я мог перевезти в нее мои собрания картин и скульптур, музыкальные инструменты и те несколько тысяч книг, которые я покупал почти повсюду во время моих странствий. Я устроил на Вилле серию празднеств, в которых все было продумано тщательнейшим образом, начиная с меню и кончая довольно узким кругом гостей. Мне хотелось, чтобы все пребывало здесь в полной гармонии с мирной красотой садов и покоев, чтобы фрукты были столь же изысканны, как и концерты, а распорядок трапез так же размерен и точен, как чеканный узор на серебряных блюдах. Я впервые заинтересовался выбором кушаний; я заботился о том, чтобы устрицы доставлялись из Лукрина, а раки вылавливались в галльских реках. Ненавижу ту пышную небрежность, какая слишком часто бывает свойственна императорскому столу, я взял за правило, чтобы каждое блюдо непременно показывалось мне, прежде чем оно будет предложено даже самому скромному из гостей; я самолично проверял счета от поваров и трактирщиков; временами мне приходило на ум, что мой дед был

скупым человеком. Ни маленький греческий театр на Вилле, ни театр латинский, чуть больших размеров, не были еще завершены; однако я повелел поставить в них несколько пьес. По моему выбору давались трагедии и пантомимы, музыкальные и ателланские драмы. Особенно нравилась мне изящная гимнастика танцев; я обнаружил у себя слабость к танцовщицам с кастаньетами, напоминавшими мне Кадикс и те первые зрелища, на которые меня водили ребенком. Я любил этот сухой звук, эти воздетые руки, эти бьющиеся, как прибой, или свивающиеся в спираль покрывала, любил глядеть на плясунью, которая перестает быть женщиной и становится облаком, птицей, волною, триремой. Одну из этих танцовщиц я особенно выделял; но мое увлечение было кратким. Во время моих отлучек конюшни и псарни содержались в отменном порядке, и мне опять все было в радость: жестковатая шерсть собак, шелковистая кожа коней, прелестная свита молодых ловчих. Я устроил несколько охот в Умбрии, на берегу Гразименского озера, а потом несколько ближе к Риму, в лесах Альбы. Наслаждение заняло в моей жизни свое прежнее место; мой секретарь Онезим служил мне сводником. Он умел когда нужно избегать

мучительного для меня сходства или, наоборот, отыскивать его. Но эти случайные и торопливые связи не имели никакого отношения к любви. Порой я встречал существо более тонкое, более ласковое, чем другие, с которым было интересно поговорить и которое, может быть, стоило снова увидеть. Но эти удачи были редки — и, конечно, по моей лишь вине. Я, как правило, довольствовался тем, что утолял или обманывал голод. Иногда же мне доводилось испытывать к этим играм то полнейшее равнодушие, какое обычно свойственно старикам. В часы бессонницы я ходил взад и вперед по коридорам Виллы, бродил из зала в зал, иногда натыкался на кого-либо из мастеров, выкладывавших мозаику, и мешал работать; по дороге я всматривался в Праксителева Сатира, останавливался перед скульптурными изображениями покойного. Они были в каждой комнате, в каждом портике. Я прикрывал ладонью пламя светильника и прикасался пальцами к мраморной груди. Эти встречи осложняли работу памяти; я отодвигал, точно занавес, паросскую или пентеликскую белизну; я с трудом возвращался от скованных неподвижностью линий к живой трепещущей форме, от тверди мрамора к плоти. Я продолжал свой обход, и статуя, которую

я вопрошал, снова погружалась во мрак; через несколько шагов светильник выхватывал из тьмы еще один образ; большие белые фигуры были похожи на призраков. Я с горечью думал о пассах, посредством которых египетские жрецы заманивают душу покойника в его подобия из дерева, используемые для ритуальных обрядов; я поступил так же, как они: я заколдовал камни, которые в свою очередь заколдовали меня; мне уже никуда не уйти от этого безмолвия и этого холода, которые мне ближе отныне, чем теплота и голос живого существа, я злобно глядел на это опасное лицо с блуждавшей на нем улыбкой. Но уже несколько часов спустя, вытянувшись на своем ложе, я решал заказать Папию Афродизийскому новую статую; я требовал более точной лепки щек — там, где они неуловимо переходят во впадины под висками, я требовал более плавного изгиба от шеи к плечу; я настаивал на том, чтобы вместо венка из виноградных лоз, вместо сплетенья драгоценных камней были во всей своей красе представлены ничем не прикрытые волосы. Не забывал я и проследить за тем, чтобы барельефы и бюсты делались для уменьшения веса полыми — так их было легче перевозить. Самые похожие из этих изображений сопро-

вождали меня повсюду; мне уже было неважно, красивы они или нет.

Моя жизнь могла показаться размеренной и благонравной; я с превеликим тщанием исполнял свои обязанности императора; я относился к ним, во всяком случае, с большей рассудительностью, если не с большим рвением, чем прежде. Я несколько утратил вкус к новым идеям и встречам, утратил ту гибкость ума, которая позволяла мне прислушиваться к мыслям собеседника и извлекать из них выгоды, беспристрастно их оценивая. Любопытство, в котором я раньше видел главную пружину своей мыслительной деятельности, одну из основ своего метода, было обращено теперь лишь на ничтожные мелочи: я распечатывал письма, адресованные моим друзьям, и они обижались на меня за это; для меня было мимолетным развлечением бросить взгляд на их любовные дела и семейные дрязги. Впрочем, сюда примешивалась и некоторая доля подозрительности: случалось, что в течение нескольких дней меня терзал страх перед ядом, тот жестокий страх, который я некогда замечал в глазах больного Траяна и в котором, боясь быть смешным, государь не смеет признаться, пока преступление не свершилось. Подобные страхи

удивительны, когда они преследуют человека, довольно спокойно размышляющего о смерти, но я никогда не отличался особой последовательностью в поступках. Порою, столкнувшись с проявлением какой-либо глупости, какой-либо мелкой житейской подлости, я чувствовал, как меня охватывает глухая ярость, дикое неистовство и отвращение, смысла которых я и сам толком не мог объяснить. Ювенал осмелился в одной из своих сатир оскорбить мима Париса, который мне нравился. Мне давно уже надоел этот поэт, высокомерный и брюзгливый; мне было неприятно его грубое презрение к Востоку и Греции, его преувеличенная любовь к так называемой простоте наших предков, была противна та смесь подробнейших описаний порока и высокопарного восхваления добродетелей, которая щекочет чувства читателя и порождает лицемерие. Однако, как человек, причастный к литературе, он все же имел право на некоторое уважение; я вызвал его в Тибур, чтобы в его присутствии подписать указ об изгнании. Отныне сей хулитель римской роскоши и развлечений мог на месте изучать провинциальные нравы; очередными нападками на красавца Париса он отметил последнее представление своей пьесы. В

это же время и Фаворин уютно устроился в своей ссылке на Хиосе, где я и сам был бы не прочь поселиться; оттуда мне уже не был слышен его пронзительный голос. Примерно тогда же я с позором изгнал из пиршественного зала одного торговца мудростью, немытого киника, который жаловался на то, что умирает с голоду, как будто этот негодяй заслуживал лучшей доли; мне доставило живейшее удовольствие глядеть, как этот болтун, перегнувшись пополам от страха, удирал со всех ног под яростный лай собак и улюлюканье слуг; сей велеречивый и начитанный мерзавец больше не будет мозолить мне глаза.

Мелкие неудачи в политической жизни выводили меня из себя в точности так же, как малейшая неровность в настиле полов на Вилле, как едва заметный потек воска на мраморе стола, как мелкий изъян в любой вещи, которую мне хотелось бы видеть безукоризненно совершенной. Донесение Арриана, недавно назначенного наместником Каппадокии, предостерегало меня против Фарасмана, который в своем маленьком княжестве на берегах Каспийского моря продолжал вести двойную игру, дорого обходившуюся нам еще при Траяне. Этот царек исподтишка подталкивал к нашим границам орды варваров-

аланов; его распри с Арменией грозили миру на Востоке. Вызванный в Рим, он отказался приехать — так же, как четырьмя годами раньше отказался присутствовать на совете в Самосате. Вместо извинений он прислал мне в подарок триста золотых плащей, а я повелел облачить в эти царские одеянья преступников, которых вывели на арену на съедение диким зверям. Этот сумасбродный приказ принес мне удовлетворение — так некоторые люди получают удовольствие, расчесывая до крови кожу.

У меня был секретарь — личность вполне заурядная, — которого я держал потому, что он досконально знал все тонкости делопроизводства, но он раздражал меня своею тупостью, сварливостью и зазнайством, своим упрямым протестом против всякой новизны, своей страстью по любым пустякам вступать в пререкания. Однажды этот болван рассердил меня не на шутку; я занес руку, чтобы ударить его, но, к несчастью, в руке у меня был стиль, и я выколол ему правый глаз. Мне никогда не забыть крик боли, неловко согнутую руку, пытавшуюся отразить мой удар, сведенное судорогой лицо, по которому текла кровь. Я немедленно послал за Гермогеном, который оказал несчастному первую помощь;

потом был вызван для консультации окулист Капито. Но все оказалось напрасным: глаз был потерян. Через несколько дней мой секретарь снова приступил к работе; на лице его была повязка. Я пригласил его к себе; я униженно просил его, чтобы он сам назначил компенсацию за увечье. Злобно усмехнувшись, он отвечал, что просит меня лишь об одном — пожаловать ему другой правый глаз, однако в конце концов согласился принять от меня деньги. Я оставил его у себя на службе; его присутствие было предупреждением для меня, а быть может, и наказанием. Я не хотел лишать его глаза. Как не хотел я и того, чтобы мальчик, которого я любил, умер, не дожив до двадцати лет.

Дела в Иерусалиме шли из рук вон плохо. Несмотря на яростное сопротивление зелотов, работы в городе близились к концу. Мы допустили несколько ошибок, которые сами по себе были вполне поправимы, но смутьянам удалось тут же ими воспользоваться. Эмблемой Десятого Стремительного легиона был вепрь; знамя с его изображением, как это у нас обычно делается, вывесили над городскими воротами; простонародье, не приученное к рисованным или изваянным идолам, которые по причинам

суеверий уже много веков считались запретными, что неблагоприятно отражалось на развитии искусств, приняло этот символ за изображение свиньи и усмотрело в столь незначительном факте издевательство над иудейскими обычаями. Празднование еврейского Нового года, отмечаемое под звуки множества труб и бараньих рогов, служило каждый год поводом для кровавых стычек; наши власти запретили публичное чтение легендарного повествования, посвященного подвигам еврейской героини, которая под вымышленным именем стала сожительницей персидского царя и подвергла безжалостному истреблению врагов своего гонимого и презираемого народа. Однако то, что губернатор Тиней Руф запрещал читать днем, раввины ухитрялись читать ночью; эта кровавая история, где персы и евреи соперничают друг с другом в жестокости, накалила до предела национальные страсти зелотов. Наконец, Тиней Руф, во всем остальном человек вполне благоразумный и даже проявлявший интерес к преданиям и традициям Иудеи, решил распространить за практиковавшийся у евреев обряд обрезания суровые кары, предусмотренные законом против кастрации, который я недавно издал и который был направлен прежде

всего против насилий, чинимых над молодыми рабами. Губернатор надеялся, что таким образом исчезнет один из тех знаков, посредством которых евреи утверждают свое отличие от всего прочего человечества. Когда меня уведомили о принятии этой меры, я не сразу отдал себе отчет в ее опасности, тем более что многие образованные и богатые евреи, которых я встречал в Александрии и Риме, перестали подвергать своих детей этой операции, поскольку она выставляла их в смешном виде в общественных банях и в гимнасиях, и сами стараются скрыть признаки, свидетельствующие о том, что они когда-то ее перенесли. Я еще не знал, до какой степени эти банкиры, эти коллекционеры ваз с драгоценными смолами, отличаются от истинных иудеев.

Я сказал, что во всем этом не было ничего непоправимого, однако ненависть, обоюдное, презрение, злопамятство были непоправимы. Формально иудаизм занимает равноправное место среди других религий империи, на деле же евреи в течение веков упорно отказываются быть одним из народов среди других народов и обладать одним из богов среди других богов. Самые невежественные из даков знают, что их Зальмоксис зовется в Риме Юпитером; пуни-

ческого Ваала с горы Касий можно без труда отождествить с Отцом богов, который держит в руке Победу и чья мудрость извечна; египтяне, при том, что они так гордятся своими тысячелетними мифами, соглашаются видеть в Осирисе подобие Вакха, наделенного погребальными функциями; жестокий Митра сознает себя братом Аполлона. Никакой другой народ, за исключением евреев, не замыкает с таким высокомерием истину в тесные рамки одной-единственной концепции божественного, что оскорбительно для множественной сущности бога, который объемлет собою все; никакой другой бог никогда не внушал своим адептам презрения и ненависти к тем, кто молится у иных алтарей. В связи с этим я изо всех сил стремился превратить Иерусалим в такой же город, как все прочие города, где могли бы мирно сосуществовать различные племена и культы; к сожалению, я забыл, что в схватке фанатизма со здравым смыслом последний редко одерживает победу. Открытие школ, в которых преподавалась греческая словесность, привело в негодование духовенство древнего города; раввин Иошуа, человек воспитанный и образованный, с которым я довольно часто беседовал в Афинах, разрешил своим ученикам, как

бы в оправдание перед единоверцами за свою чужеземную образованность и свои отношения с нами, предаваться этим оскверняющим истинно верующего иудея занятиям только в том случае, если они сумеют посвящать им часы, не принадлежащие ни дню, ни ночи, поскольку еврейский закон следует изучать и ночью и днем. Измаил, важный член синедриона, считавшийся сторонником Рима, позволил своему племяннику Бен Даме умереть, но не допустил к нему греческого хирурга, которого прислал Тиней Руф. Пока мы в Тибуре пытались изыскать такое средство примирения умов, которое не выглядело бы уступкой требованиям фанатиков, случилось самое худшее: зелотам удалось захватить власть в Иерусалиме[173].

Искатель приключений, выходец из народных низов, некий Симон, принявший имя Бар Кохба — Сын Звезды, сыграл в этом мятеже роль смоляного факела или зажигательного стекла. Об этом Симоне я могу судить только на основании слухов; я видел его всего лишь раз — когда центурион принес мне его отрубленную голову. Но я готов признать за ним известную долю таланта,

---

[173] КОММЕНТАРИЙ: 173
Имеется в виду восстание Бар Кохбы — 132–135 гг.

необходимую для того, чтобы подняться в человеческих делах так быстро и так высоко; во всяком случае, так проявить себя мог только человек, обладающий большой ловкостью. Умеренные евреи первыми обвинили этого новоявленного Сына Звезды в мошенничестве и обмане; я склонен думать, что этот невежественный ум был из числа тех, кто увлекается собственной ложью и в ком фанатизм прекрасно уживается с хитростью. Симон выдавал себя за героя, пришествия которого еврейский народ, питая тем самым свое честолюбие и ненависть, ждет уже много веков; этот демагог объявил себя мессией и царем Иудеи. Дряхлый Акиба, у которого от старости уже кружилась голова, провел в поводу по улицам Иерусалима лошадь авантюриста; первосвященник Елеазар заново освятил храм, якобы осквернённый тем, что его порог переступали необрезанные прихожане; приспешникам Сына Звезды было роздано оружие, спрятанное и пролежавшее под землей около двадцати лет; в ход пошло и оружие, от которого мы отказались, после того как его умышленно испортили еврейские мастера. Группы зелотов напали на удаленные от других римские гарнизоны и перебили наших солдат с изощренной жестокостью, напоминавшей са-

мые ужасные эпизоды еврейского восстания при Траяне; в конце концов Иерусалим полностью оказался в руках мятежников, и новые кварталы Элии Капитолины запылали ярким факелом. Первые отряды Двадцать второго Дейотарова легиона, спешно присланного из Египта под командованием легата Сирии Публия Марцелла, были обращены в бегство бунтарями, вдесятеро превосходившими их по численности. Бунт превратился в войну — войну, которой не видно было ни конца, ни оправдания.

Два легиона — Двенадцатый Молниеносный и Шестой Железный — укрепили свой состав тут же на месте, в Иудее; несколькими месяцами позже Юлий Север, который некогда усмирил горные районы Северной Британии, взял на себя руководство военными действиями; он привел с собой небольшие вспомогательные британские отряды, привычные к войне в сложных условиях. Нашим тяжело вооруженным частям, нашим командирам, привыкшим к построениям в каре и в фалангу в регулярных сражениях, было трудно приспособиться к этой войне, состоявшей из мелких стычек и неожиданных налетов, которая даже в открытом поле носила беспорядочный характер. Симон, человек по-своему недюжинный,

разделил своих сторонников на сотни мелких групп и расположил их на гребнях гор, устроив засады в глубине пещер или в старых заброшенных карьерах; часть из них он спрятал в городах, у жителей густонаселенных предместий; Север быстро понял, что этого неуловимого врага можно уничтожить, но нельзя победить; он смирился с необходимостью вести войну до полного истощения сил. Крестьяне, которых Симон заразил своим фанатизмом или просто запугал, с самого начала действовали заодно с зелотами; каждая скала становилась бастионом, каждый виноградник — траншеей, каждую ферму приходилось морить голодом или брать штурмом. Иерусалим снова был взят нами лишь к концу третьего года, когда все попытки переговоров оказались бесплодными; то немногое в еврейских кварталах, что пощадил пожар при Тите, было уничтожено. Север долго закрывал глаза на явное соучастие других крупных городов; превратившись в последние опорные пункты врага, они были потом атакованы и в свою очередь захвачены, улица за улицей, руина за руиной. В эту пору тяжелых испытаний я считал, что мое место — в войсках, в Иудее. Я полностью доверял обоим своим помощникам; это было тем более необходимо, что

я разделял с ними ответственность за решения, которые, как правило, оказывались жестокими. К концу второго лета войны я с горечью занялся сборами в дорогу; Эвфорион в который уже раз упаковал мои вещи: туалетный ларец, сработанный когда-то мастером в Смирне и уже покоробившийся от долгого употребления, ящик с книгами и картами, статуэтку из слоновой кости, изображавшую моего императорского Гения, серебряный светильник; в начале осени я высадился на берег вСидоне.

Армия — самое старое мое ремесло; всякий раз, снова принимаясь за него, я чувствовал, как связанные с ним лишения непременно возмещаются внутренним удовлетворением; я ничуть не жалею, что два последних года своей активной жизни провел, разделяя с легионами трудности и огорчения палестинской кампании. Я снова стал человеком, облаченным в железо и кожу и откладывающим до лучших времен все не требующие неотложного исполнения дела, человеком, которому помогают давние навыки походной жизни, который немного медлительнее, чем когда-то, садится на коня или слезает с него, который немного более молчалив и, может быть, немного более мрачен, чем прежде, и на

кого солдаты (одни лишь боги ведают почему) смотрят преданно, с обожанием и братской любовью. Во время этого последнего пребывания в армии у меня произошла чудесная встреча: я взял к себе помощником молодого трибуна по имени Целер и всей душою привязался к нему. Ты его знаешь; с той поры он не покидает меня. Я восхищался его прекрасным лицом, над которым сверкал шлем Минервы, но чувства играли в этой привязанности довольно незначительную роль, хотя человек пока он живет, не может вовсе от них отрешиться. Я рекомендую тебе Целера: он обладает качествами, о каких можно только мечтать, если речь идет о командире, занимающем должность второго ранга; сами его достоинства не позволят ему выдвинуться в первый ранг. В обстоятельствах, несколько отличающихся от прежних, я снова обрел существо, чей удел был жертвовать собою, любить и служить. С тех пор как я его знаю, у Целера не было никаких иных мыслей, кроме забот о моих удобствах и моей безопасности; его крепкое плечо служит мне верной опорой.

Весною третьего года войны армия осадила крепость Бетар — орлиное гнездо, в котором Симон со своими сторонниками более года выдерживал

медленную пытку голодом, жаждой и отчаянием, где на его глазах стойкие его приверженцы отказывались сдаться и один за другим погибали. Наша армия бедствовала почти так же, как осажденные: отступая, мятежники жгли сады, разоряли поля, резали скот, заражали колодцы, сбрасывая в них трупы наших солдат; их дикие методы были особенно безобразны, если учесть скудость этой земли, и без того уже обглоданной до костей долгими веками буйства и безумия. Лето было жарким и нездоровым; лихорадка и дизентерия опустошали наши легионы; достойная восхищения дисциплина продолжала царить в войсках, вынужденных бездействовать и в то же время быть постоянно настороже; измученную, терзаемую болезнями армию поддерживала своего рода молчаливая ярость, которая передавалась и мне. Я уже не мог так же легко, как прежде, переносить трудности походного быта — жаркие дни, душные или пронзительно холодные ночи, сильный ветер и скрипучую пыль; мне случалось оставлять нетронутыми в своем котелке свиное сало и чечевицу, сваренные моим слугой; я предпочитал оставаться голодным. Еще до начала лета меня стал мучить тяжелый кашель, и не только меня одного. В своих письмах

к Сенату я теперь постоянно вычеркивал фразу, которая как обязательная формула ставится в начале официальных донесений: «Император и армия чувствуют себя хорошо». Император и армия чувствовали себя до предела измученными. Вечером, закончив последнюю беседу с Севером и последнюю аудиенцию с перебежчиками, просмотрев последнюю почту из Рима и последнее послание от Публия Марцелла, которому я поручил очистить окрестности Иерусалима, и от Руфа, занятого переустройством Газы, совершив омовение в походной ванне из просмоленного полотна, которую Эвфорион наполнял для меня, дорожа каждой каплей воды, я ложился и пытался обдумать свое положение.

Не буду отрицать: война в Иудее была одной из моих неудач. В преступлении Симона и в безумии Акибы я не был повинен; но я упрекал себя в том, что был слеп в Иерусалиме, рассеян в Александрии и нетерпелив в Риме. Я не сумел найти слова, которые предотвратили бы или по меньшей мере задержали бы этот взрыв народной ярости; я не сумел оказаться в свое время достаточно гибким или достаточно твердым. Разумеется, у нас не было оснований испытывать беспокойство и тем более отчаянье; просчет был

только в наших отношениях с Иудеей; впрочем, в это тревожное время мы и в других местах пожинали плоды нашего великодушия на Востоке в течение шестнадцати лет. Симон сделал ставку на мятеж арабов, подобный тому, каким были отмечены последние мрачные годы царствования Траяна; более того, он осмелился рассчитывать на помощь парфян. Он обманулся, и эта ошибка в расчетах послужила причиной его медленной гибели в осажденной цитадели Бетара; арабские племена отмежевались от еврейских общин; парфяне остались верны нашим договорам. Синагоги крупных сирийских городов проявили нерешительность или вялость, самые ортодоксальные удовольствовались тем, что тайно послали деньги зелотам; еврейское население Александрии, обычно довольно буйное, оставалось спокойным; нарыв был локализован в безводной области, которая простирается между Иорданом и морем; мы могли без труда прижечь или ампутировать этот больной палец. И тем не менее можно было считать, что плохие дни, которые предшествовали моему воцарению, снова как будто бы наступили. Квиет когда-то сжег Кирену, казнил старейшин Лаодикеи, овладел развалинами Эдессы… Вечерняя почта принесла мне известие,

что мы снова установили свою власть над грудой камней, которые я называл Элией Капитолиной и которую евреи продолжали именовать Иерусалимом; мы сожгли Аскалон; нам пришлось подвергнуть массовым казням повстанцев Газы… Если шестнадцать лет царствования государя, который является страстным поборником мира, завершились палестинской войной, шансы на поддержание всеобщего мира в дальнейшем представляются довольно шаткими.

Я приподнялся на локте, мне было неудобно лежать на узком походном ложе. Да, конечно, некоторые евреи избежали зелотской заразы: даже в Иерусалиме фарисеи плевали в лицо Акибе, когда он проходил мимо, называли этого фанатика старым безумцем, пустившим на ветер те крупные выгоды, которые сулила евреям принадлежность к римскому миру, они кричали ему, что у него скорее вырастет во рту трава, чем люди увидят победу Иудеи на земле. И все-таки я предпочитал лжепророков этим приверженцам порядка, которые, презирая нас, в то же время на нас рассчитывали, надеясь защитить от вымогательств Симона свое золото, помещенное у сирийских банкиров, и свои угодья в Галилее. Я думал о перебежчиках, которые час назад сидели

в этой палатке; униженные, смиренные, услужливые, они тем не менее старались повернуться спиной к статуэтке, изображающей моего Гения. Нашего лучшего осведомителя, Эли Бен Абайяда, который играл для Рима роль соглядатая, презирали в обоих лагерях; а ведь он был одним из самых умных людей своего племени, человеком с больным сердцем и с либеральными взглядами, раздираемым любовью к своему народу и пристрастием к нашей литературе и к нам самим; впрочем, по существу, он тоже думал лишь о благе Иудеи. Иошуе Бен Кисма, проповедовавший умиротворение, был, в сущности, тем же Акибой, только более робким или более лицемерным; даже у раввина Иошуа, который долгое время служил мне советником в еврейских делах, я ощутил за его уступчивостью и желанием понравиться непримиримые разногласия со мной, ощутил ту точку, в которой два противоположных образа мысли встречаются лишь для того, чтобы вступить в единоборство. Наши территории пролегали за сотни миль, за тысячи стадиев от этой сухой всхолмленной земли, но Бетарская скала стала границей меж нами; мы могли уничтожить массивные стены крепости, в которой Симон в исступленье покончил свои счеты с жизнью; но

мы не могли помешать этому племени отвечать на все наши предложения «нет».

Зазвенел комар; Эвфорион, который в последнее время стал заметно дряхлеть, не попытался плотней задернуть тонкие занавески; брошенные на землю книги и карты шуршали от ветерка, проникавшего в палатку. Я сел на кровати, сунул ноги в сандалии, отыскал ощупью тунику, пояс, кинжал и вышел из палатки, чтобы подышать свежим воздухом ночи. Я шел широкими, словно по линейке прочерченными улицами лагеря, в этот поздний час совершенно пустыми и освещенными не менее ярко, чем улицы в городах; меня торжественно приветствовали часовые; проходя вдоль палаток, служивших нам лазаретом, я слышал тошнотворные запахи болезни. Я шел к земляной насыпи, которая отделяла нас от пропасти и от врага. По дозорной тропе, опасно белевшей в лунном свете, длинным размеренным шагом расхаживал часовой; в этом хождении взад и вперед мне виделось вращенье колес огромной машины, главной осью которой был я; зрелище этой одиноко шагавшей фигуры, этого язычка пламени, горящего в человеческой груди посреди полного опасностей мира, на миг взволновало меня. Прозвенела стрела, не бо-

лее докучливая, чем комар, надоедавший мне в палатке; я стоял, облокотившись на мешки с песком, из которых был сооружен лагерный вал.

Уже несколько лет мне приписывают странную проницательность, причастность к каким-то высшим тайнам. Люди ошибаются, я ничего не знаю. Но во время этих бетарских ночей я в самом деле видел, как мимо скользили слушавшие меня призраки. Перспективы духа, открывавшиеся с высоты этих голых холмов, были не такими величественными, как те, что видишь с Яникула, не такими золотистыми, как те, что открываются с Суния; по отношению к последним они были как бы изнанкой. Напрасно надеяться, говорил я себе, на то, что Афины и Рим будут существовать вечно; жить вечно не суждено ни людям, ни предметам, и самые мудрые из нас отказывают в этом даже богам. Возникновение изощренных и сложных форм жизни, этих цивилизаций, наслаждающихся утонченностью искусства и счастья, рождение этой свободы духа, который сам себя формирует и судит, зависело от стечения бесчисленных и при этом редких условий, и не следует думать, что они будут длиться вечно. Мы уничтожили Симона; Арриану удастся защитить Армению от вторжения аланов. Но нагрянут

другие орды, явятся другие лжепророки. Слабые усилия, которые мы предпринимаем, чтобы облегчить человеческий удел, будут продолжаться нашими последователями рассеянно и небрежно; семя заблуждения и упадка, которое заключено в самом добре, в самом понятии блага, будет чудовищно разрастаться наперекор движению веков. Мир, уставший от нас, будет искать себе новых хозяев; то, что казалось нам мудрым, окажется ничтожным; мерзким покажется нашим преемникам то, что было прекрасным для нас. Подобно тем, кто приобщается к таинствам Митры, род человеческий, очевидно, нуждается в кровавой купели и в периодическом предании земле. Мне виделось, как вновь приходят на землю свирепые законы, беспощадные боги, непререкаемый деспотизм варварских царей, возвращается мир, раздробленный на враждующие государства, мир, непрерывно терзаемый неуверенностью и тревогой. Другие часовые будут под угрозою стрел шагать взад и вперед по дозорным тропам будущих городов; нелепая, грязная, жестокая игра будет продолжаться, и люди, старея, неизменно будут вносить в нее новую и все более ужасную изощренность. Быть может, придет день, когда наша эпоха, пороки и изъяны которой я знаю как

никто другой, покажется по контрасту золотым веком человечества.

Natura deficit, fortuna mutatur, deus omnia cernit. Природа нас предает, судьба переменчива, бог созерцает все это с небес. Я вертел на своем пальце перстень, на котором когда-то, в минуту горечи, приказал вырезать эти печальные слова; я заходил в своей разочарованности и богохульстве еще дальше — я считал естественной, если не справедливой, уготованную всем нам погибель. Наша литература иссякает; наши искусства впадают в спячку; Панкрат — далеко не Гомер[174], Арриан — не Ксенофонт; когда я пытался обессмертить в камне черты Антиноя, Праксителя не нашлось. Наши науки после Аристотеля и Архимеда топчутся на месте; наш технический прогресс не выдержит тягот продолжительной войны; наши сладострастники пресытились роскошью. Смягчение нравов, поступательное развитие идей на протяжении минувшего века коснулось только ясных умов, составляющих ничтожное меньшин-

[174] КОММЕНТАРИЙ: 174

Скорее всего, имеется в виду Панкрат Аркадский, живший во II в., писавший поэмы (поэму?) о рыболовстве и известный лишь по упоминанию в диспуте «Пирующие софисты» (ок. 200 г.). Гротескное сопоставление такого человека с Гомером призвано подчеркнуть нарастающее раздражение погружающегося в смертельную болезнь Адриана.

ство; люди в своей массе по-прежнему так же невежественны, так же, при случае, жестоки; они ограниченны и себялюбивы, и можно биться об заклад, что они останутся такими всегда. Слишком много прокураторов и откупщиков, слишком много недоверчивых сенаторов, слишком много грубых центурионов заранее скомпрометировали наше дело; а чтобы на своих ошибках учиться, времени не дано ни империям, ни людям. Там, где ткач залатал бы свое полотно, где умелый составитель счетов исправил бы свои ошибки, где ваятель заново прошелся бы резцом по своему еще несовершенному или испорченному барельефу, природа предпочитает начинать снова с хаоса, с глины, и это расточительство называется порядком вещей.

Я поднял голову и пошевелился, чтобы размяться. На верху крепости Симона что-то смутно мерцало, отбрасывая в небо красноватые отблески; неприятель жил своей таинственной ночной жизнью. Из Египта дул ветер; пыльный смерч проносился точно призрак; плоские очертания холмов напоминали мне аравийские горы под луной. Прикрывая лицо полой плаща, я медленно возвращался, недовольный собой, ибо посвятил бесполезным раздумьям целую ночь, которую

можно было использовать для подготовки к завтрашним делам или для того, чтобы поспать. Если Риму суждено рухнуть, пусть это заботит моих преемников; в тот год — восемьсот восемьдесят седьмой год римской эры[175] — моя задача состояла в том, чтобы подавить мятеж в Иудее, вывести без лишних потерь пораженную болезнями армию с Востока. Проходя через эспланаду, я несколько раз поскользнулся в крови мятежника, казненного накануне. Не снимая одежды, я лег в постель, через два часа меня подняло пение труб, игравших побудку.

Всю жизнь я прожил в добром согласии с моим телом; я всегда втайне рассчитывал на его надежность и силу. Этот тесный союз начал распадаться[176]: мое тело переставало подчиняться моей воле, моему рассудку, тому, что я, за неимением более точного слова, называю своей душой; мудрый товарищ прежних лет теперь был похож на раба, который с недовольным брюзжанием выполняет свою работу. Мое тело пугало меня; я постоянно ощущал в груди смут-

---

[175] КОММЕНТАРИЙ: 175

Т. е. 134 г. н. э. Римское летосчисление велось от легендарной даты основания города в 753 г. до н. э.

[176] КОММЕНТАРИЙ: 176

Адриану в это время 58 лет.

ное присутствие страха, ту стесненность, которая была еще не болью, но уже первым к ней шагом. Я с давних пор привык к бессоннице, но сон был отныне страшнее, чем его отсутствие; едва успев задремать, я в ужасе просыпался. Меня мучили головные боли, которые Гермоген относил за счет жаркого климата и тяжелого шлема; вечерами, разбитый усталостью, я не садился, а валился в кресло; снова встать на ноги, чтобы принять Руфа или Севера, требовало от меня таких усилий, к которым нужно было заранее и долго готовиться; мои локти давили на подлокотники, мои ляжки дрожали, как у измученного бегуна. Каждое движение превращалось в тяжкую работу, и из этой работы состояла теперь моя жизнь.

Происшествие смехотворное — пустячное, почти детское недомогание — помогло обнаружить болезнь, таившуюся за жестокой усталостью. Во время заседания военного совета у меня случилось носовое кровотечение, к которому я отнесся поначалу довольно беззаботно; оно продолжалось и за вечерней трапезой; ночью я проснулся мокрый от крови. Я позвал Целера, который спал в соседней палатке; тот в свою очередь поднял Гермогена, но ужасные тепловатые струйки продолжали свой бег. Заботливые руки молодого

помощника вытирали кровь с моего лица; на рассвете у меня начались спазмы, подобные тем, какие случаются с людьми, приговоренными к смерти и в ванне вскрывающими себе вены; с помощью одеял и горячих обливаний удалось кое-как согреть начинавшее коченеть тело; для остановки кровотечения Гермоген предписал снег; снега в лагере не было; ценою огромных трудностей по распоряжению Целера он был доставлен с вершин Гермона. Как потом я узнал, все уже потеряли надежду вернуть меня к жизни; я и сам чувствовал, что меня привязывает к ней лишь тоненькая ниточка, такая же неуловимая, как и лихорадочный пульс, повергший в ужас моего врача. Необъяснимое кровотечение все же прекратилось; я поднялся с постели; я заставлял себя жить как обычно, хотя мне это плохо удавалось. Однажды вечером, еще до конца не оправившись, я неосторожно позволил себе предпринять короткую верховую прогулку и получил второе предупреждение, еще более серьезное, чем первое. На протяжении секунды я ощутил, как биение моего сердца учащается, потом замедляется, прерывается и останавливается совсем; мне показалось, что я камнем лечу в непонятный черный колодец, который,

без сомнения, и есть смерть. Если в самом деле это была она, значит, люди заблуждаются, называя ее безмолвной: меня несли водопады, меня оглушал грохот волн. Я не добрался до дна; я снова вынырнул на поверхность; я задыхался. В этот миг, который я счел последним, вся моя сила сосредоточилась в руке, судорожно вцепившейся в руку Целера, стоявшего рядом; позже он показал мне следы моих пальцев на своем плече. Но эту мимолетную агонию, как и всякое другое состояние, испытываемое телом, невозможно выразить в словах, и волей-неволей она остается тайною человека, который ее пережил. С той поры со мной не раз случались похожие приступы, но никогда они не были такими, как первый; человек не может дважды перенести подобный ужас и подобную ночь и при этом не умереть. В конце концов Гермоген определил, что моя болезнь — это сердечная водянка; пришлось смириться с запретами, наложенными на меня недугом, который неожиданно сделался моим господином, смириться с долгим периодом если не отдыха, то бездействия, временно ограничить свою жизнь лежанием в постели. Я почти стыдился этой невидимой, таящейся где-то внутри меня болезни, которая протекает без лихорадки, без

нарывов, без болей и единственные симптомы которой — немного более хриплое, чем обычно, дыхание да синеватая отметина на отекшей ноге, оставленная ремешком сандалии.

Необычная тишина установилась вокруг моей палатки; казалось, весь бетарский лагерь стал комнатой больного. От благовонного масла, горевшего у ног моего Гения, затхлый воздух в этой полотняной темнице делался еще тяжелее; кузнечный грохот моих артерий навевал смутные мысли об острове титанов где-то на краю ночи. В другие минуты этот невыносимый гул казался мне конским галопом по мягкой земле; сознание, которое я на протяжении пятидесяти лет твердо держал в узде, теперь от меня ускользало; грузное тело безвольно отдавалось на волю течения; я становился просто усталым человеком, который рассеянно считает звезды и ромбы на своем одеяле; я глядел на белевшее в сумраке пятно мраморного бюста; протяжная песенка в честь Эпоны, богини коней, которую некогда пела своим низким голосом моя испанская кормилица, большая хмурая женщина, напоминавшая Парку, поднималась со дна более чем полувековой бездны. Казалось, мои дни, а потом и ночи измерялись теми коричневыми каплями, которые

Гермоген, тщательно отсчитывая, наливал в стеклянную чашку.

К вечеру я собирался с силами, чтобы выслушать рапорт Руфа. Война подходила к концу; Акиба, который с самого начала военных действий делал вид, будто удалился от общественной деятельности, посвятил себя преподаванию иудейского права в маленьком городке Усфа в Галилее; этот лекционный зал стал центром зелотского сопротивления; руками девяностолетнего пророка распространялись зашифрованные тайные послания к приверженцам Симона; пришлось отправить по домам доведенных до исступления учеников этого старца. После долгих колебаний Руф решился запретить преподавание иудейского права, объявив его крамолой; спустя несколько дней Акиба, нарушивший этот декрет, был арестован и казнен. Девять других книжников, душа зелотской партии, погибли вместе с ним. Я одобрил эти меры кивком головы. Акиба и его сторонники умерли в убеждении, что пострадали безвинно, что они были праведниками; никто из них даже не задумался о том, что должен принять на себя долю ответственности за те беды, которые обрушились на его народ. Впоследствии им, вероятно, будут завидовать,

если вообще можно завидовать слепцам. Я не отказываю этим десяти одержимым в звании героев; но они не были мудрецами.

Тремя месяцами позже, в холодное февральское утро, сидя на вершине холма, прислонившись спиной к стволу смоковницы, уже лишившейся листьев, я наблюдал штурм Бетара, за которым вскоре последовала капитуляция; я видел, как один за другим из ворот выходили последние защитники крепости, истощенные, худые, безобразные — и, однако, прекрасные, как прекрасно все, что исполнено неукротимой воли. В конце того же месяца я приказал отвезти меня к тому месту, которое люди исстари зовут Авраамовым колодцем; сюда были согнаны мятежники, взятые в городе с оружием в руках, и здесь они были проданы с торгов; ухмыляющиеся дети, жестокие, изувеченные привитым им фанатизмом, громко хвастающиеся тем, что у них на счету гибель десятков легионеров; старики, отгородившиеся своими безумными бреднями от жизни; увядшие матроны и другие женщины, торжественные и мрачные, точно Великая праматерь восточных религий, — все они проходили под холодным оценивающим взором работорговцев; эти людские толпы промелькнули передо мною и рассеялись

как пыль. Иошуе Бен Кисма — главарь так называемой партии умеренных, который потерпел полную неудачу в роли миротворца, — скончался примерно в то же время после долгой болезни; он умер, всей душой призывая войну, надеясь на победу парфян над нами. С другой стороны, евреи, принявшие христианство, которых мы не тревожил и и которые затаили зло против всего остального еврейского народа за гонения на их пророка, видели в нас орудие гнева господнего. Вереница нелепостей и недоразумений не кончалась.

Надпись, установленная на том месте, где находился Иерусалим, запрещала евреям под страхом смерти снова селиться на месте этой груды руин; она слово в слово воспроизводила фразу, начертанную некогда у врат их храма и запрещавшую входить туда необрезанным. Один раз в год, в девятый день месяца Аб, евреям разрешалось приходить туда и плакать у лежащей в развалинах стены. Самые набожные отказывались покинуть родную землю; они как могли обживались в местностях, менее опустошенных войной; самые фанатичные перебрались в парфянские земли; другие направились в Антиохию, в Александрию, в Пергам; самые ловкие обос-

новались в Риме, где они стали процветать. На протяжении четырех лет войны было разрушено и уничтожено пятьдесят крепостей, разорено более девятисот городов и селений; неприятель потерял около шестисот тысяч человек; бои, лихорадка, эпидемии унесли около девяноста тысяч наших легионеров. За трудами военными сразу же последовали работы по восстановлению страны; Элия Капитолина была отстроена заново, однако на сей раз масштабы ее были более скромными; всегда приходится начинать все сначала.

Некоторое время я отдыхал в Сидоне, где один греческий купец предоставил мне свой дом и сады. В марте во внутренних двориках уже зацветали розы. Ко мне возвращались силы; в моем теле, которое, казалось, было совершенно раздавлено яростью первого приступа, обнаруживался поразительный запас жизнестойкости. Врачи ничего не поняли в моей болезни, так же как не заметили ее странного сходства с войной и любовью; ее уступки, ложные выпады, притязания — вся эта причудливая и неповторимая смесь определяется взаимодействием темперамента и недуга. Я чувствовал себя лучше, но я вел со своим телом лукавую игру, я навязывал ему свою волю или расчетливо уступал его прихотям, искусно

применяя те приемы, какими я пользовался в свое время, когда мне нужно было расширить и упорядочить свой мир, создать свой собственный образ, украсить свою жизнь. Я понемногу опять стал посещать гимнасий; врач уже не запрещал мне верховой езды, но теперь она стала лишь способом передвижения; я отказался от рискованной вольтижировки прежних времен. Когда я предавался удовольствиям или трудам, главным для меня уже было не само по себе удовольствие или труд; первой моей заботой стало теперь выходить из этих занятий с наименьшими затратами сил. Друзья восхищались моим полным, по всей видимости, выздоровлением; они пытались уверить себя, что болезнь эта была лишь следствием крайнего напряжения сил в последние годы и больше не возобновится; я же придерживался на сей счет иного мнения — я думал о высоких соснах в вифинских лесах, которые дровосек, шагая через лес, отмечает зарубкой, чтобы повалить их на следующий год. К концу весны я сел на большой корабль, отправлявшийся в Италию; я увозил с собою Целера, ставшего для меня необходимым, и Диотима из Радары, красивого молодого грека, раба по рождению, которого я встретил в Сидоне. Обратный путь проходил через архипелаг; не

было никакого сомнения в том, что я в последний раз в жизни видел прыжки дельфинов в синей воде; не помышляя больше ни о каких предзнаменованиях, наблюдал я неспешный, плавный полет перелетных птиц, которые временами, чтобы передохнуть, доверчиво садятся на палубу корабля; я наслаждался запахом моря и солнца на коже, ароматами мастикового дерева и скипидара, доносящимися с островов, на которых так хотелось бы жить, хотя прекрасно понимаешь, что даже не остановишься здесь. Диотим получил превосходное литературное образование, которое часто дают наделенным красотою молодым рабам, чтобы повысить их ценность; в сумерках, лежа на корме под пурпурным навесом, я слушал, как он читал мне поэтов своей страны, пока ночь не стирала всех строк — и тех, что передают трагическую хрупкость человеческой жизни, и тех, что воспевают голубей, веночки из роз и поцелуи влюбленных. Влажное дыхание подымалось от моря; звезды одна за другой загорались на предназначенных им местах; корабль, накренившись от ветра, мчался на запад, туда, где еще тлела багряная полоса; фосфоресцирующий след тянулся за нами и быстро угасал под гребнями черных волн. Я думал о том, что два важных дела ждут

меня в Риме: одним из них был выбор преемника, что затрагивало всю империю, другим — моя смерть, касавшаяся меня одного.

Рим приготовил мне триумф, и на сей раз я не стал от него отказываться. Я больше не боролся против обычаев, величественных и суетных одновременно; все, что делает очевидными, пусть даже на один лишь день, затраченные человеком усилия, представлялось мне благотворным перед лицом мира, склонного мгновенно все забывать. Речь шла не только о подавлении еврейского мятежа; я одержал победу в более глубоком и мне одному известном смысле. Я включил в число почитаемых лиц имя Арриана. Он нанес аланским ордам ряд поражений, которые надолго отбросили их в неведомые глубины Азии, откуда, по их собственному утверждению, они вышли; Армения была спасена; усердный читатель Ксенофонта проявил себя достойным его соперником; еще не перевелся род ученых мужей, которые в случае надобности умеют командовать и сражаться. В тот вечер, возвратившись в свой дом в Тибуре, я устало, но со спокойным сердцем принял из рук Диотима вино и фимиам для каждодневного возлияния моему Гению.

С терпеливым упорством крестьянина, кото-

рый стремится расширить свои виноградники, я в качестве частного лица начал скупать и сводить воедино земельные участки, расположенные у подножия Сабинских гор, вдоль ручьев и ключей; в сумятице государственных дел я находил иногда время разбить лагерь в этих рощах, которые были отданы в полное распоряжение каменщикам и архитекторам и где проникнутый азиатскими суевериями молодой человек благоговейно молил нас не трогать деревьев. Вернувшись из своего длительного похода на Восток, я с каким-то неистовством спешил подвести к завершению огромные работы по отделке Тибура, на три четверти уже выполненные. На сей раз я приехал туда для того, чтобы провести последние дни своей жизни благопристойно. Здесь все способствовало и трудам, и удовольствиям; канцелярия, залы аудиенций, палата судебных заседаний, где я решал в последней инстанции наиболее трудные дела, избавляли меня от утомительных переездов между Тибуром и Римом. Я наградил каждое из этих строений именами, которые воскрешали в моей памяти Грецию:

Пойкиле, Академия, Пританей[177]. Я прекрасно понимал, что эта небольшая, окаймленная оливковыми деревьями долина отнюдь не была Темпейской долиной, но я достиг того возраста, когда любое живописное место напоминает нам о другом, еще более живописном, и когда всякое наслаждение становится острее при воспоминании о наслаждениях, ушедших в далекое прошлое. Я охотно предавался этой ностальгии, которая есть не что иное, как тоска по желанию. Я даже дал одному особенно неприветливому ручью в парке название Стикса и одной из усеянных анемонами лужаек название Элисийских полей, приуготовляя себя таким образом к миру иному, где муки похожи на муки нашего мира, а печальные радости несравнимы с радостями земными. Но главное, я соорудил для себя в самой глубине этого уединения убежище еще более уединенное — мраморный островок в центре окруженного

[177] КОММЕНТАРИЙ: 177

Пойкиле (букв.: пестрый, расписной) — портик в центре Афин, стены которого были украшены произведениями знаменитого греческого художника Полигнота. Академия — обнесенная стенами роща в предместье Афин, где находились святилища наиболее чтимых богов греческого пантеона и алтарь муз. Здесь учил Платон, а впоследствии его ученики; у ограды рощи (но с внешней ее стороны) находилась могила Платона. Пританей — помещение, где постоянно заседала та часть Совета города, которая на данный период года становилась ответственной за все текущие дела по управлению Афинами.

колоннадой бассейна, тайную комнату, которую подъемный мост, такой легкий, что одним лишь движением руки я заставляю его скользить по пазам, соединяет с берегом, а вернее сказать, от него отделяет. Я велел перенести в этот павильон две-три из моих самых любимых статуй и маленький бюст Августа-ребенка, подаренный мне Светонием в пору нашей дружбы; я уходил туда в час полуденного отдыха, чтобы поспать, помечтать, почитать. Мой пес укладывался на пороге и вытягивал перед собой свои сильные лапы; на мраморе играли солнечные блики, в поисках прохлады Диотим прижимался щекою к гладкой поверхности чаши. Я думал о своем наследнике.

У меня нет детей, и я не жалею об этом. Конечно, в часы утомления и слабости, когда становишься противен себе самому, я порой упрекал себя в том, что не позаботился произвести на свет сына, который стал бы продолжением меня. Но это тщетное сожаление покоится на двух посылках, в равной мере сомнительных: на гипотезе о том, что сын непременно нас продолжит, и на гипотезе, допускающей, что это странное переплетение добра и зла, этот клубок ничтожных и причудливых свойств, составляющих личность, заслуживает продолжения. Я стремился по

возможности с пользой применять свои добродетели; я извлекал пользу из своих пороков; но я вовсе не считаю необходимым кому-нибудь завещать свои качества. Ведь истинная человеческая преемственность осуществляется вовсе не через кровь: наследником Александра является Цезарь, а не тот хилый ребенок, который родился у некоей персидской принцессы в некоей крепости в Азии; и Эпаминонд[178], умиравший, не оставив потомства, мог с полным правом сказать, что дочерьми его были победы. Потомки большинства деятелей, оставивших свой след в истории, были существами заурядными, чтобы не сказать хуже; создается впечатление, что на них иссякли возможности рода. Отцовские чувства почти всегда вступают в конфликт с интересами государства. Но даже в тех случаях, когда этого не происходит, императорскому сыну приходится страдать от уродливого дворцового воспитания, которое не приносит ничего, кроме вреда, будущему государю. К счастью, у нас выработалась устойчивая форма передачи императорской власти. И этой формой стало усыновление; узнаю в этом римскую мудрость. Я понимаю, какие

[178] КОММЕНТАРИЙ: 178

Эпаминонд (418–362 гг. до н. э.) — выдающийся греческий политик и полководец.

опасности таятся в выборе, понимаю, насколько возможны при этом ошибки; знаю также и то, что ослепление бывает уделом не только отцовской любви; но решение, в котором главная роль принадлежит рассудку или в котором рассудок хотя бы наполовину принимает участие, будет мне всегда казаться неизмеримо справедливей таинственных прихотей случая и ленивой природы. Власть должна принадлежать наиболее достойному; прекрасно, что человек, который доказал свою способность руководить государством, выбирает того, кто может его заменить, и что это далеко идущее решение является его последней привилегией и в то же время последней услугой, какую он оказывает людям. Но сделать этот ответственный выбор мне представлялось как никогда трудным.

В свое время я горько упрекал Траяна в том, что он двадцать лет шел на всякие уловки, прежде чем меня усыновил, и что он принял окончательное решение только на смертном одре. Но вот прошло почти восемнадцать лет с того времени, как власть оказалась в моих руках, и, несмотря на опасности своей полной случайностей жизни, я тоже откладывал выбор наследника до последнего часа. По этому поводу ходило множество

слухов, большею частью ложных; строилось множество предположений; но то, что люди принимали за тщательно скрываемую тайну, на самом деле было лишь нерешительностью и сомнением. Я осмотрелся вокруг — честных исполнителей своего долга было очень много, но никто из них не обладал необходимой смелостью и размахом. Сорок лет верной службы свидетельствовали в пользу Марция Турбона, моего славного сотоварища, лучшего префекта преторианцев; но он был мой ровесник — он был слишком стар. Юлий Север, превосходный полководец, отличный правитель Британии, плохо разбирался в сложных проблемах Востока; Арриан доказал, что он обладает всеми достоинствами, которые необходимы государственному деятелю, но он был грек — не пришло еще время предлагать напичканному предрассудками Риму императора-грека.

Был еще жив Сервиан; такое долголетие было похоже на результат расчета, упрямого ожидания. Он ждал уже шестьдесят лет. В эпоху Нервы решение об усыновлении Траяна ободрило и вместе с тем разочаровало его; он надеялся на большее; хотя приход к власти родственника, беспрерывно занятого делами армии, мог обес-

печить ему довольно высокое, возможно, даже второе после императора место в государстве, он и тут просчитался: ему досталась весьма скудная порция почестей. Он продолжал выжидать и тогда, когда велел своим рабам напасть на меня у поворота дороги за тополиной рощей, на берегу Мозеля; смертельный поединок, начавшийся в то утро между молодым человеком и пятидесятилетним мужчиной, длился двадцать лет; Сервиан настраивал против меня императора, преувеличивал серьезность моих выходок, использовал малейшую мою ошибку. Подобный противник — прекрасный учитель осмотрительности; в конечном счете он многому меня научил. После того как я пришел к власти, у него хватило ума сделать вид, будто он примирился с неизбежностью; он умыл руки, когда замышлялся заговор четырех консуляриев; я предпочел не замечать пятен на его пальцах. Отныне он выражал свое несогласие только шепотом и возмущался лишь за закрытыми дверями. Поддерживаемый в Сенате небольшой, но влиятельной партией закоренелых консерваторов, которым пришлись не по нраву мои реформы, он поспешил встать в позу молчаливого критика режима. Ему удалось оттолкнуть от меня даже мою сестру Паулину. У

них была только одна дочь, она вышла замуж за некоего Салинатора, человека из знатной семьи, которому я дал консульскую должность, но он умер совсем молодым от чахотки; моя племянница ненадолго его пережила; их единственного ребенка, Фуска, его злобный дед восстановил против меня. Однако наша обоюдная ненависть не выходила за рамки приличий; я не скупился на общественные должности для Сервиана, но избегал появляться с ним рядом на церемониях, где ввиду своего почтенного возраста он мог получить преимущество перед императором. Каждый раз, приезжая в Рим, я из чистой вежливости соглашался присутствовать на одной из тех семейных трапез, где постоянно приходится держать ухо востро; мы обменивались с Сервианом письмами; те, что писал мне он, были не лишены остроумия. Однако с течением времени мне стал отвратителен этот пошлый обман; возможность сбросить личину притворства является одной из тех немногих привилегий, которые предоставляет старость; я отказался присутствовать на похоронах Паулины. В Бетарском лагере, в самые тяжкие часы физических страданий и душевного отчаяния, я ощущал невыносимую горечь, когда говорил себе, что Сервиан достигнет своей цели,

достигнет по моей вине; этот старик восьмидесяти с лишним лет, умевший щадить свои силы, добьется того, что переживет пятидесятисемилетнего больного мужчину[179], и, если я умру, не оставив завещания, он сумеет завоевать голоса моих противников и получит одобрение тех, кто из верности мне изберет моего зятя; и тут уж он воспользуется этим дальним родством, чтобы начать разрушать мое дело. Желая утешиться, я говорил себе, что империя может обрести и еще худшего владыку; в конечном счете, Сервиан не лишен достоинств; даже неповоротливый Фуск может в один прекрасный день оказаться достойным этой высокой власти. Но всеми силами, которые еще у меня оставались, я отвергал эту ложь, мне страстно хотелось жить, чтобы раздавить змею.

По возвращении в Рим я снова встретился с Луцием. Когда-то я принял по отношению к нему обязательства, о которых обычно впоследствии забывают; но я о них помнил. Неправда, будто

---

[179] КОММЕНТАРИЙ: 179

Неточность, на которую приходится обращать внимание в связи с прим. 176: М. Юрсенар ведет счет по-европейски, т. е. исключая год, от которого ведется отсчет; римляне включали его в общее число исчисляемых лет.

176 КОММЕНТАРИЙ: 176

Адриану в это время 58 лет.

я обещал ему императорскою порфиру; таких обещаний вообще не дают; но на протяжении почти пятнадцати лет я платил его долги, старался замять его скандалы, без задержки отвечал на его письма, которые были очень милы, но неизменно кончались просьбами дать денег ему самому или его подопечным. Он слишком глубоко вошел в мою жизнь, чтобы я мог с легкостью вычеркнуть его из нее, если бы даже захотел, но ни о чем подобном я и не помышлял. Он был блестящим мастером беседы; этот молодой человек, которого привыкли считать пустым, прочитал книг значительно больше и вложил в это занятие значительно больше смысла, чем многие из тех, чья профессия — книги писать. Вкус его был безупречен, шла ли речь о людях, вещах, обычаях или о том, как правильно скандировать греческий стих. В Сенате, где он слыл человеком умелым и ловким, он заслужил репутацию искусного оратора; его речи, содержательные и в то же время стилистически изощренные, сделались образцами для учителей красноречия. Моими стараниями он стал претором, затем консулом и со своими обязанностями хорошо справлялся. Несколько лет назад я женил его на дочери Нигрина, одного из консуляриев, казненных в

начале моего правления; этот союз стал как бы символом моей миротворческой политики. Его жену нельзя было назвать счастливой: молодая женщина жаловалась, что супруг ею пренебрегает; однако она имела от него троих детей, и в их числе одного сына. На ее жалобы он с ледяной вежливостью отвечал, что человек женится ради своей семьи, а не ради себя самого и что этот договор, столь ответственный и серьезный, имеет мало общего с беззаботными радостями любви. Согласно выработанной им довольно сложной теории, ему требовались любовницы для парадного блеска и покорные рабыни для удовольствий. Он убивал себя наслаждением, как убивает себя художник, творя свой шедевр; впрочем, не мне его упрекать.

Я наблюдал его жизнь, и мое мнение о нем непрестанно менялось, что чаще всего происходит в отношении людей, с которыми мы тесно соприкасаемся; когда речь идет о людях более далеких, мы обычно довольствуемся тем, что судим о них в самых общих чертах, и выносим свое суждение раз и навсегда. Временами вызывающая дерзость Луция, его резкость, его с расчетом брошенное рискованное словцо настораживали меня; однако я чаще поддавался

очарованию его живого и острого ума; порой какое-нибудь меткое замечание вдруг позволяло предположить в нем будущего государственного деятеля. Я говорил об этом с Марцием Турбоном; каждый вечер, после трудов, которыми заполнен день префекта преторианцев, он приходил ко мне потолковать о текущих делах и сыграть партию в кости; мы снова и снова придирчиво перебирали все шансы Луция быть достойным императорского поста. Друзей удивляли терзавшие меня сомнения; некоторые, пожав плечами, советовали мне принять любое решение, какое мне придет в голову; они воображали, будто завещать кому-либо полмира так же просто, как оставить в наследство загородный дом. Ночами я снова возвращался к тем же мыслям; Луцию едва исполнилось тридцать; кем был в его годы Цезарь? Папенькиным сынком, увязшим в долгах и скандалах. Как в самые плохие для меня дни в Антиохии, перед усыновлением меня Траяном, я с горечью думал о том, что ничто не происходит так медленно, как истинное рождение человека; мне и самому было немногим более тридцати, когда поход в Паннонию открыл мне глаза на ту ответственность, которую налагает на человека власть; иногда Луций казался мне

больше к этому подготовленным, чем я в свои тридцать лет. Я принял решение внезапно, после нового приступа удушья, более тяжелого, чем все предыдущие; он напомнил мне о том, что нельзя терять время даром. Я усыновил Луция, который принял имя Элия Цезаря. В его честолюбии было что-то легкомысленное; он был требователен, но не жаден, поскольку привык получать от жизни все, чего пожелает; мое решение он воспринял с абсолютной непринужденностью. Я имел неосторожность как-то сказать, что этот белокурый принц будет великолепен в императорском пурпуре; недоброжелатели поспешили истолковать мои слова в том смысле, что я вознамерился расплатиться империей за мою давнюю привязанность к Луцию. Это означало полное непонимание тех идей, какими руководствуется государь, который хоть в малой степени заслуживает этого звания. Впрочем, если бы подобные соображения хоть как-нибудь на меня влияли, Луций был бы далеко не единственным, на ком я мог остановить свой выбор.

Моя жена умерла в своей резиденции на Палатине; она по-прежнему предпочитала его Тибуру и в последние годы жила там в окружении маленького двора, который составляли испанские

друзья и родственники, ибо только с ними она еще считалась. Соблюдение общепринятых условностей, забота о приличиях, слабые попытки наладить меж нами хоть какие-то отношения мало-помалу прекратились, оставив в неприкрытом виде раздражение и неприязнь, а с ее стороны — просто ненависть. Незадолго до ее кончины я нанес ей визит; болезнь еще больше ожесточила эту язвительную и мрачную женщину; наше свидание послужило ей поводом обрушиться на меня с яростными обвинениями; они облегчили ей душу, но она имела нескромность предъявить их мне при свидетелях. Она поздравляла себя с тем, что умирает бездетной, ибо мои сыновья наверняка походили бы на меня и она питала бы к ним такое же отвращение, как к их отцу. Эта клокотавшая ненавистью фраза была единственным доказательством ее любви ко мне. Моя Сабина… Я перебирал те немногие приятные воспоминания, которые всегда остаются о живом существе, если постараться их отыскать; я вспоминал корзину фруктов, которую она прислала мне в день моего рождения — после очередной ссоры; следуя в носилках по узким улочкам Тибурской муниципии, я очутился перед скромным загородным домом, который когда-то принадлежал моей теще Мати-

дии, и с горечью воскресил в памяти несколько ночей того далекого лета, когда я тщетно пытался добиться расположения своей молодой супруги, насмешливой и холодной. Смерть жены огорчила меня меньше, чем смерть Аретеи, моей управительницы в Тибуре, которую в ту же зиму унес приступ лихорадки. Поскольку так и не распознанный врачами недуг, от которого скончалась Сабина, сопровождался мучительными болями в животе, меня обвинили, будто я ее отравил, и нашлись люди, легко поверившие этой нелепой сплетне. Нужно ли говорить, что я никогда не пошел бы на столь бесполезное преступление.

Должно быть, именно кончина моей жены побудила Сервиана поставить на карту все; влияние, которым Сабина пользовалась в Риме, было ему хорошо известно; с ее смертью рушилась одна из самых главных его опор. Кроме того, ему недавно пошел девяностый год, и он тоже не мог терять время даром. В течение нескольких месяцев он пытался привлечь на свою сторону небольшие группы командиров преторианской гвардии; иногда в расчете на суеверное уважение, каким обычно бывает окружен столь почтенный возраст, он шел на риск и перед своими сторонниками разыгрывал из себя императора. Незадолго

до этого я усилил тайную военную полицию — организацию, что и говорить, малопочтенную, но ее полезность вскоре подтвердил последующий ход событий. Я был прекрасно осведомлен об этих считавшихся секретными сборищах, на которых старый лис обучал своего внука искусству плести заговоры. Назначение Луция наследником не было для старика неожиданностью, он давно уже принимал мои колебания по этому поводу за тщательно скрываемое решение, но для нанесения удара выбрал момент, когда акт усыновления был еще в Риме предметом споров. Его секретарь Кресценс, которому за сорок лет службы у Сервиана надоело страдать от неблагодарности хозяина, выведал план заговора, его дату и место, а также имена участников. Мои враги не отличались богатством воображения: они просто повторили план покушения, задуманного в свое время Нигрином и Квиетом; меня должны были убить во время религиозной церемонии на Капитолии; моему приемному сыну была уготована такая же участь.

Той же ночью я принял меры: мой враг слишком зажился на свете; я должен был передать Луцию наследство, не грозившее ему никакими опасностями. Хмурым февральским утром, в

двенадцатом часу, перед моим зятем предстал трибун со смертным приговором Сервиану и его внуку; он имел предписание дождаться у него в доме приведения приговора в исполнение. Сервиан вызвал своего врача; все произошло прилично и чинно. Прежде чем умереть, он пожелал мне умирать долго, в муках неизлечимой болезни, в отличие от него самого, получившего право на мгновенную смерть. Его пожелание сбылось.

Приказ об этой двойной казни я отдал отнюдь не с легким сердцем; однако после того, как она свершилась, я не ощутил ни сожаления, ни укоров совести. Был оплачен старый счет, вот и все. Возраст никогда не представлялся мне извинением человеческого коварства; скорее это было отягчающее вину обстоятельство. Перед тем как подписать смертный приговор Акибе и его пособникам, я колебался дольше; и в том и в другом случае речь шла о старике, но я все же предпочел бы фанатика заговорщику. Что касается Фуска, то, хоть он и был полнейшей посредственностью и его гнусный дед сумел восстановить его против меня, все же это был внук Паулины. Но, что бы там ни говорили, узы родства очень слабы, когда они не подкреплены душевной близостью; это особенно явственно видишь, когда сталкиваешь-

ся с делами о наследстве. Пожалуй, у меня еще вызывал жалость юный возраст Фуска; он едва достиг восемнадцати лет, но интересы государства требовали именно такой развязки, и старый лис сделал все для того, чтобы она оказалась неизбежной. Я и сам был теперь слишком близок к концу, чтобы позволять себе роскошь тратить время на раздумья об этих двух смертях.

В течение нескольких дней Марций Турбон удвоил бдительность; друзья Сервиана могли попытаться отомстить за него. Но ничего не произошло — ни покушения, ни недовольства, ни ропота. Я уже не был тем новичком, который после казни четверых консуляриев старался привлечь на свою сторону общественное мнение; девятнадцать лет справедливого правления решили вопрос в мою пользу; теперь мои враги вызывали у всех только ненависть; я избавился от изменника, и толпа одобрила мои действия. Фуска жалели, но безвинно пострадавшим его никто не считал. Я знал, что Сенат не может простить мне того, что я снова обрушил удар на одного из его членов; но он молчал и будет молчать до тех пор, пока я не умру. Как и в прошлый раз, я вскоре смягчил впечатление от проявленной мною суровости некоторой дозой

милосердия: никто из сторонников Сервиана не пострадал. Единственное исключение я сделал для знаменитого Аполлодора — желчного хранителя тайн моего зятя, — который погиб вслед за ним. Этот талантливый человек был любимым архитектором моего предшественника; он с большим искусством возвел из огромных блоков колонну Траяна. Мы не терпели друг друга; некогда он поднял на смех мои несовершенные любительские творения — добросовестно выполненные натюрморты тыкв и кабачков; я же со своей стороны с юношеским высокомерием критиковал его работы. Позже он огульно хулил все мои замыслы и свершения; он понятия не имел о расцвете греческого искусства; этот плоский логик упрекал меня в том, что я заполнил наши храмы гигантскими статуями, которые, если бы им вздумалось встать, проломили бы головой своды своих святилищ, — дурацкая критика, которая оскорбляла Фидия еще больше, нежели меня. Но боги никогда не встают; они не встают ни для того, чтобы предупредить нас, ни чтобы защитить, наградить либо покарать. Не встали они и той ночью, чтобы спасти Аполлодора.

Весною здоровье Луция стало внушать мне серьезные опасения. Однажды утром в Тибуре

мы спустились после бани в палестру, где Целер занялся гимнастическими упражнениями в компании с другими молодыми людьми; один из них предложил состязание в беге, причем каждый участник должен был бежать вооруженный щитом и пикой; Луций, по своему обыкновению, хотел было от этого уклониться, но в конце концов уступил под напором наших дружеских шуток; готовясь к бегу, он пожаловался на тяжесть бронзового щита; по сравнению с мужественной красотою Целера его худощавое тело выглядело особенно хрупким. Пробежав несколько шагов, он, задыхаясь, остановился и рухнул на землю, выплюнув кровавый сгусток. Происшествие это не имело последствий; он вскоре поправился. Сначала я сильно встревожился, но мне не следовало успокаиваться так быстро. Первые симптомы его болезни я встретил с безмятежной глухотой человека, долгие годы отличавшегося отменным здоровьем; я воспринял их с тайной верой в неисчерпаемые запасы сил, свойственные молодости, в прочность человеческого организма. Нужно сказать, что Луций и сам на этот счет заблуждался; на первых порах ему хватало этого слабого пламени; собственная подвижность и живость обманывали его так же,

как и нас. Мои молодые годы прошли в путешествиях, в походных лагерях, на аванпостах; я на собственном опыте оценил достоинства суровой жизни, целебное воздействие засушливого или студеного климата дальних краев. Я решил назначить Луция наместником той самой Паннонии, где я сделал как военачальник свои первые шаги. Положение на этой границе было теперь не таким критическим, как в те давние годы; Луций мог ограничить свою задачу спокойными трудами гражданского администратора или безопасными инспекторскими смотрами войск. Эта трудная земля излечила бы его от римской изнеженности; он лучше узнал бы весь тот огромный мир, которым Город управляет и от которого он зависит. Но Луция страшил этот край варваров; он не понимал, как можно наслаждаться жизнью за пределами Рима, однако мое предложение принял с той готовностью, какую выказывал всегда, когда хотел угодить мне.

Все лето я внимательно читал его официальные донесения, а также секретные письма, присылаемые Домицием Рогатом, моим доверенным, которого я назначил секретарем Луция, чтобы он присматривал за ним. Отчетами я был вполне доволен: Луций проявил в Паннонии

всю серьезность, которая от него требовалась и от которой он, быть может, избавился бы после моей смерти. Он хорошо показал себя также в нескольких конных схватках на аванпостах. В провинции ему, как и всюду, удалось всех обворожить; свойственная ему высокомерная сухость тоже шла ему на пользу; во всяком случае, он не стал одним из тех простоватых государственных мужей, которые легко оказываются игрушкой в руках интриганов. В начале осени Луций простудился. Поправился он быстро, но вскоре кашель начался снова; появился жар, который никак не проходил и сделался постоянным. Следующей весной за кратковременным улучшением последовал внезапный рецидив. Врачебные сводки ошеломили меня; вся махина государственной почты, которую я незадолго перед тем учредил на огромнейших территориях — с подставами для смены лошадей и колесниц, — казалось, действовала теперь только ради того, чтобы каждое утро доставлять мне как можно скорее свежие новости о нашем больном. Я не мог простить себе того, что из боязни показаться чересчур снисходительным был так бесчеловечно жесток к Луцию. Как только он достаточно оправился, чтобы выдержать путешествие, я приказал пере-

везти его в Италию.

В сопровождении старого Руфа Эфесского, специалиста по легочным заболеваниям, я сам отправился в Байи, чтобы встретить в порту моего хрупкого Элия Цезаря. Климат в Тибуре лучше, чем в Риме, но для больных легких он все же недостаточно мягок; я решил заставить Луция провести позднюю осень в этих более благоприятных для здоровья краях. Корабль бросил якорь посреди залива; лодка доставила на берег больного вместе с врачом. Его посуровевшее лицо казалось еще более худым из-за бороды, которой, точно мхом, поросли его щеки; он отпустил ее для того, чтобы больше походить на меня. Но глаза Луция по-прежнему сохраняли жесткий блеск драгоценного камня. Первым его побуждением было напомнить мне, что он возвратился лишь по моему приказу; службу свою он нес безупречно, повиновался мне полностью и во всем. Он был словно школьник, который отчитывается перед учителем, как он провел день. Я поместил его на той же вилле, где он прожил вместе со мною целое лето, когда ему было восемнадцать лет; у него хватило такта никогда не заговаривать со мной о тех временах. В первые дни мне показалось, что недуг отступил;

уже само возвращение в Италию было хорошим лекарством; в эту пору года здесь все становится розовым и пурпурным. Но вот начались дожди; с серого моря подул влажный ветер; в старом доме, построенном еще во времена Республики, не было тех удобств, какие имелись на тибурской Вилле; я видел, как Луций печально греет над жаровней свои длинные, унизанные перстнями пальцы. Гермоген вернулся незадолго до этого с Востока, куда я посылал его, чтобы он обновил и пополнил там свои лекарственные запасы; он испытал на Луций целебность грязи, пропитанной сильнодействующими минеральными солями; считалось, что это средство помогает при всех болезнях, но легким Луция оно принесло не больше пользы, чем моим артериям.

Болезнь обнажила все самые худшие стороны этой черствой и непостоянной натуры; его навестила жена, и это свидание, как всегда, закончилось тем, что они наговорили друг другу много обидных слов. Больше она не появлялась. Луцию привели сына, прелестного мальчика семи лет, беззубого и смешливого; отец встретил его равнодушно. Он с жадностью расспрашивал о политических новостях в Риме, но интересовался ими как игрок, а отнюдь не как государственный

деятель. Однако его легкомыслие было по-прежнему формой мужества; к вечеру он словно пробуждался после целого дня оцепенения или страданий, чтобы безоглядно отдаться беседе, и делал это с таким же искрящимся блеском, как и прежде; едва завидев врача, он заставлял свое исхудавшее тело приподниматься. Он до конца оставался принцем из золота и слоновой кости.

Вечерами, не в силах уснуть, я располагался в комнате больного; Целер, который недолюбливал Луция, но был слишком верен мне и с заботливостью относился ко всем, кто мне дорог, соглашался подежурить рядом со мной у постели Луция, откуда слышалось хриплое дыхание. Меня охватывала горечь, глубокая, точно море, — Луций никогда меня по-настоящему не любил; наши отношения очень скоро превратились в отношения расточительного сына и покладистого отца; его жизнь прошла без крупных проектов, без серьезных мыслей, без глубоких страстей; он растратил свои годы так же бездумно, как транжир не глядя расшвыривает золотые монеты. Я избрал своей опорой шаткую стену; я с гневом думал сейчас об огромных суммах, истраченных на усыновление Луция, о трехстах миллионах сестерциев, розданных солдатам. Мой печаль-

ный жребий был в известном смысле делом моих собственных рук: я удовлетворил свое давнее желание дать Луцию все, что только было в моих силах; правда, надо признать, что государство от этого не пострадало и сделанный мною выбор не нанес урона моей чести. В глубине души я даже боялся, что Луцию станет лучше; протяни он еще несколько лет, и я не смогу уже передать власть этой тени. Луций никогда не задавал вопросов, но словно читал мои мысли; его глаза тоскливо следили за каждым моим движением; я вторично сделал его консулом; он тревожился, что не сможет выполнять свои обязанности; страх не угодить мне усугублял его болезнь. Tu Marcellus eris… (Быть Марцеллом тебе)* Я повторял стихи Вергилия, посвященные племяннику Августа, тоже обрученному с императорской властью, но смерть остановила его на пути к ней. Manibus date lilia plenis… Purpureos spargam flores…[180] (О, дайте полные руки/ Лилий вы мне… Я цветов разбросаю алых… (лат.) (Вергилий. «Энеида», книга шестая.) — Перевод А. Фета.)) Любитель цветов

[180] КОММЕНТАРИЙ: 180

Слова из «Энеиды» Вергилия (VI, 883), с которыми Анхиз, прорицая будущее, обращается к Марку Клавдию Марцеллу, потомку знаменитого римского полководца III в. до н. э. того же имени, племяннику императора Августа. Последний прочил Марцелла себе в преемники, но тот неожиданно умер совсем юным.

мог получить от меня лишь еще несколько бесполезных погребальных букетов.

Луций счел, что ему лучше; он захотел воротиться в Рим. Врачи, которые расходились во мнениях лишь в вопросе, сколько времени Луцию еще остается жить, посоветовали мне не противоречить ему. Делая по пути частые остановки, я перевез его на Виллу. Его представление Сенату в качестве наследника императорской власти я предполагал осуществить сразу после Нового года; обычай требовал, чтобы Луций обратился ко мне с ответной благодарственной речью; этот крохотный образчик красноречия был предметом его забот уже несколько месяцев; мы вместе продумали и отшлифовали наиболее трудные места. Работал он над этой речью и в утро январских календ; внезапно у него хлынула горлом кровь, голова закружилась, Луций прислонился к спинке стула и закрыл глаза. Смерть для этого легкомысленного существа оказалась лишь погружением в забытье. Был день Нового года; чтобы не прерывать публичных торжеств и увеселений, я позаботился о том, чтобы весть о кончине Луция не получила огласки; о ней было официально объявлено только на следующий день. Он был без пышных церемоний похоронен

в садах, принадлежавших его семье. Накануне похорон Сенат прислал ко мне делегацию, поручив ей выразить мне соболезнования; было предложено также оказать Луцию почести, какие оказывают божеству; он имел на них право как приемный сын императора. Но я отказался: все это и без того уже слишком дорого обошлось государству. Я ограничился тем, что велел соорудить в честь Луция несколько траурных святилищ и воздвигнуть несколько статуй в местах, где ему доводилось жить; нет, бедный Луций не был богом.

Теперь нельзя было терять ни минуты. Впрочем, у меня было время как следует все обдумать, пока я сидел у постели больного, и я принял решение. Я приметил в Сенате некоего Антонина, человека лет пятидесяти, из провинциальной семьи; он находился в отдаленном родстве с семейством Плотины. Антонин поразил меня почтительной и в то же время нежной заботливостью, с какой он относился к своему тестю, немощному старику, сидевшему в Сенате с ним рядом; я перечитал его послужной список; этот добропорядочный человек на всех постах, какие он занимал, проявил себя безупречно. И мой выбор пал на него. Чем чаще я виделся с Антонином,

тем глубже становилось мое к нему уважение. Этот простой человек обладал достоинством, над которым я до сих пор мало задумывался, даже тогда, когда сам его обнаруживал: добротой. Он был не свободен от мелких недостатков, свойственных мудрецам: его ум, поглощенный выполнением каждодневных задач, был занят не столько будущим, сколько настоящим; его знание жизни ограничивали сами его достоинства — все его путешествия свелись к нескольким официальным миссиям, выполненным, кстати сказать, превосходно. С искусствами он был мало знаком и на любые нововведения шел неохотно. Провинции, например, никогда не будут представлять для него ту неисчерпаемую сокровищницу возможностей прогресса, какой они не переставали быть для меня; он станет скорее продолжать, нежели расширять начатое мною дело, но будет продолжать его хорошо; государство получит в его лице честного слугу и хорошего хозяина.

Однако отрезок времени, отпущенный одному поколению, представлялся мне недостаточным для того, чтобы обеспечить безопасность целого мира; я стремился протянуть по возможности дальше эту мудрую цепочку приемных сыновей, подготовить для императорской власти лиш-

нюю подставу на дороге времен. Каждый раз, возвращаясь в Рим, я не забывал навестить моих старых друзей Веров, как и я, испанцев, — одно из самых достойных семейств среди высших судейских чиновников. Я знал тебя с колыбели, маленький Анний Вер, ныне благодаря мне получивший имя Марка Аврелия. В один из самых солнечных периодов моей жизни, в эпоху, которая отмечена сооружением Пантеона, я из дружеского расположения к твоей семье устроил твое избрание в Священную коллегию Арвальских братьев, которую возглавляет император и которая ревностно поддерживает древние обычаи нашей римской религии; я держал тебя за руку во время жертвоприношения, которое состоялось в тот год на берегу Тибра; с ласковым любопытством я смотрел на тебя, пятилетнего мальчугана, испуганного визгом жертвенной свиньи, но изо всех сил старавшегося подражать исполненному достоинства поведению взрослых. Я всерьез занимался воспитанием не по возрасту рассудительного малыша; я помогал твоему отцу выбрать для тебя наилучших учителей. Вер, Вериссим* (Эти имена означают по-латыни: Правдивый, Правдивейший) — я играл твоим именем; пожалуй, ты был единственным ни

разу не солгавшим мне существом. Я видел, с каким увлечением читаешь ты сочинения философов, как ты одеваешься в грубошерстную ткань, спишь на жесткой постели, подвергаешь свое еще не окрепшее тело тяжким испытаниям стоиков. Во всем этом есть, безусловно, некоторая чрезмерность, но в семнадцать лет чрезмерность — еще достоинство. Иногда я спрашиваю себя, на какой риф налетит и пойдет ко дну эта мудрость, ибо ко дну она идет всегда — будет ли это супруга, или чрезмерно любимый сын, или одна из тех случайных ловушек, в которые попадают чистые и совестливые души; а возможно, это будет просто возраст, болезнь, усталость и та утрата иллюзий, которая говорит нам, что если в мире все тщетно, то тщетна и добродетель… Я пытаюсь представить на месте твоего простодушного юношеского лица лицо усталого старца. Я чувствую, какая нежность, а быть может, и слабость таится за твоей благовоспитанной твердостью; я угадываю в тебе присутствие некоего таланта, который вовсе не обязательно окажется талантом государственного деятеля; тем не менее мир заметно улучшится, если этот талант соединится когда-нибудь с верховной властью. Я сделал все необходимое для того, чтобы ты был

усыновлен Антонином; под новым именем, которое в один прекрасный день появится в списке императоров, ты станешь моим внуком. Я надеюсь подарить людям единственную возможность осуществить мечту Платона — дать им увидеть, что над ними властвует философ с непорочным сердцем. Ты с отвращением принял выпавшие тебе на долю почести; твое положение обязывает жить во дворце; Тибур, место, в котором я собрал все, что есть нежного и сладостного в жизни, смущает твою юную добродетель; я вижу, как ты степенно бродишь по увитым розами аллеям, и с улыбкой замечаю, как тебя охватывает волнение при встрече с прекрасными обнаженными статуями, как застываешь ты в нерешительности, не зная, кому отдать предпочтение, Веронике или Теодоре, и поспешно отказываешься от обеих в пользу сурового воздержания, которое, однако, есть чистейший фантом. Ты не скрыл от меня своего меланхолического презрения ко всей этой недолговечной пышности, к придворной суете, от которой после моей смерти не останется и следа. Ты не любишь меня; твоя сыновняя привязанность будет принадлежать скорее Антонину; ты угадываешь во мне ту мудрость, которая враждебна всему, чему учат тебя твои наставники; в моем

доверии к тебе ты видишь нечто противоположное привычной тебе строгости нравов, тогда как оба эти отношения к жизни не исключают друг друга. Ну что ж, я ведь не требую, чтобы ты меня понимал. На свете есть разные формы мудрости, и все они необходимы для человечества; и даже неплохо, если они чередуются.

Через неделю после смерти Луция я приказал доставить меня в носилках в Сенат; я испросил разрешения вступить в зал заседаний также в носилках и сказать свою речь лежа, опершись на подушки, положенные одна на другую. Мне было трудно говорить; я просил сенаторов обступить меня тесным кругом, чтобы не пришлось напрягать голос. Я воздал хвалу Луцию; эти несколько слов заменили в программе заседания речь, с которой в этот день он должен был выступить сам. Затем я объявил свое решение: я назвал Антонина, я произнес твое имя, Марк Аврелий. Я рассчитывал на единодушное одобрение, и я его получил. Я выразил также свою последнюю волю, и она была принята столь же единогласно; я потребовал, чтобы Антонин усыновил также сына Луция, который таким образом становится братом Марка Аврелия; вы будете править совместно; я рассчитываю, что ты, как старший,

будешь о нем заботиться. Для меня очень важно, чтобы государству что-то осталось и от Луция.

Когда я вернулся домой, мне впервые за много дней захотелось улыбнуться. Я на удивление хорошо сыграл свою партию. Сторонники Сервиана, люди отживших взглядов, враждебные моему делу, не сложили оружия; вежливые слова, которые я произнес по адресу этой старинной и безнадежно устаревшей сенаторской корпорации, не возместили им тех ударов, которые я им нанес. Нет никакого сомнения в том, что они воспользуются моей смертью, чтобы попытаться аннулировать все мои акты. Но даже злейшие мои враги не осмелятся отвергнуть ни самого неподкупного из представителей Сената, ни сына одного из самых уважаемых его членов. Мой долг перед государством был выполнен; отныне я мог возвратиться в Тибур, мог снова наслаждаться той отставкой, какою является болезнь, снова сражаться со своими болями и предаваться тем удовольствиям, какие еще у меня остались; я мог мирно продолжать свой прерванный диалог с призрачным собеседником. Мое императорское наследие будет целым и невредимым в руках добропорядочного Антонина и серьезного Марка Аврелия; даже Луций останется жить в своем

сыне. Все не так уж плохо устроилось.

PATIENTIA
ТЕРПЕНИЕ

Арриан пишет мне:

В соответствии с полученными распоряжениями я завершил плавание вдоль всех берегов Почта Эвксинского. Мы круто изменили курс, добравшись до Синопа[181], жители которого навеки признательны тебе за большие работы по расширению и перестройке порта, прекрасно выполненные под твоим наблюдением несколько лет тому назад… Кстати, они воздвигли тебе статую, которая не очень похожа и не очень хороша; пришли им другую, из белого мрамора… Далее к востоку я не без волнения обнял взором все тот же Понт Эвксинский, увидав его с высоты холмов,

[181] КОММЕНТАРИЙ: 181
См. прим. 147.

147 КОММЕНТАРИЙ: 147
Портовый город на Черноморском побережье Малой Азии, сохраняющийся до наших дней на том же месте (Синоп в Турции).

откуда впервые увидел его наш Ксенодфонт[182] и откуда некогда ты сам его созерцал…

Я сделал инспекторский смотр береговым гарнизонам; их командиры заслуживают самых высоких похвал за отменную дисциплину, за применение новейших методов обучения солдат и за хорошее состояние инженерных работ… На всей не обжитой и еще мало исследованной части побережья я приказал провести новые промеры глубин и исправить, где это нужно, указания на картах, сделанные мореплавателями, прошедшими здесь до меня…

Мы прошли вдоль Колхиды[183], Помня, как привлекают тебя легенды древних поэтов, я расспросил местных жителей о чародействе Медеи и подвигах Ясона. Но они, кажется, ничего об этом

---

[182] КОММЕНТАРИЙ: 182

В 401 г. Ксенофонт поступил на службу к персидскому царю Киру (Младшему) и после поражения и гибели последнего в том же году возглавил поход греческих наемников, входивших в армию Кира и теперь стремившихся пробиться к греческим городам южного Причерноморья. В момент, когда армия достигла этой цели и увидела с прибрежных высот воды Понта, она разразилась криками: «Таласса! Таласса!» («Море! Море!»). Этот поход описан в произведении Ксенофонта «Анабасис», где завершающая сцена (которая здесь и имеется в виду) — одна из самых сильных.

[183] КОММЕНТАРИЙ: 183

Колхида — древнее царство в районе современных Абхазии и Аджарии, где, по преданию, хранилось золотое руно, символ золота и богатства. Согласно мифу, за ним на корабле «Арго» явились греческие герои во главе с фессалийским царевичем Ясоном. Ради овладения руном Ясон

совершает ряд подвигов, но достигает цели лишь благодаря помощи полюбившей его волшебницы Медеи, дочери царя Колхиды Эета. Наиболее подробно этот миф изложен в поэме александрийского поэта III в. до н. э. Аполлония Родосского «Аргонавтика».

не знают…

На северном берегу этого негостеприимного моря мы попали на маленький островок, который легенды рисуют очень большим, — на остров Ахилла[184]. Ты ведь знаешь: говорят, будто Фетида воспитала своего сына на этом островке, затерянном среди туманов; каждый вечер она поднималась со дна моря и беседовала на песчаном берегу со своим мальчиком. Ныне остров необитаем, на нем живут только козы. На острове есть храм Ахилла. Чайки и другие морские птицы часто навещают его, и хлопанье крыльев, пропитанных влагой моря, оживляет площадку перед входом в святилище. Этот остров Ахилла, естественно, является и островом Патрокла[185]; изображения, которыми украшены внутренние

[184] КОММЕНТАРИЙ: 184

Имеется в виду островок в устье Дуная, который древние называли Левка и где, по преданию, продолжал после гибели под Троей жить величайший греческий герой троянского цикла, сын царя Пелея и морской богини Фетиды, Ахилл. Предание основано на том, что на Левке, как и еще на нескольких островах на севере Черного моря, сохранились развалины храмов, посвященных Ахиллу. По одной из версий мифа, сюда же, на острова блаженных, была перенесена и Медея, ставшая тут супругой Ахилла (см. предыдущее примечание).

[185] КОММЕНТАРИЙ: 185

Патрокл — верный друг Ахилла, погибший под Троей (его подвигам и гибели посвящена 16-я песнь «Илиады») и после смерти также перенесенный на Левку, где продолжал жить в общении с другом. В контексте романа упоминание о неразлучности теней Ахилла и Патрокла на островах блаженных проецируется на судьбу Адриана,

которого перед смертью не покидает мысль об Антиное.

стены храма, посвящены и Ахиллу, и его другу, ибо те, кто любит Ахилла, чтут и память Патрокла. Ахилл является в снах мореплавателям, посещающим эти края; он покровительствует им и предупреждает об опасностях, грозящих им в море, так же, как в других краях это делают Диоскуры[186]. И тень Патрокла появляется рядом с Ахиллом.

Я рассказываю тебе об этих вещах, потому что они, на мой взгляд, стоят того, чтобы о них знали, а также потому, что те, кто мне поведал о них, сами все это пережили или узнали об этом от свидетелей, достойных доверия… Ахилл кажется мне иногда самым великим из людей благодаря своему мужеству, душевной силе и глубоким познаниям, сочетающимся с ловкостью тела и с горячей любовью к своему юному спутнику. И самым великим представляется мне его отчаянье, заставившее Ахилла презирать жизнь и желать себе смерти, когда он потерял горячо любимого человека.

Я снова опускаю себе на колени объемистый отчет губернатора Малой Армении и команду-

[186] КОММЕНТАРИЙ: 186

Диоскуры — божественные близнецы, дети Зевса, Кастор и Полидевк (в римской традиции — Кастор и Поллукс), одна из обязанностей которых — помощь морякам, терпящим бедствие.

ющего эскадрой. Арриан, как всегда, хорошо потрудился. Но на сей раз он сделал еще больше: он принес мне в дар то, что необходимо мне, чтобы я мог умереть спокойно; он позволяет мне представить мою жизнь такой, какой я всегда мечтал ее видеть. Арриан знает, что самое главное в человеке — это то, что никогда не будет фигурировать в официальных биографиях, что не высекается на могильных плитах; он знает также, что время лишь добавляет к пережитым бедам новую тревогу. Увиденная его глазами, сумятица моего существования обретает смысл, стройно выстраивается, как в поэме; неповторимая и единственная нежность избавляется от укоров совести, от нетерпеливости, от грустных причуд, словно очищаясь от дыма и праха; скорбь становится светлой, отчаянье — прозрачным и чистым. Арриан распахивает передо мною ширь горних высот, населенных героями и друзьями героев; он не считает меня недостойным этих небес. Потайная комната посреди Одного из бассейнов Виллы уже больше не служит мне надежным убежищем: я влеку сюда свое одряхлевшее тело; я здесь страдаю. Разумеется, мое прошлое сохранило мне множество укромных уголков, где, уединившись, я могу ускользнуть хотя бы

от части своих нынешних бед, — заснеженную равнину на берегу Дуная, сады Никомедии, Клавдиополь, пожелтевший от цветущего шафрана, любую улицу Афин, оазис, где водяные лилии колышутся на поверхности заросшего пруда, сирийскую пустыню в мерцании звезд на пути из лагеря Хосрова. Но эти столь дорогие мне места слишком часто оказываются тесно связанными с истоками какого-нибудь заблуждения или просчета, какой-нибудь неудачи, известной лишь мне одному; когда мне бывает худо, кажется, что все счастливые дороги непременно ведут в Египет, в комнату в Байях или в Палестину. Более того, усталость тела сообщается и моей памяти; видение лестниц Акрополя почти невыносимо для человека, который задыхается, преодолевая несколько ступенек по пути в сад; воспоминание об июльском солнце над земляной насыпью в Ламбезе угнетает меня, словно я сегодня подставляю его лучам непокрытую голову. Арриан дарит мне нечто большее. В Тибуре в разгар жаркого мая я слушаю протяжную жалобу волн, накатывающихся на пляж Ахиллова острова; я вдыхаю его чистый и прохладный воздух; я беспечно разгуливаю по площадке перед храмом, омываемой влажным дыханием моря; я вижу

тень Патрокла… Это место, где мне никогда не бывать, становится моим тайным убежищем, моим последним пристанищем. Я наверняка буду там в момент своей смерти.

Когда-то я дал философу Евфрату разрешение на самоубийство. Казалось, что может быть проще: человек имеет право уйти, когда он сочтет, что его жизнь перестала приносить пользу. Тогда я еще не знал, что смерть, как любовь, может стать предметом слепой страсти и голода. Тогда я еще не представлял себе ночей, когда буду обматывать свой кинжал перевязью, чтобы не один раз подумать, прежде чем пустить его в ход. Лишь один Арриан проник в тайну этого бесславного поединка с пустотой, бесплодностью и усталостью и с тем отвращением к жизни, которое приводит человека к желанию умереть. Исцеления мне не дано; давняя лихорадка не раз валила меня с ног; словно больной, который предупрежден о близящемся приступе, я заранее дрожал при мысли о нем. Я хватался за любой предлог, лишь бы отдалить час ночной борьбы; для этого годилось все — работа, безрассудно тянувшиеся до рассвета разговоры, книги. Принято считать, что император кончает жизнь самоубийством только в том случае, когда его

вынуждают к этому государственные соображения; даже Марк Антоний имел извинительный предлог — проигранную битву. И, пожалуй, мой суровый Арриан не так восхищался бы этим привезенным из Египта отчаяньем, не сумей я его побороть. Выработанный мною самим кодекс запрещал солдатам добровольный уход из жизни; это право я пожаловал лишь мудрецам; я чувствовал, что стать дезертиром я точно так же не вправе, как и любой легионер. Но я знаю, что значит с вожделением ощупывать моток веревки или лезвие ножа. Кончилось тем, что я превратил свое желание смерти в защиту против нее: постоянная возможность самоубийства помогала мне с большей стойкостью продолжать существование; так наличие под рукой микстуры со снотворным успокаивает человека, страдающего бессонницей. Как это ни странно, но мысль о самоубийстве перестала владеть мною только тогда, когда первые симптомы недуга отвлекли меня от нее; я снова начал проявлять интерес к жизни, которая покидала меня; в садах Сидона мне страстно хотелось продлить работу своего тела хотя бы еще на несколько лет.

Можно хотеть умереть, но нельзя хотеть задыхаться; болезнь внушает отвращение к смерти;

человеку хочется выздороветь, а это уже одно из проявлений желания жить. Однако слабость, боль, сотни телесных терзаний вскоре отваживают больного от попыток снова выкарабкаться из этой трясины: он больше не хочет коварных передышек, которые оказываются ловушкой, не хочет неустойчивого облегчения, напрасных порывов, напряженного ожидания нового приступа. Я внимательно следил за собой: что означает эта тупая боль в груди — минутное недомогание, расплату за слишком быстро проглоченную пищу, или следует ждать со стороны врага решающей атаки, которая на сей раз не будет отбита? Вступая в Сенат, я всякий раз говорил себе, что, может быть, его двери закроются сейчас за мной столь же бесповоротно, как закрылись они позади Цезаря, которого ожидали здесь пятьдесят заговорщиков, вооруженных ножами. Во время вечерних трапез в Тибуре я опасался обидеть своих гостей невежливой выходкой, какой оказалась бы внезапная смерть за столом; я боялся умереть в ванне или в юных объятиях. Отправления, которые прежде были легки или даже приятны, становятся унизительными, когда они затрудняются; омерзительно каждое утро предъявлять врачу для обследования серебряную вазу. Основная болезнь

тянет за собой целую вереницу сопутствующих недугов; мой слух утратил свою прежнюю остроту; вчера я был вынужден просить Флегонта повторить целую фразу; это кажется мне более постыдным, нежели признаваться в преступлении. Месяцы, последовавшие за усыновлением Антонина, были ужасны; пребывание в Байях, возвращение в Рим и переговоры, которыми сопровождались все эти переезды, вымотали мои последние силы. Одержимость мыслью о самоубийстве снова вернулась ко мне, но на сей раз причины были у всех на виду и в них не стыдно было признаться; даже злейшему врагу это не показалось бы смешным. Ничто больше меня не удерживало, все поняли бы, что император, удалившийся в свой загородный дом, после того как привел в порядок государственные дела, принял необходимые меры, чтобы облегчить свой конец. Но заботливость моих друзей выражалась в постоянном надзоре; больной — это пленник. Я не ощущал в себе больше твердости, какая нужна для того, чтобы с точностью вонзить кинжал в то место на левой стороне груди, которое я когда-то обозначил у себя на коже красной тушью; к нынешней болезни только прибавились бы повязки, окровавленные губки и перекающиеся

между собой у моей постели хирурги. Для того чтобы подготовиться к самоубийству, нужно было принять те же меры предосторожности, какие принимает убийца, прежде чем нанести удар.

Сперва я подумал о своем егере Масторе, простодушном и невежественном сармате, который уже много лет сопровождает меня повсюду с преданностью сторожевой собаки и который иногда дежурит ночью у моих дверей. Воспользовавшись минутой, когда я остался один, я позвал его и объяснил, чего я от него хочу; он не понял меня. Наконец до него дошло, и его грубоватую физиономию исказил ужас. Он почитал меня бессмертным; он видел, как днем и ночью в мою спальню входят врачи; он слышал мои стоны во время кровопусканий; но ничто не могло поколебать его веры; мою просьбу он воспринял так, как если бы царь богов, желая его испытать, спустился с Олимпа и потребовал от него добить себя. Он вырвал у меня из рук свой меч, который я успел схватить, и с громкими воплями убежал. Его нашли в глубине парка; он что-то бормотал под звездами на своем варварском языке. Обезумевшее создание кое-как успокоили. Об этом случае никто со мной больше не заговаривал, но на следующий день я заметил, что на моем

рабочем столе, поставленном возле кровати, Целер заменил металлический стиль палочкой из тростника.

Надо было искать более надежного союзника. Я очень доверял Иоллу, молодому александрийскому врачу, которого Гермоген выбрал прошлым летом своим заместителем на то время, пока сам он отсутствует. Мы часто беседовали с ним; я любил выстраивать вместе с ним гипотезы о природе и происхождении вещей; мне нравился его смелый и мечтательный ум, нравился мрачный огонь, горевший в его глазах, обведенных темными кругами. Я знал, что ему удалось отыскать в Александрийском дворце формулу тончайших, мгновенно действующих ядов, составленных некогда химиками Клеопатры. Испытание соревнователей на медицинскую кафедру, которую я только что учредил в Одеоне, послужило мне удачным поводом для того, чтобы удалить на несколько часов Гермогена и получить возможность побеседовать с Иоллом наедине. Он понял меня с полуслова; он сочувствовал мне; он признавал мою правоту. Однако клятва Гиппократа запрещала ему под каким бы то ни было предлогом давать больному вредоносное лекарство, и он не мог поступиться своей врачебною честью.

Я настаивал; я требовал; я перебрал все средства, чтобы разжалобить его или подкупить; это был последний, кого я в жизни умолял. Наконец он был сломлен и обещал принести мне необходимую дозу яда. Я тщетно ждал его до самого вечера. Поздно ночью я с ужасом узнал, что он найден мертвым в своей лаборатории, со стеклянным флаконом в руках. Это не знающее компромиссов сердце нашло единственный способ, не отказывая мне, остаться верным своей клятве.

На следующий день велел доложить о себе Антонин; искренний друг с трудом удерживался от слез. Мысль о том, что человек, которого он любил и привык почитать как родного отца, так сильно страдает, что он ищет смерти, была для него невыносима; ему казалось, будто он пренебрег своим сыновним долгом. Он обещал присоединиться к тем, кто окружил меня заботами, обещал ухаживать за мной, облегчать мои муки, сделать все для того, чтобы моя жизнь до последних дней была легка и приятна; он говорил, что меня, быть может, излечат. Он рассчитывает, что я еще долго буду руководить им и его наставлять; он чувствует себя ответственным перед всей империей за те дни, которые мне остается прожить. Я знаю, чего стоят эти жалкие заверения и наивные обеты, но

все же они утешают и успокаивают меня. Простые слова Антонина меня убедили, и, прежде чем умереть, я снова вступаю во владение самим собой. Смерть Иолла, верного своему врачебному долгу, призывает меня быть до конца верным чести моего императорского ремесла. Patentcia… Вчера я видел Домиция Рогата, назначенного прокуратором и получившего приказ возглавить чеканку новых монет[187]; я избрал эту надпись; она будет моим последним девизом. Моя смерть казалась мне раньше самым личным из всех моих решений, последним прибежищем свободного человека; я заблуждался. Вера миллионов Мастjров не должна пошатнуться; другие Иоллы не будут подвергнуты испытанию. Я понял, что для небольшой группки преданных друзей, которые меня окружают, мое самоубийство было бы

[187] КОММЕНТАРИЙ: 187

Прокураторы — первоначально клиенты или отпущенники в знатных семьях (следовательно, и в семьях, из которых выходили императоры), выполнявшие отдельные поручения патрона. По мере превращения семьи императора в своего рода царствующий дом поручения, которые выполняли прокураторы, приобретали государственный характер, а сами они становились руководителями имперской администрации, вытеснившими ранее возглавлявших ее сенаторов. Адриан довел этот процесс до логического конца, создав из прокураторов целостный аппарат управления, подчиненный лишь принцепсу и независимый от Сената. В частности, один из прокураторов ведал чеканкой золотой и серебряной монеты, тогда как эмиссия медных монет оставалась в ведении Сената.

проявлением равнодушия и даже неблагодарности по отношению к ним; я не хочу оставлять им на память образ скрежещущего зубами человека, неспособного вынести лишнюю пытку. Новые мысли медленно вызревали во мне на протяжении ночи, последовавшей за смертью Иолла; жизнь многое мне дала, или, во всяком случае, я многое смог от нее получить; теперь, как и во времена моего счастья, но уже в силу других, прямо противоположных причин, мне кажется, что ей больше нечего мне предложить; однако я не уверен, что мне больше нечему у нее научиться. Я до последнего часа буду вслушиваться в ее тайные наставления. Я всегда доверялся мудрости своего тела; я старался с разбором вкушать ощущения, которые доставлял мне этот друг; я чувствую себя обязанным по достоинству оценить и последние из них. Я больше не отвергаю агонии, которая мне суждена, не отвергаю того конца, который медленно вызревает в моих артериях и который, возможно, унаследован мной от кого-то из предков, рожден моим темпераментом, исподволь подготовлен каждым моим поступком на протяжении всей жизни. Час нетерпенья прошел; отчаяние выглядело бы сейчас так же неуместно, как и надежда. Я решил не торопить

свою смерть.

Как много еще предстоит сделать. Африканские владения, унаследованные мной от моей тещи Матидии, должны стать образцом земледельческого хозяйствования; крестьяне Борисфена, поместья, которое я основал во Фракии в память о моем добром коне, должны получить пособие после мучительно тяжкой зимы; богатым земледельцам нильской долины, всегда готовым извлечь выгоду из покровительства императора, следует, напротив, в субсидиях отказать; Юлий Вестин, префект учебных заведений, посылает мне рапорт об открытии общественных школ; я только что завершил коренную переработку Пальмирского тарифа; в нем предусмотрено решительно все, от расценок проституток до ввозной пошлины для караванов. В эти дни собирается съезд врачей и судейских чиновников для определения минимальных и максимальных сроков вынашивания ребенка, что положит конец нескончаемой судебной путанице по этому поводу. В военных поселениях участились случаи двоеженства; я стараюсь убедить ветеранов не злоупотреблять новыми законами, разрешающими им вступление в брак, и не брать в жены больше одной женщины. В Афинах по примеру

Рима воздвигается Пантеон; я составляю надпись, которая будет начертана на его стенах: я перечисляю, в качестве примеров и обязательств на будущее, услуги, оказанные мною греческим городам и варварским народам; об услугах, оказанных Риму, в ней не говорится. Продолжается борьба с судебным произволом: я должен был сделать внушение управителю Киликия, который надумал подвергать мучительной казни людей, ворующих в его провинции скот, как будто недостаточно просто смерти, чтобы покарать преступника и избавиться от него. Государство и органы самоуправления слишком часто прибегают к осуждению людей на каторжные работы, обеспечивая себя таким образом дешевой рабочей силой; я запретил подобную практику в отношении как рабов, так и свободных людей; но нужно неотступно следить затем, чтобы эта гнусная система не возрождалась под другими названиями. Принесение в жертву детей еще происходит в некоторых местах на территории бывшего Карфагена; нужно что-то придумать, чтобы лишить жрецов Ваала жестокой радости разжигать эти жертвенные костры. В Малой Азии права наследников Селевкидов были самым постыдным образом ущемлены нашими граж-

данскими судами, враждебно настроенными к бывшим монархам; я исправил эту давнюю несправедливость. В Греции процесс Герода Аттика продолжается до сих пор. Ларец с донесениями от Флегонта, его скребки из пемзы и палочки красного воска будут со мной до конца моих дней.

Как и во времена моего счастья, люди считают меня богом; они продолжают наделять меня этим званием, даже когда приносят небесам жертвы во имя восстановления августейшего здоровья. Я уже говорил тебе, в силу каких причин эта столь благотворная вера не кажется мне безрассудной. Слепая старуха пришла в Рим из Паннонии пешком; такое изнурительное путешествие она предприняла для того, чтобы просить меня притронуться пальцем к ее угасшим зрачкам; под моею рукой старуха вновь обрела зрение, как она того и ожидала; это чудо объясняется ее верой в императора-бога. Произошли и другие чудесные исцеления; больные говорят, что я являлся им в сновидениях; так паломники Эпидавра видят во сне Эскулапа, люди просыпаются исцеленными или, во всяком случае, чувствуют, что недуг отсту-

пил[188]. Противоречие между моими способностями чудотворца и моей собственной болезнью вовсе не кажется мне смешным; я с полной серьезностью принимаю эти новые, дарованные мне права. Слепая старуха, которая шла к императору из глубин варварской провинции, стала для меня тем же, чем некогда был таррагонский раб: символом населяющих империю племен, которыми я управлял и которым я служил. Их безграничное доверие — плата за двадцать лет моих трудов, которые к тому же не всегда были мне неприятны. Недавно Флегонт прочитал мне сочинение одного александрийского еврея, где мне тоже приписываются сверхчеловеческие свойства; без малейшей иронии воспринял я этот образ седовласого монарха, которого люди встречают на всех земных дорогах и который открывает сокровища недр, пробуждает плодородие почвы, насаждает всюду процветание и мир; это образ человека, посвященного в тайны богов, человека, восстановившего святые места всех народов и племен, образ знатока магических

[188] КОММЕНТАРИЙ: 188

Эпидавр — город на северо-восточном побережье Пелопоннеса, неподалеку от которого находились главное святилище бога врачевания Асклепия (или Эскулапа) и роща, куда стекались больные, жаждущие исцеления.

искусств, образ ясновидца, который вознес на небеса земного ребенка. Восторженный еврей, должно быть, понял меня куда лучше, чем большинство наших сенаторов и проконсулов; наш бывший противник дополняет Арриана; я рад, что становлюсь наконец в чьих-то глазах тем, кем я всегда мечтал быть. И этой удачей я обязан ничтожнейшим обстоятельствам. Стоящие у порога старость и смерть придают моему престижу новое величие: люди с благоговением расступаются на моем пути; они больше не сравнивают меня, как прежде, с лучезарным и безмятежным Зевсом, они сравнивают меня теперь с Марсом Шествующим, богом долгих походов и строжайшей дисциплины, сравнивают со степенным Нумой[189], вдохновленным богами; мое бледное осунувшееся лицо, неподвижные глаза, длинное, скованное постоянным напряжением тело напоминают им в последнее время Плутона, бога теней. Лишь несколько самых близких, самых

[189] КОММЕНТАРИЙ: 189

Пума Помпилий — второй (после Ромула) царь Рима, правивший согласно традиции с 715 по 672 г. до н. э. Если Ромул считался создателем воинского идеала римлян, то Пума — создателем идеала благочестия. Ему приписывается введение религиозных обрядов, устройство храмов, учреждение важнейших жреческих коллегий. Эту его деятельность во многом направляла нимфа Эгерия, с которой Нума находился в особо тесном общении, что в данном случае, очевидно, и имеется в виду.

испытанных, самых дорогих моему сердцу друзей избежали этой ужасной заразы — трепетного почитания. Молодой адвокат Фронтон, юрист с большим будущим, который наверняка станет одним из добрых советчиков твоего правления, пришел обсудить со мной текст ходатайства, с которым ему предстоит обратиться к Сенату; его голос дрожал; я прочел в его глазах все то же благоговение, смешанное со страхом. Мирные радости человеческой дружбы больше не для меня — люди меня обожают, люди слишком боготворят меня, чтобы меня любить.

Мне выпала на долю удача, сходная с той, какая иногда выпадает садовникам: все, что я пытался внедрить в человеческое воображение, пустило в нем корни. Культ Антиноя представлялся самым безумным из моих деяний, он был вышедшей из берегов скорбью, касавшейся меня одного. Но наша эпоха неистово жаждет богов; она отдает предпочтение культам самых пылких и самых печальных из них — тех, что умеют подмешивать к вину жизни толику горького меда загробного мира. В Дельфах мальчик стал Гермесом, охранителем порога, хозяином темных переходов, ведущих в царство теней. Элевсин, где некогда возраст и чужеземное происхождение не позво-

лили ему приобщиться к таинствам вместе со мной, сделал из него юного Вакха своих мистерий, князя тех областей, что пролегают между чувствами и душой; Аркадия, страна его предков, ставит его в один ряд с Дианой и Паном — божествами лесов; крестьяне Тибура уподобляют его сладостному Аристею, царю пчел. В Азии суеверные люди видят в нем своих нежных и хрупких богов, разбиваемых осенним ненастьем, пожираемых летней жарой. У рубежей варварских стран спутник моих путешествий и охот принял облик Фракийского всадника, таинственного незнакомца, который гарцует в лесной чаще при свете луны и уносит в складках плаща человеческие души. Все это могло быть и всего лишь наростом на официальной религии, лестью народов или подлым стремленьем жрецов получить побольше денег. Но юный лик от меня ускользает; он идет навстречу упованиям простых сердец; словно повинуясь некоей удивительной перестройке, коренящейся в самой природе вещей, прелестный печальный эфеб стал в глазах народного благочестия опорой немощных и бедных, утешителем мертвых детей. Вифинские монеты с выбитым на них профилем пятнадцатилетнего мальчика, с его развевающимися кудрями, с его

изумленной и доверчивой улыбкой, которую он так недолго хранил, вешают на шею новорожденным в виде амулета; их прибивают к детским могилам на деревенских кладбищах. Прежде, когда я думал о собственной смерти — как думает о ней корабельщик, нисколько не заботящийся о самом себе, но дрожащий за своих пассажиров и за доверенный ему груз, — я с горечью говорил себе, что груз моих воспоминаний канет в пучину забвения вместе со мной; мне казалось, что юному существу, бережно забальзамированному в глубине моей памяти, грозит вторичная гибель. Потом этот вполне оправданный страх понемногу улегся; мне удалось в меру сил возместить эту раннюю смерть; его отражение, образ, далекое эхо еще несколько веков продержатся на поверхности; достигнуть большего по части бессмертия трудно.

Я вновь повидал Фида Аквилу, губернатора Антинополя, когда он уезжал к местам своей новой службы — в Сармизегетузу. Он рассказал мне о ежегодных обрядах, совершаемых на берегу Нила в честь почившего бога, о паломниках, тысячами прибывающих из северных и южных областей, о приношениях зерном и пивом, о молебствиях; раз в три года в Антинополе, а также в Алексан-

дрии, Мантинее и дорогих моему сердцу Афинах проводятся посвященные ему памятные игры. Они должны состояться и нынешней осенью, но до девятого возвращения месяца Атира я дожить не надеюсь. Тем более важно, чтобы все детали этих торжеств были тщательно продуманы. Оракул покойного действует в тайном зале фараонова храма, восстановленного моими заботами; жрецы ежедневно дают несколько сот заранее подготовленных ответов на вопросы, продиктованные надеждой или тревогой. Меня упрекали в том, что многие из ответов составил я сам. Я отнюдь не желал этим выказать неуважение к моему богу или отсутствие сострадания к жене солдата, которая спрашивает, вернется ли живым из палестинского гарнизона муж, к жаждущему облегченья больному, к купцу, чьи корабли носятся по волнам Красного моря, к супружеской чете, мечтающей о рождении сына. Нет, эти ответы были лишь продолжением тех буквенных загадок и стихотворных шарад, в которые мы с ним иногда любили играть. Людей удивляет также, что здесь, на Вилле, вокруг Канопской молельни, где культ Антиноя отправляется на египетский лад, я установил увеселительные павильоны, вроде тех, какими славится пригород

Александрии, именуемый Канопой; этими развлечениями и забавами я потчую своих гостей, а иногда и сам принимаю в них участие. Антиною при жизни все это было знакомо. Да человек и не может жить, замкнувшись на долгие годы в одной-единственной мысли, полностью отвергая естественные привычки и требования повседневности.

Я выполнял все советы. Я ждал, иногда молился. Audivi voces divinas… (Я слышал божественные голоса)* Глупая Юлия Бальбилла верила, что слышит на рассвете таинственный голос Мемнона; я же прислушивался к шорохам ночи. Я умастил себя медом и розовым маслом, притягательными для теней; я приготовил миску с молоком, пригоршню соли и каплю крови — все, что было поддержкой прежнему существованию этих умерших. Я распростерся на мраморном полу в малом храме; мерцание звезд проникало сквозь щели, прорезанные в стене, отбрасывая то тут, то там слабые отсветы, похожие во тьме на тревожные огоньки. Мне вспомнились приказания, которые жрецы шептали на ухо мертвецу, линия его пути, начертанная на могиле: И он узнает дорогу… И охраняющие порог дозволят ему пройти… И он войдет и обойдет вокруг тех, кто любит

его и будет любить тысячи тысяч дней… Время от времени мне чудилось, будто я ощущаю чье-то касание, легкое, как движенье ресниц, теплое, как ладонь. И тень Патрокла появляется рядом с Ахиллом… Мне никогда не узнать, не исходила ли эта теплота, эта нежность из глубины меня самого, не была ли она последним порывом человека, борющегося с одиночеством и холодом ночи. Но вопрос, которым мы нередко задаемся, когда наши любимые еще живы, ныне перестает меня занимать, мне все равно, откуда приходят вызванные мной привидения: из истоков моей собственной памяти или из истоков иного мира. Моя душа, если я таковой обладаю, состоит из той же субстанции, что и призраки; мое тело с распухшими руками и мертвенно-синими ногтями — эта полуразложившаяся масса, это вместилище недугов, желаний и грез — вряд ли более прочно и материально, чем тень. От мертвых я отличаюсь лишь тем, что мне предстоит задыхаться еще несколько мгновений. Во всяком случае, Антиной и Плотина не менее реальны, чем я.

Размышления о смерти не могут научить умирать; они не делают уход из жизни более легким, но легкость — не то, чего я теперь ищу. Мальчик с капризным и своевольным лицом, принесенная

тобою жертва обогатит не жизнь мою, но мою смерть. Ее близость делает нас с тобою сообщниками: живые, которые меня окружают, эти преданные, а порой и несносные слуги, никогда не узнают, до какой степени весь этот мир нас с тобой больше не тревожит. Я с отвращением думаю о черных символах египетских погребений: сухой скарабей, одеревенелая мумия, лягушка в вечных родах. Если верить жрецам, я оставил тебя в той стороне, где элементы человеческого существа рвутся, подобно изношенной одежде, стоит лишь прикоснуться к ней, — я оставил тебя на мрачном перепутье между тем, что существует вечно, тем, что было, и тем, что будет. В конце концов, возможно, люди правы, и смерть состоит из той же зыбкой и неопределенной материи, что и жизнь. Но все учения о бессмертии внушают мне сомнение; система воздаяний и наказаний оставляет холодным судью, понимающего, как трудно вершить суд. С другой стороны, порой мне представляется чересчур примитивным и противоположное решение — подлинное небытие, бездонная пустота, в которой раздается смех Эпикура. Я наблюдаю за своим концом; эта серия опытов, проводимых над самим собой, продолжает давнее исследование, начатое в клинике

Сатира. Все происходившие со мной до сего времени изменения носят чисто внешний характер, как и перемены погоды, что обрушиваются на монумент: они не причиняют никакого вреда ни материалу, из которого он создан, ни его форме; иногда сквозь трещины я словно вижу и ощущаю неподвластный разрушению цоколь, незыблемое основание. Я тот же, каким был всегда; я умираю, не меняясь. На первый взгляд кажется, будто крепкий мальчишка из испанских садов и честолюбивый командир, который входит в палатку, отряхивая с плеч хлопья снега, давно исчезли оба, как исчезну я сам, когда пройду через погребальный костер; но они постоянно здесь, со мной, я неразлучен с ними. Человек, который выл на груди умершего, продолжает, забившись в угол, стонать где-то внутри меня, несмотря на то, что я уже стал частицей великого покоя, разлитого за пределами человеческих страстей; любитель странствий, которого, точно в клетку, посадили в больное тело, осужденный до конца своих дней быть прикованным к месту, с интересом приглядывается к смерти, потому что она означает уход. Сила, которая была мною, еще как будто способна оркестровать множество других жизней, приводить в движение миры. Если, благодаря чуду, к

тем немногим дням, которые мне еще остались, прибавится несколько веков, я буду опять делать то же самое, совершать те же ошибки, подниматься на те же Олимпы, спускаться в те же глубины ада. Подобный вывод — превосходный аргумент в защиту разумности смерти, но в то же время он внушает мне сомнение в ее действенности.

В какие-то периоды жизни я записывал свои сновидения; я обсуждал их смысл со жрецами, философами, астрологами. Способность видеть сны, притупившаяся с годами, вернулась ко мне в эти месяцы угасания; то, что произошло всего лишь накануне, кажется мне менее реальным и порою не так досаждает мне, как сны. Если мир снов, фантастичный и призрачный, где нелепость и пошлость еще изобильнее, чем на земле, дает нам некоторое представление о существовании, на которое обречена разлученная с телом душа, — значит, всю отпущенную мне вечность я буду горько сожалеть о том чудесном праве держать под контролем свои чувства и выверять перспективы, каким наделен человеческий разум. И все же я с наслаждением погружаюсь в бесплодные области снов; там я на миг становлюсь обладателем тайн, которые тотчас же от меня ускользают; там я пью из источников. На

днях я побывал в оазисе Аммона; был вечер, я охотился на благородного хищника. Мне было весело; все происходило точно так же, как во времена, когда я был еще полон сил: раненый лев рухнул, потом поднялся, я кинулся его добивать. Но на этот раз конь мой встал на дыбы и сбросил меня на землю; на меня навалилась ужасная окровавленная туша, когти зверя раздирали мне грудь; я очнулся в тибурской спальне, взывая о помощи. А совсем недавно я увидел во сне отца, хотя вспоминаю о нем редко. Он лежал больной в одной из комнат нашего дома в Италике, который я покинул сразу же после его смерти. На столе рядом с кроватью стояла полная склянка болеутоляющей микстуры, и я умолял отца дать ее мне. Я проснулся, не успев услышать его ответ. Меня удивляет, что люди в большинстве своем боятся призраков, но при этом в своих снах спокойно разговаривают с мертвецами.

Предзнаменования множатся также — теперь все представляется предвестием, знаком. Я только что уронил и разбил драгоценный камень, выпавший из перстня; греческий мастер выгравировал на нем мой профиль. Авгуры многозначительно покачивают головами, а мне жаль прекрасного произведения искусства. Я стал иногда говорить

о себе в прошедшем времени: обсуждая в Сенате некоторые события, которые произошли после смерти Луция, я оговорился и несколько раз упомянул о них так, будто они случились после моей собственной смерти. Несколько месяцев назад, в день моего рождения, поднимаясь в носилках по лестницам Капитолия, я столкнулся лицом к лицу с человеком в траурных одеждах, он плакал; я видел, как побледнел мой старый Хабрий. В то время я еще бывал на людях — я продолжал выполнять свои обязанности верховного жреца и Арвальского брата, сам совершал древние обряды римской религии, которые я теперь стал предпочитать иноземным культам. Однажды я стоял перед алтарем, готовый возжечь огонь; я приносил богам жертву, прося их о покровительстве Антонину. Внезапно полотнище моей тоги, закрывавшее мой лоб, соскользнуло и упало мне на плечо, оставив меня с непокрытой

головой[190]: тем самым я как бы переходил из разряда приносящих жертву в разряд жертв. Оно и правда: настал мой черед.

Мое терпение приносит плоды: я меньше страдаю, жизнь снова становится почти приятной. Я больше не спорю с врачами; их дурацкое лечение погубило меня, но мы сами повинны в самомнении и лицемерном педантизме медиков: они лгали бы меньше, будь у нас поменьше страха перед страданиями. Мне не хватает сил на прежние вспышки гнева; из верных источников мне стало известно, что Платорий Непот, которого я очень любил, злоупотребил моим доверием; однако я даже не попытался его пристыдить и не наказал его. Будущее мира больше не тревожит меня; я уже не высчитываю в страхе, как долго простоит на земле Римская империя, — я полагаюсь на волю богов. Не то чтобы у меня появилось больше доверия к их справедливости,

---

[190] КОММЕНТАРИЙ: 190

Римляне практически не знали головных уборов. При общении с богами (не только принося жертвы или совершая ритуальные возлияния, но и столкнувшись с неожиданной и неизбежной смертью) полагалось натягивать на голову полу тоги. Оказавшись с обнаженной головой после того, как она ранее была накрыта тогой, Адриан как бы перешел уже порог смерти. Примечательно это возвращение римлянина в последние дни жизни в круг древних римских религиозных представлений, тогда как в расцвете лет и сил он старался от них отвлечься ради исконно чуждых родному городу греко-восточных традиций и образов.

у которой нет ничего общего с нашей, или больше веры в разумность людей; скорее наоборот. Жизнь жестока, мы это знаем. Но именно потому, что я не очень верю в то, что удел человеческий переменится когда-нибудь к лучшему, периоды счастья и прогресса, а также усилия что-то возобновить и продолжить кажутся мне поистине чудесами, которые уравновешивают собой всю необъятную массу зол, поражений, легкомыслия и ошибок. Неизбежны новые падения и катастрофы; хаос восторжествует; но временами порядок тоже будет брать верх. Между периодами войны снова будет царить мир; слова о свободе, человечности, справедливости будут то тут, то там вновь обретать смысл, который мы пытались вложить в них. Не все наши книги погибнут; потомки восстановят наши разбитые статуи; другие купола и другие фронтоны возникнут из наших фронтонов и куполов; какие-то люди будут думать, работать и чувствовать так же, как мы, — я позволяю себе рассчитывать на продолжателей, что неравномерно рассеяны на долгой дороге веков, я позволяю себе рассчитывать на это прерывающееся временами бессмертие. Если нашей империей завладеют когда-нибудь варвары, они будут вынуждены перенять многое

из наших обычаев и в конечном счете станут в чем-то похожи на нас. Хабрий боится увидеть, как в один прекрасный день пастофор Митры или епископ Христа водворятся в Риме и заменят собой верховного жреца. Если этот день, к несчастью, наступит, мой преемник на Ватиканском холме перестанет возглавлять лишь тесный кружок единомышленников или группу сектантов и сделается в свою очередь одной из фигур, пользующихся влиянием во всем мире. Он унаследует наши дворцы и наши архивы; он будет отличаться от нас меньше, чем можно предположить. Я спокойно принимаю эти превратности в жизни Вечного Рима.

Лекарства больше не действуют; отек на ногах увеличивается; я засыпаю чаще сидя, чем лежа. Одним из преимуществ смерти будет то, что я смогу наконец вытянуться на своем одре. Теперь уже мне приходится утешать Антонина. Я напоминаю ему, что смерть с давних пор представлялась мне наиболее изящным решением задачи моего бытия; мои надежды, как всегда, сбываются — правда, более медленным, более сложным путем, чем я думал. Я поздравляю себя с тем, что болезнь сохранила мне до конца дней ясность ума; я рад, что мне не грозят испытания

старости, что мне не суждено познать эту окостенелость и сухость, это жестокое отсутствие желаний. Если мои вычисления правильны, моя мать умерла примерно в том же возрасте, какого ныне достиг я; я прожил уже наполовину дольше, чем мой отец, умерший в сорок лет. Все готово; орел, которому предстоит принести богам душу императора, ждет погребальной церемонии. Мой мавзолей на холме, где сейчас высаживаются кипарисы, чтобы образовать на фоне неба темную пирамиду, будет завершен как раз к тому времени, когда в него нужно будет перенести еще горячий пепел. Я попросил Антонина, чтобы он потом перенес туда и Сабину; когда она умерла, я не оказал ей божественных почестей, которых она в конечном счете заслужила; было б не худо исправить эту оплошность. И еще я хотел бы, чтобы останки Элия Цезаря покоились рядом со мной.

Они привезли меня в Байи; в эту июльскую жару переезд был ужасен; но возле моря мне дышится легче. Волна набегает на берег с ласковым шорохом; я еще могу наслаждаться долгими розовыми вечерами. Но эти таблички я постоянно держу лишь для того, чтобы чем-то занять свои руки, которые все время возбужденно шевелят-

ся вопреки моей воле. Я послал за Антонином, гонец во весь опор помчался в Рим. Стук копыт Борисфена, галоп Фракийского Всадника… Маленькая кучка близких друзей собралась у моего изголовья. Хабрий вызывает во мне жалость: слезы плохо сочетаются с морщинами стариков. Прекрасное лицо Целера, как всегда, на удивление спокойно; он старается ухаживать за мной так, чтобы ни одно лишнее движение не потревожило меня. Но Диотим рыдает, уткнувшись головою в подушки. Я обеспечил его будущее: он не любит Италии и после моей смерти сможет осуществить свою мечту — вернуться в Гадару и открыть вместе с другом школу красноречия. С моей смертью он ничего не теряет, и, однако, худое плечо судорожно дергается под складками туники; я ощущаю под пальцами восхитительные слезы. Адриана до самого конца будут любить как человека.

Милая душа, душа нежная и зыбкая, спутница моего тела, которое было твоим хозяином, ты сойдешь сейчас в те блеклые, мрачные и голые места, где тебе придется забыть о былых своих играх. Еще мгновение посмотрим на родные берега, на все те предметы, которых больше мы никогда не увидим… И постараемся войти в смерть с от-

крытыми глазами…

БОЖЕСТВЕННОМУ АДРИАНУ АВГУСТУ
СЫНУ ТРАЯНА
ПОБЕДИТЕЛЯ ПАРФЯН
ВНУКУ НЕРВЫ
ВЕРХОВНОМУ ЖРЕЦУ
ОБЛЕЧЕННОМУ В XXII РАЗ
ВЛАСТЬЮ ТРИБУНА
ТРИЖДЫ КОНСУЛУ ДВАЖДЫ ТРИУМФАТОРУ
ОТЦУ ОТЕЧЕСТВА
И ЕГО БОЖЕСТВЕННОЙ СУПРУГЕ
САБИНЕ
АНТОНИН ИХ СЫН
ЛУЦИЮ ЭЛИЮ ЦЕЗАРЮ
СЫНУ БОЖЕСТВЕННОГО АДРИАНА
ДВАЖДЫ КОНСУЛУ